Дм. Фурманов



Дм. Фурманов

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ



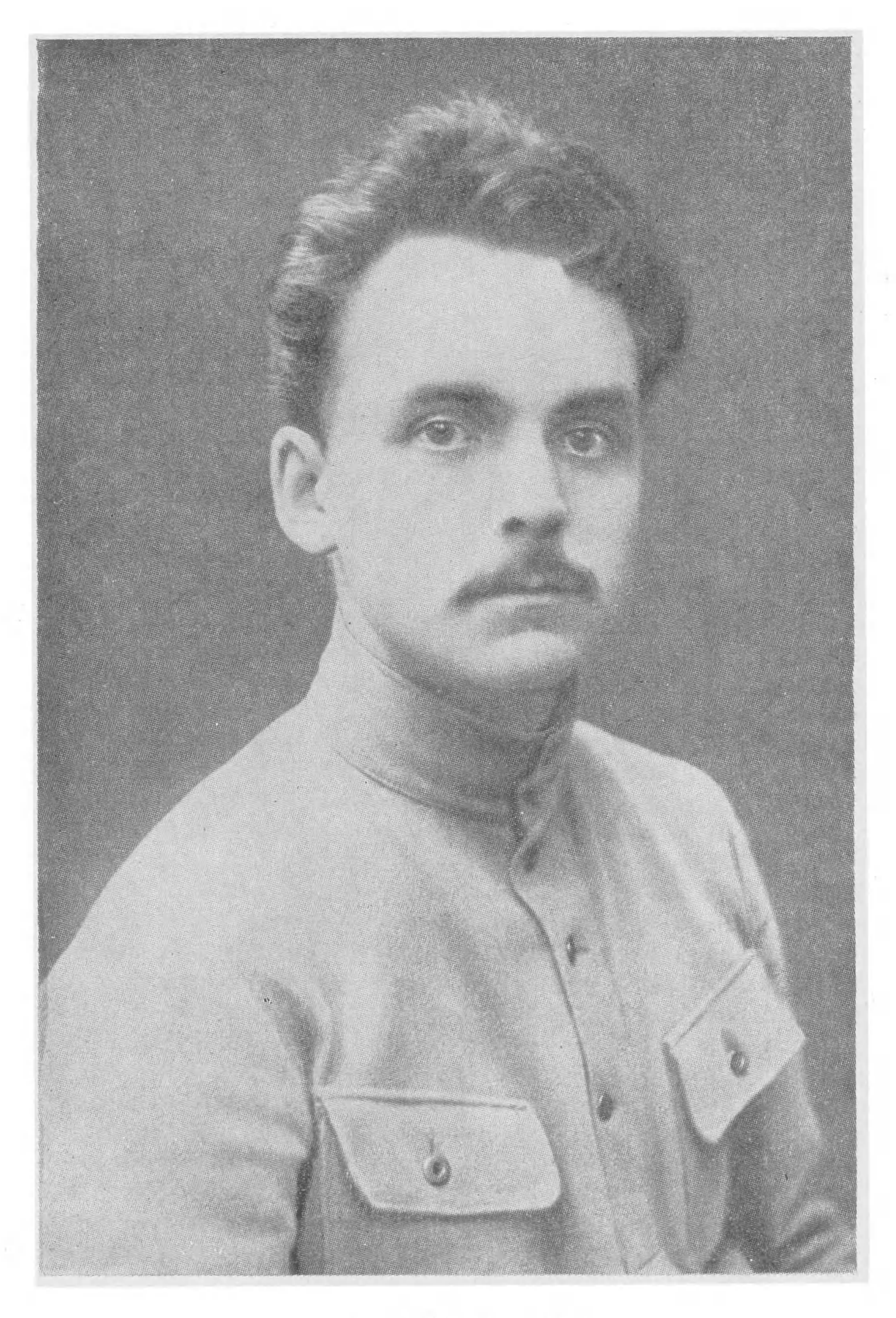
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Под общей редакцией
А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, Е. И. НАУМОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВА

Составление и подготовка текста
С. И. ШЕШУКОВА

Примечания
П. В. КУПРИЯНОВСКОГО

Оформление художника
В. МАКСИНА



Д. А. ФУРМАНОВ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

НА ЧЕРНОМ ЕРЕКЕ

Из штаба армии пришел приказ о том, чтобы наш отряд взял во что бы то ни стало поселок Черноерковский и в дальнейшем способствовал 26-й бригаде, идущей справа от него, во взятии Ачуева, куда неприятель стягивает остатки расколоченного своего десанта, срочно погружая их на суда и переправляя в Крым. Десант Врангеля действительно можно считать разбитым. После нашего удара по тылу в станице Ново-Нижестеблиевской он, теснимый нашими лобовыми частями со стороны Ново-Николаевки, увел оттуда свои главные силы и, проходя через Стеблиевку (она же Гривенная), дал нам последний бой. Мы покачнулись, но удержались — Гривенная осталась за нами. 29-го мы со своим экспедиционным десантом возвратились в станицу Славянскую и там уже получили предписание влиться во 2-й Таманский полк 2-й отдельной бригады при штарме IX и, образовав таким образом отряд тысячи в полторы стрелков и кавалерии, взять направление на Черноерковскую станицу. 3-го к вечеру мы с товарищем Ковтюхом на машине отправились в Черноерковский. Здесь только что в поселке Черноерковском (стоящем за пятнадцать верст перед станицей Черноерковской) наладили мост и перетащили орудия. Части готовились к бою. Неприятель все время отступал под нашим натиском, но отступал организованно, давая и принимая бои, направляя передом к морю свои обозы и тыло-

вые организации и оставляя для отражения наших войск довольно сильные арьергардные части.

Уже после боя в Гривенной нам стало известно, что неприятель смазывает пятки, удирая к морю и готовясь к погрузке. Пленные, перебежчики и подводчики сообщали, что у моря непрерывно курсируют пароходы и что на этих пароходах многое уже переправлено в Крым.

Местность здесь удивительно сложная, и открытых операций вести почти невозможно. Огромная территория, прилегающая к Азовскому морю, занята лиманами, болотами, плавнями и камышами. Лиманами здесь называют небольшие водные вместилища наподобие наших крупных прудов и мелких озер, а плавнями называют болотистые места, покрытые камышом, где почти совершенно нет прохода. Сообщение в этом краю идет по грядам, а грядами называют более или менее широкие полосы твердого грунта, по которому возможно движение, как по дороге. Здесь страшно много дичи — гусей, уток, бекасов и прочего, и все это не перепугано, близко, почти вплотную подпускает человека. Население занимается по преимуществу рыболовством — частью по своим рекам и лиманам, частью в Азовском море.

Хлеб здесь привозной — этим и объясняется то обстоятельство, что у неприятеля за последнее время наблюдалась сильная голодуха, а на этой почве развивался и ропот. Население смешанное — казаки и иногородние. На Кавказе вообще и здесь в частности между иногородними и казаками наблюдается глухая рознь, которая в 1918 году вылилась в форму открытой и кровавой схватки. Казаки все еще живут своими сословными традициями и чуют беду от социальной революции, а иногороднее население, из которого состоит почти исключительно и рабочее население Кавказа,— оно близко к нашему коммунистическому движению, хотя и имеет некоторые черты избалованности, свойственные воспитанию в богатом, просторном, сытом крае.

Отношение казачества к десанту Врангеля было все-таки не таким, какого ожидал сам Врангель. Он

полагал, что все казачество Кубани подымется разом и поможет ему сокрушить большевиков. В надежде на это он с десантом Улагая выслал сюда совершенно готовые штабы полков, бригад и дивизий, выслал обмундирование, военное снаряжение, вооружение и огнеприпасы. Он усиленно раздувал сведения о том, что его части уже подошли к самому Екатеринодару и оцепили всю область. Но казачество держалось пассивно и выжидательно, к Врангелю убежали и присоединялись по станицам только отдельные лица или небольшие группы. Пассивность казачества, разумеется, никоим образом нельзя объяснить сочувствием советской власти, нет. Казаки потому выжидали, что еще не были уверены в успехе Врангеля, а на «ура» идти им не улыбалось. Если же Врангель действительно смял бы здесь советские войска, казаки были бы активно на его стороне. Убежавшие к Врангелю казаки и составляли те арьергардные части, которые, отступая, все время сражались с нами. Регулярные части, прибывшие из Крыма, погрузились первыми и уехали обратно в Крым, а здесь за последнее время все больше действовали белые партизаны окрестных станиц, прекрасно знающие местность и, надо сознаться, дравшиеся великолепно,— была налицо удивительная стойкость, спокойствие и мужество.

В ночь с четвертого на пятое была наша первая ночная атака. Под прикрытием орудийного огня спешенный кавалерийский эскадрон кочубеевцев должен был переправиться через реку и выбить неприятеля из окопов. А засел неприятель крепко, и позиция им была выбрана отличнейшая.

За поселком Черноерковским Черный Ерек изгибается вправо, а слева в него втекает какая-то другая речка, так что получается нечто вроде якоря, и в выбоину этого якоря неприятель положил своих стрелков, в центре и по краям наставил пулеметов. Река глубокая, мостов нет, перебраться невозможно. Кругом плавни, лиманы, густые заросли камыша.

Мы подали к берегу байды — байдами здесь называют выдолбленные из одного ствола лодки — и на

этих байдах за ночь решили перебросить кочубеевцев. Эскадрон этот является у нас самой надежной и смелой частью, потому его и выбрали на такое отважное дело. Когда спустилась ночь, мы открыли орудийный огонь, и кочубеевцы пустились по реке. Но в то же мгновение был открыт с другого берега такой орудийный огонь, что пришлось вернуть эскадрон, чтобы не потерять его весь и понапрасну. Первая атака не удалась. Это нас не остановило, и на следующую ночь мы решили повторить атаку, за день подготовив почву и выяснив еще точнее как расположение, так и силы неприятеля. С раннего утра 5-го числа завязался бой. Мы с товарищем Ковтюхом пробрались на крышу избушки, стоящей на берегу, и до ночи целый день руководили боем. Наши цепи были раскинуты поблизости, но необходимо было их к вечеру же продвинуть возможно дальше. Рота стояла в резерве возле избушки, ее мы посылали в подкрепление лежавшим в окопах. Красноармейцы страшно устали, несколько ночей они провели без сна, и потому теперь наблюдалась некоторая вялость при исполнении приказов. Но внушительность и апломб, с которыми отдавал свои приказы товарищ Ковтюх, творили чудеса: часть оживлялась, вскакивала словно встрепанная и летела по назначению. Вот уж нам с крыши видны перебежки, вот уж цепи подвигаются к самой извилине реки.

И вдруг оглушительные залпы и пулеметный стрекот остановили наши цепи. Стрелки залегли. Скоро стали прибывать раненые, их наспех перевязывали и отправляли дальше, в тыл. Мы продолжали лежать на крыше, пригнувшись за трубу. Пули визжали, стонали, звенели. Целые рои этих певучих убийц проносились стремительно над нашими головами, но нас не касались.

Меня еще накануне, когда я лежал на стогу сена, изображавшем наблюдательный пункт, слегка контузило пулей. Я полулежал, положив левую ногу на правую. Пуля скользнула по голенищу сапога, прорвала его и, не задев ни тела, ни кости, промчалась мимо. Остался только густой синяк, вдавило мясо да

ломило кость пониже чашечки. Миновало благополучно. И теперь вот, лежа на крыше, я неуязвим, они меня не достают.

В окопы то и дело подносили патроны. Ящики разбивали здесь же, у избушки, и там моментально все расходилось по стрелкам. Пальба шла отчаянная, стихла она только в темные сумерки, когда ничего уже нельзя было видеть. Перед сумерками мы подали было свои байды к извилине реки, но ураганный огонь неприятеля заставил на время отложить и эту задачу. Спустилась ночь. Мы наскоро закусили в станице и снова явились к реке. Готовилась ночная атака. На этот раз мы спешили два эскадрона и снова решили пустить их через реку. Байды тихо поплыли во тьме. Они пробирались так осторожно, что нельзя было слышать даже удара весел по воде. Крадучись вдоль берега, они тихо подходили к назначенному месту и готовились к приему храбрецов. В это время оба эскадрона подошли к избушке. Шепотом отданы были необходимые распоряжения, и красноармейцы рядами исчезали во мгле ночи. Когда я смотрел на них, и гордость и жалость овладевали всем моим существом: в темную ночь на байдах перебираться через реку, а перебравшись, ждать ежесекундно, что вот-вот пулеметы уложат их на месте,— это страшно. И все-таки они шли — молча, тихо, как будто даже спокойно. Орудия протащили на себе почти на самый берег, к изгибу, чтобы ударить картечью по неприятельским окопам.

Скоро взойдет луна, надо торопиться, чтобы враг не заметил нашей подготовки. В это время прискакали два гонца и сообщили, что на Кучугурской гряде наши части отступили и бегут всё дальше. Явилась опасность, что нас обойдут с тыла, отрежут, и таким образом вся ночная операция сведется к нулю,— больше того: мы этим лишь осложним свое положение. Но, взвесив все, учтя общее отступление неприятеля, мы согласились, что он дальше не способен ни на что, кроме обороны. Отрядили дюжину кочубеевцев и во главе с командиром полка товарищем Пимоненко послали их на Кучугурскую гряду остано-

вить бегущих во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед расстрелом.

Пимоненко уехал, а мы стали готовиться к бою. Луна уже поднялась, мы дали ей спрятаться за тучу, и был отдан приказ открывать пальбу.

Прошло мучительных пять минут... Я ждал каждую секунду первого орудийного выстрела, вперив свой взгляд во тьму ночи по направлению к неприятельским окопам, но выстрела все не было. Да скорее же, скорей... Хоть бы уж чем-нибудь кончалось, а то целые дни все пальба и пальба, а в Ачуеве, всего ведь за двенадцать верст от нас, идет срочнейшая погрузка. Если медлить еще — ничего не отхватишь, все уедет в Крым. Скорее же, скорей. Грянул выстрел, за ним другой, третий. Заторопились, загоготали пулеметы, где-то далеко-далеко, словно из-под земли, неслось «ура» — камыши пожирали все звуки. Это наши орлы кинулись через реку. Уже больше не строчили пулеметы, уже по глубокому тылу били наши орудия. Неприятель оторопел от ужаса и кинулся бежать, оставляя в окопах убитых, винтовки, патроны...

Мы заняли берег. Скоро подтянули туда пехоту, а эскадроны отвели обратно в станицу. Жителям приказано было за ночь построить мост на баркасах и байдах. Закипела работа. Стрелки переправились через реку. В это время черные тучи разразились проливным дождем. Усталые, измученные красноармейцы должны были оставаться в окопах под открытым небом, под ужасным дождем. Мы ушли в халупу, измочившись до последней нитки. Теперь сказываются плоды: Ковтюх уже слег, распух, температура 39°, а у меня страшно ломит все тело — скоро слягу, вероятно, и я. Долго буду я помнить эту ужасную ночную атаку — такого ужаса, такого страшного эффекта я не видал никогда.

Слава героям, борцам за советскую власть, красным защитникам трудовой России.

Ст. Славянская,
7 сентября 1920 г.

ПО КАМЕННОМУ ГРУНТУ

За перевалом, по берегу Черного моря, идут красноармейцы. Их много, целые тысячи. А еще больше идет с ними разного присталого народу: иногородних станичников, женщин, стариков, ребятишек... Все это погрузилось на широкие телеги — сами беженцы, сундучки, узелки, мешочки; кое-где выглядывает поросенок, красноголовый петух, собачонка... Пыль, скрип, непрестанная брань, перекличка, лязг оружия, человеческий гомон. Позади, в станицах, озверелые казаки истязают оставшихся — тех, что не успели бежать. Лазят теперь по оставленным хатам, роются, ищут, растаскивают чужое добро... А вот в Новороссийске, так недалеко, они уж наставили виселиц, и этот прискакавший товарищ рассказывает, как они подводят пленного к перекладинам, заставляют его надевать на шею веревку и вешаться самому... Бр-р-р... Не одного, не двух — сотнями ведут под перекладины этих несчастных невольных самоубийц. Офицеры крутят усы, хохочут. Изредка плюют в лицо проходящим пленникам — так, как бы невзначай, как бы не разбирая: камень тут или человек. Они уже устали издеваться, ухмыляются да изредка покрикивают: «Ладно!.. Так-то... сволочь!..» По городу рыщут «вольные» люди — им нет ни от кого запрету: куда зайдут, что возьмут, с тем и останутся. Они могут и голову снести безответно. Могут и дочурку-девочку изуродовать хмельной компанией — это никого не тронет: офицер

посмеется над удалью лихого казака... Город утонул в пьяных парах, стонах, кровавом запахе... Носится черная смерть, грызет бесконечные жертвы...

За перевалом идут красноармейцы — разутые, раздетые, без штыков, без патронов. Им нечем отбиваться от своры палачей, горами и ущельями отходят они на юг, где можно добраться до своих. Голодно. Хлеба нет. Уже давно они едят только желуди да кислицу... Лошадиные трупы усеяли путь — коням тоже нечем питаться: бесплодны и холодны горные скалы. То здесь, то там остается телега — ее некому везти. И у каждой телеги драма. Ребятишкам не успеть за красноармейцами. Мать не уведет их, не унесет — она сама чуть стоит на ногах. Остаться нельзя — наскочат, изуродуют озверелые казаки... А вон, посмотрите: в телеге остались двое малюток — одному года четыре, другому два... Глазки вспухли, красные, полные слез... Армия идет, уходит и мать, а малютки остались... Протянули ручонки, кричат, еще не понимают того, что скоро умрут с голоду.. Исступленная простоволосая мать, восковая, дрожащая, уходит за скалы — все дальше, все дальше. Отойдет, остановится, посмотрит на малюток, закроет руками лицо — и дальше... А потом снова встанет и снова смотрит, а слезы падают на скалистый грунт... Так и ушла... Малютки остались под откосом с простертыми ручонками, с наплаканными глазами.

За перевалом идут красноармейцы. Те, которым дальше не под силу, больные и раненые, садятся отдохнуть и остаются — им уж никогда больше не догнать ушедших далеко вперед...

Лошадиные трупы, плачущие малютки, беспокойные курицы, телеги с добром, больные красноармейцы — все остается по пути, погибает медленной неизбежной смертью... Справа море, слева скалы, сзади свирепые казаки, а впереди — впереди не догнать ушедших товарищей.

За перевалом, по каменному грунту, уходят вдаль красноармейцы...

25 марта 1921

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма перебросил на Кубань несколько тысяч своих лучших войск. Этими войсками командовал Улагай — один из ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски заключалась в том, чтобы поднять на восстание против советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая препятствий, занимая один поселок за другим, все ближе и ближе подвигаясь к сердцу области — Краснодару.

Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась полками 9-й армии, наспех сколоченными отрядами добровольцев: один только Краснодар в эти неспокойные дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измученное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе советской власти — казачество кубанское

не верило в успех улагаевской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось. Правда, не по душе была зажиточным казакам продовольственная разверстка, не по душе было запрещение вольной торговли, запрещение бессовестной эксплуатации работников-батраков, но даже при всем этом недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать против советской власти, как выступали они против нее в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была велика. Надо было торопиться его остановить, задержать, а потом ударить и отогнать...

«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась лихорадочно к этой новой трудной задаче.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в сорока или пятидесяти верстах от областного центра, Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер — посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пятьдесят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской: там находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым десантом. Начальником красного десанта был назначен тов. Ковтюх, комиссаром назначили меня.

Нашей задачей было — нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по семь, по восемь верст в час. На этих пароходах и на четырех баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продо-



Обложка последнего вышедшего при жизни писателя издания «Красного десанта». 1926 г.

вольствием, что можно — починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дребезжа, врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись дугою, качались на речных подмостках, пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали по двое, а те, что потяжелее,— и по четверо, тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю,— такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато уж над хлебными караваями потешились вволю: их, словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили.

— Эка буря поднялась, одежу рвет...— кричит один.

— Плыви скорей, что смотришь! — горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:

— Эй, ударь веслами, попытай счастья...

После этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде — пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе,— и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода. Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горла-

нистые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу вздорные слухи, уверяя, что видел все «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых и в то же время совершенно секретных приготовлений: что за суда, кого, зачем и куда они везут,— этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали целиком даже командному составу, даже ответственным работникам.

Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре, она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узун-кулак» (так называется у киргизов Семиречья обычай — всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку[1]. Получил киргиз весть — вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам — и в результате за короткое сравнительно время вся пустынная и дикая округа оповещена). Если бы Улагай заранее узнал про красный десант — всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов — речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши да два-три орудия, взявшие на картечь,— вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы спастись.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали; разве только какой-нибудь курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

— На подмогу? А?

---

[1] Селение.

— Известно, не против своих,— оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные,— словом, такие ребята, с которыми можно было начинать любое трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девяносто сабель, десяток пулеметов да артиллеристов около макленовского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались — не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмостки, побросали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки,— в самых разнообразных позах расположились бойцы: грудно, шумно, весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему восемнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в студию — развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай — не до ученья, надо идти воевать. Он даже и не раздумывал над тем, идти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания,— наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял себе этот фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую, творожную слюну.

Позади Ганьки на корточках сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда надо — добрые, а когда и жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела, как медный таз. Щеткин молча озирался кругом, пускал залпами махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его ног на куче сена покоилась черная кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого бледнолицего белоруса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем Юсь.

Отчего он назвал его Юсь — и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что когда Танчук произносил часто: Юс-юсь-юсь — получался свист, и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раненный, Юсь неоднократно спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот,— высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь — ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыслям — и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко.

Жиденький, маленький — он словно врастал в землю и становился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем и всех перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда он силился «громыхнуть», как острил про него огромный Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

— Ишь, черт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.

Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два-три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то,— объявил торжественно Танчук.

— А што — «то-то»? — спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь? Слово понимает...

— Ну, вижу: стоит как стоял,— поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего-нибудь хотят,— философически брякнул Щеткин.

На минутку все замолчали.

— Товарищи,— обернулся к ним Ганька,— а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, што он ей говорит,— правда? А?

— Так вон, хоть бы сичас...— начал было Танчук.

— Ясно, — прогремел Чобот, перебивая его. — Иной скажешь, дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает,— вмешался Коцюбенко,— только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец — одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал... Один отец ходил — с ним, как ягненок...

— Кто кормит, тот любит,— поддержал его Ганька.— А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет... А холку потрепли — замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

— Непременно так,— поддержал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

— Ай, Дуня-Груня,— крикнул Чобот,— не видишь, что ли?

Девушка улыбнулась и шла дальше.

— Хоть платочек на дорогу подари,— смеялся он.

— И глядеть-то не хочет,— ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается...— бросил Чобот.

— Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

— Ганька,— сказал Коцюбенко,— хочешь, гармошку принесу, петь будешь?

— Чего же не петь, буду,— согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью. Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мурлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, што? — вытянулся он вопросом к Ганьке.

— Што хочешь...

— Давай — «За острова на стержень»...

— На стрежень,— поправил Ганька.— Только помогать — один не стану...

— Начинай! — согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям — волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило. Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход — было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину

куплета и не давали Коцюбенке проявить себя как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне... Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы — незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные чудовища, длинной лентою вытянулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что-то значительное и очень важное. Беззаботная веселость, царившая на баржах и пароходах, пока они стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то трезвонапряженному и сосредоточенному состоянию. Это была не трусость, не растерянность, не малодушие — это была непроизвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, коротких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных, в речах, обрывистых и сжатых,— во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере продвижения и принимало все более и более определенные формы мучительного ожидания.

На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли, где находится теперь неприятель, где рас-

положено то или иное болото, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали корниловскую могилу — крошечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие памятные, исторические места! Эти берега сплошь политы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с горячим боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота; порою встречаются камышовые заросли; но здесь их еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него ютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали; вместо них остались по краям какие-то однообразные смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все слышать, знать все, что ожидает впереди, а главным образом высматривать — нет ли попрятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями: надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в семидесяти — восьмидесяти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской — наши; берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потаенные дорожки и камышовые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны

всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов — люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну цигарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг к другу — спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки: закрыв глаза, чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на востоке чуть забрезжила заря — мы подплывали к Славянской.

У самой станицы, над рекою — огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию. Разместились новые бойцы, которых забрали из Славянской. Теперь уже всех набиралось около полуторы тысячи человек. Погрузили кое-что из припасов — и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника; разъяснили, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смерклось, так же тихо и бесшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода: весь день она была оцеплена войсками,— ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному десанту.

От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где стоял улагаевский штаб, по Протоке считается верст семьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчитано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться совершенно неожиданно.

Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской — здесь все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской — среди лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега,— там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды. Положение крайне опасное. В таком положении и меры принимать надо было особенные.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918—1919 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань, отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской — он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полулегендарными героями. Во-

круг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. Ему перекосило от контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять. Худой, нездоровый, с бледным, измученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородой, он представляет собою образец истинного воина: по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев,— много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на глаза начальству не лезут — и остаются в тени.

Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень — не человек. А посмотреть — словно козел в шинели, да и голос, как козлиный: дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще два-три командира. Совещались недолго: почти все было решено и придумано еще днем.

— Позовите Кондру,— приказал Ковтюх.

— Кондра... Кондра... Кондра...— покатилось из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра.

— Явился, что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные быстрые глаза.

— Слушай, Кондра,— сказал Ковтюх.— Ты должен знать, что дело, на которое идем,— опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь — в камышах, по луговинам, над лиманами — у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Ну кто же их знает, как не я? — осклабился Кондра.— До самого Ачуева, до моря — тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

— А знаешь, так вот что,— молвил Ковтюх,— нам некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых, да и место знающих,— взять их с собой и — фью... (Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед.)

— Понимаю...

— А понимаешь — и толковать больше не будем. Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... А ну! — обратился он к одному из стоявших.

Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

— Бери,— подал Ковтюх Кондре узелок.— Только живо: разукрашиваться будете не здесь — когда отъедете. Выдели надежного — он поедет по левому берегу, дашь ему человек десяток — тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно — знаешь наши сигналы? Держись ближе самого берега.

— Понимаю...

— Так запомни: ежели не очистишь берегов — нам назад не возвращаться...

— Так точно... Можно идти?

— Иди... Да живо...

Кондра так же быстро, как и появился, исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек двадцать пять бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в пятнадцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широкий,— как богатырь сидел он на рослом вороном коне. А рядом с ним Ганька — худенький, гибкий, как тополевый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам: не спрашивали, не допытывались — все было понятно и так; не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить,— и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды — погоны, кокарды, пуговки, ленты,— а через пять минут отряда было не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником, и когда надувал губы, делался смешон и неловок, словно ворона в павлиньих перьях.

Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, но дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

— Хлопцы,— внушал Кондра,— не курить, не кашлять громко — будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть — и вправо и влево отъезжали всадники, выискивали, где крепче, где настоящая дорога... Так ехали час, два, три... Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням — никаких признаков жизни. Черным, густым мраком закутались равнины; над болотами — тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор: так гудит иной раз телефон-

ная проволока, а может быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...

Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи...

— Приготовиться! — отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно двигаться вперед... Были уже отчетливо видны силуэты шести всадников — они ехали прямо на Кондру.

— Кто едет? — раздалось оттуда.

— Стой! — скомандовал Кондра.— Какой части?

— Алексеевцы... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича...

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд? — спросил Кондра.

— Так точно, разъезд... Только — кто же тут ночью пойдет?

— Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать верст.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда...

Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение... Кондра гикнул — и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец...

Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора — судьба их была одинакова; только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадником рванулся конь и едва не унес его. Пришлось вдогонку послать ему пулю,— она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насторожились: предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие-то новые меры.

Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно, на берегах могильное спокойствие.

Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шепот-разговор. Здесь близко берега — и можно рассмотреть мутное колыхающееся поле прибрежных камышей.

— Как будто что-то...— начинал один, присматриваясь во мглу на берег и указывая соседу.

— А нет,— отвечал тот,— пустое...

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

— А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...

— Ты вот про то, что колышется, как штыки?

— Да, про них... Всмотрись... Только что это? — и здесь, смотри, и здесь, и дальше все те же штыки...

— Э, да ведь это все камыши, волнуются...

И отводили взоры от берега, но только на мгновение, а потом — опять, опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить спокойное лицо и голос, и движения, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уж надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуться неуклюжим судам, а идти вперед — значит, еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что надо быстро причалить к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой...

Легко сказать — «вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу — неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно,

как на баржах вплотную, кучно расположились наши бойцы.

Они тоже не спали: теперь, когда отъехали от Славянской, уже в пути, командиры объяснили им предстоящую операцию со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать — в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся, и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, они во всех концах вели тихую прерывистую беседу:

— Холодно...

— Дуй в кулак — жарко будет.

— Дуй сам... Вот он как дунет — пожалуй, и впрямь отогреешься.— И красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

— Близко он тут?

— Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит... Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...

— Кондра уехал?

— Он. Кому же? Все дыры тут знает...

— Парень — голова...

— Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском были — три Георгия и тогда приплодил.

— Надо быть, нет никого — тихо что-то...

— Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега — и баста.

— Нет, говорю — от Кондры ничего не слышно.

— Как же ты услышишь? Ироплан, што ли, прилетит?

— А што это иропланов, братцы, нет нигде?

— Как нет! Летают... Они за городом лежат, а летают, когда солнце чуть восходит — оттого и не видишь.

— Вот что... А отчего это они летают?

— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.

— У тебя табачок-то с собой?

— Да курить нельзя; тебе же ротный говорил.

— И верно... А в кулак,— я думаю,— пройдет, не видно.

Запротестовали сразу три-четыре голоса. Курить не дали.

— Скоро подъедем?
— Куда?
— А где вылезать надо.
— Как станет — значит, и подъехали.

Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех баржах.

Один вопрос цеплялся за другой — часто совершенно случайно, от слова к слову...

Все так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый речной туман, первый пароход причалил к берегу... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву.

До станицы оставалось всего две версты. Зарослей на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна — единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки — и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву — вздохнули свободно и радостно: теперь — не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в такой обстановке.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два-три напутственных совета, и — марш по местам! Уж все готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади, у храма, и, исколесив станицу, возвратился и

доложил, что «все в порядке». Когда стали расшифровывать это замечательное «все в порядке», оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремлют часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции... Жители тоже спали, только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с ведром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан — он был на площади, у церкви. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся, не замеченные врагом.

Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным путем. Разгрузка, сборы, приготовления, самое движение до станицы заняло около двух часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно, и над рекой продолжал держаться таким же густым белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая дорога. По этой дороге и направилась часть наших войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом, отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому дана была задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится бежать, спасаться на Ачуев.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же должна была загромыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (мало надежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около семи часов утра, когда части вплотную подошли к станице, раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо, как и с чего следует начинать сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ оп-

ровергает другой, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии беспланного метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб, до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь — он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него идти спокойно — родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду — из сараев, из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минута — и мы встретим стену стальных штыков, море огня — меткого, уничтожающего...

— Ура! — проносится по нашим рядам.

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные все еще продолжали стрелять... Почти все побросали винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделилось человек пятьдесят и кинулось нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

— Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись как бешеные красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под себя,— дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня — те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые — стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти пятьдесят — шестьдесят белых солдат были частью офицерами, частью — алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам.

Чобот, пробравшийся со своим эскадроном за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек десять разведчиков протянулось, залегло цепью ближе к станице, и один другому передавал, как идут там дела, что видно, что слышно.

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы сами запарывались сюда же, к камышам; их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только ковалевская атака решила дело — остатки гарнизона кинулись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая

почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов — большинство ушло ко дну Протоки. Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не рубил и не преследовал — только указывал бойцам, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник — скакал из конца в конец с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву и бросался на нее, как коршун, мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано — шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал — только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча кончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться в них — большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицеры переодевались в женское платье, пытаясь таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и «оставляли» их здесь же на месте. Через два часа станица была в руках красного десанта.

В начале боя с церковной площади поднялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-Николаевскую [1], где были расположены белые части. И во время боя и после него из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой травы то и дело летели шальные пули: так недружелюбно встречала станица красных гостей.

---

[1] Верст 25—30 на восток.

В этом утреннем бою захвачено было около тысячи пленных, человек сорок офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших большей частью в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив известие от летчика о катастрофе в тылу, постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным десантом.

Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти, пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему и еще не пополнен новыми, может быть плывущими сзади, частями.

Фронт неприятельский в это время находился по линии станиц: Чертолоза, Старо-Джирелеевская, Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово.

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатилась к морю. Неприятель попятился назад, а тем временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций, стали подгонять и колотить отступающего к морю врага. В станице, занятой красным десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Ново-Николаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них пришли: Сводный Кубанский кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному

десанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь во что бы то ни стало продержаться до подхода главных своих сил, все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень, под напором превосходных сил, нам пришлось очистить две крайние улицы, идущие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой.

Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное: напирая на красный десант, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой; этого не мог он сделать потому, что по пятам гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-Николаевской, артиллерийская стрельба: это били батареи красной бригады, торопившейся объединить свои действия с действиями красного десанта. Около четырех часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, там решено было покончить с красным десантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке.

Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за речку, а неприятель все идет и идет.

Было ясно, что при дальнейшем отступлении десант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии товарищ Кульберг уже целых три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль, как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавая команду:

— Трубка сто, прицел девяносто пять... Трубка сто, прицел девяносто семь!..

И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла, Кульберг покрякивал и рукой дергался в ту сторону, куда он скрылся.

— Отлично, отлично,— кричал он сверху,— в самую глотку засмолило... А ну, еще такого же... Да живее, ребята, живее... Ишь побежали! — И он взглядом, через бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись столбы пыли, а от них шарахнулись в разные стороны и побежали люди.

— Еще стаканчик,— продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие: один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и подходил ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея, Кульберг и не подумал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий — запыхавшиеся, усталые артиллеристы; еще живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей были выстроены пулеметы, и пулеметчикам была дана задача — или погибнуть, или удержать наступающие цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцюбенко — он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами, все ли в порядке.

Неприятель на виду, он так же неудержимо продолжает двигаться вперед.

Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надежда: переживете — удержимся, а не сумеете остановить врага — первые сгибнете под вражьими штыками!

Как уже близко неприятельские цепи! Вот они прорвутся на луговину...

В это время, в незабвенные трагические минуты, когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две...

Еще движутся по инерции вражьи цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались — их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты — не минуты, а мгновения. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему десанту...

Ободренные и радостные, красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска.

Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пытались было связаться с подходившей красной бригадой, но попытки оказались неудачными: между десантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный десант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло лихое дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изго-

родей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой,— поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду: с самого утра во рту не было «маковой росинки». Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе: похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда — ложек нет: двух паршивеньких, обглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что построганной лопаткой заплескивал из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти в глубь станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар — кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по нескольку залпов, должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина — и у нас тишина, и у неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шепотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы — это наши поджигатели метали бомбы. Что получилось через мгновение — не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура... ура...» — катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видал своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица снова была полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам; только наутро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело, стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу красная бригада,— ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно.

Каждый понимал, какое сделано большое и нужное дело. Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний...

Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест, только вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании, плыли суда с красными бойцами... Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу...

Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.

На верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо стонет. В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир Леонтий Щеткин.

Когда вспоминали павших товарищей, умолкали все, словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало и молчание,— снова смех, пение, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

Москва, 14 ноября 1921 г.

ШАКИР

Багажом пришло ко мне пуда три книг. Попробуй-ка, дотяни по нынешней дороге: все развезло, осклизло, распустилось. Со мною крошечные саночки (сосед-спекулянт больших не дал). Везу. От станции продвинулся еще всего 60—70 саженей, а пот так и садит — вижу, что до Арбата не вынесу. Стою — раздумываю, как быть...

— Ай, товарищ-господин, давай я...

Из толпы выделилась фигура татарина: зипунишко, лапти, обычная татарская шапка... Дыры, лоскутья, клочья, заплаты... Усы моржовые — темно-рыжие, мокрые. Глаза чуть видно — моргают, слезятся... Голосок тонкий, умоляющий...

— Денег нет, брат, платить нечем будет...

— Мешок картошка везешь? — спросил он, указывая на груз и, видимо, предполагая получить «натурой».

— Нет, книги.

— Книги... Куда книги везешь?

— Далеко, на Арбат.

— Далеко на Арбат? Давай я...

— Так нет, чего же, братец, давай уж лучше вместе, я тоже тебе помогу...

— И вместе харашо, давай вместе...

— Ну, так за сколько же?

— Рупь давай.

— Это сто тысяч?
— Сто тысяч давай.
— Так и быть — поедем...

Мы тронули... Целимся больше на дорогу — тут кое-где сохранился лед и снег... Мчатся автомобили, окатывают нас каскадами навозной жижицы, перегоняют на тротуар...

Спутника моего зовут Шакиром — он беженец с голодного Поволжья. Только вчера похоронил жену, осталась на руках полуторагодовалая малютка. Не знает, куда теперь с нею деваться, чем кормить. Сам работы не нашел, околачивается возле больших вокзалов. Но и тут дела Шакиру не даются: санок нет, купить их не на что, а на ручной багаж монополию захватили станционные носильщики, злобно встречающие ободранных конкурентов. Шакиру за пятьдесят пять, силенок у него осталось немного, на тяжелую работу не годится.

— Таскать все надо,— говорит он.— Есть хочешь — таскаишь. А таскать не будешь — есть не будишь. Ящик таскаишь...

— Да у тебя и силы-то нет, Шакир, где тебе ящики подымать?

— Хлеба хочишь — сила есть, хлеба не хочишь — сила нет.

— А ты обедал сегодня?
— Вчера обедал...
— Ел сегодня?
— Вчера ел.
— А будешь есть?
— Буду есть — ты хлеба дай...
— Дам... А девочка твоя — кто ее-то кормит?

— Дворника жена есть... У нее девочка... Сколько деньги принес — жене дворника отдал, все ей отдал.

— А далеко живешь, Шакир?
— Тагански...
— Это пешком туда и пойдешь?
— Сегда пешком ходим... Деньги дочка нужны...

Я посмотрел ему на ноги: лапти запутаны в лохмотья; все это намокло, пропиталось навозным соком, грязью...

— Ноги-то мокрые?

— Ноги сегда мокрые.

— Болят они у тебя?

— Доктор ходил, сказал — болят ноги...

— Лечишь, значит?

— Больше доктор не ходил, станция ходил... работать надо. Деньги дочка носил.

За долгий путь о чем только не переговорили мы с Шакиром. Он рассказывал, как жил в батраках, как работал, нуждался. И выходило так, что прошлая жизнь была у него только чуть-чуть получше той, что настигла теперь... Он не запомнит времени, когда семья была бы разом — и сыта, и одета, и обута. Чего-нибудь всегда не хватало, а семья была в семь человек. Теперь кто поумирал, кто замуж повыходил, остался Шакир с женою вдвоем, да тут еще на грех девчонка родилась.

— Девчонка зря родился,— говорил мне Шакир.— Девчонка не нада родиться... Малака нет, хлеба нет, голод есть — девчонка не нада родиться...

Но делать уж нечего: бьется, а кормит. Теперь, без «бабы» ему совсем тяжело: она хоть что-нибудь сварит, бывало, когда Шакир денег принесет, а теперь и денег заработает, да варить-то уж некому.

— Купишь хлеб, огурец, капуста, вода попил, больше нет ничего...

— И так каждый день?

— Так сегда... Только хлеб не сегда.

— Плохо тебе, Шакир, живется... А будет лучше? Как ты думаешь — будет лучше или нет?

Мне хотелось узнать — ждет ли он чего, надеется ли на что-нибудь? Только я опасался, что не поймет Шакир вопроса. Ан нет, понял — глаза осветились, расширились, помолодели.

— Все будит хароший...

— Так где же хорошо-то,— донимал я его,— посмотри, как ты нуждаешься...

— Сичас нет — и плоха... А когда будит — хорошо будит...

— Ты уж не доживешь, Шакир...

— Девчонка жить будит, дочка жить будит...

— А знаешь ты, что такое совет?

— Совет? — переспросил он.— Совет знаю, ходил совет...

— Нет, ты знаешь ли, как он выбирается, кто выбирает и что он делает?

Как ни силился Шакир что-то мне объяснить,— понять было невозможно. Я стал ему объяснять. Смеется радостно, останавливает меня среди луж и навозных кучек. Извозчики и автомобили обдают грязью, а мы стоим, и возбужденный Шакир, глядя мне в глаза, спрашивает торопливо:

— Бедный человек не будит?

— Не будет, Шакир.

— Все работать будим?

— Все...

— Ленин сказал?

Я радостно вздрогнул от этого вопроса. Мы про Ленина еще не говорили с ним ни слова — Шакир назвал его имя первый.

Так, значит, и он, этот вот темнейший человек, знает, знает и чувствует, что имя Ленина можно называть лишь там, где говорят о труде, что Ленин и труд — одно и то же?..

Перескажешь ли все, что говорили мы за двухчасовую дорогу. Только я заметил, прощаясь, что Шакиру слова мои запали в душу, что они ему радостны, что редко-редко, может быть никогда, не говорили еще с ним так, как это вышло теперь...

Взявши краюху хлеба в обе руки, поглаживая ее с концов, он уходил от меня, веселый и довольный, на свою далекую «Тагански», к голодающей малютке дочке.

10 марта 1922

НА ПОДСТУПАХ ОКТЯБРЯ

(1 мая 1917 г. в Иваново-Вознесенске)

Мы хотим, чтобы Первое мая было теплым, светло-солнечным днем. А сегодня так скверно: моросит изнурительный, бесконечный дождь; по выбоинам дорог хлюпает мутная вода; посерели и принахмурились дома, сараи, заборы, низко опустилось дымчатое, скучное небо.

Ах! Первое мая должно быть совсем иным! И не только я,— мы все ожидали его в лучах, в цветущей зелени, с голубым высоким небом.

Теперь, я думаю, всем тяжело и обидно, как мне; даже не только обидно-тяжело, а опаска берет: «Ну, да как никто не придет, одни знаменосцы? Кому захочется в этакую гнусную слякоть истязать себя долгие часы? Не подумает ли каждый: «А пусть без меня... Что я один? И не приду — хватит народу... Дай-ка пережду окаянную хмару...» Гвоздем торчала эта мысль. И беспокоила...

Я вхожу на широкий фабричный двор. Он напомнил мне распростертую засаленную рабочую блузу, когда от дождя по ней стекает масло, известка, нефть, прилипшие комья грязи.

На пустынном дворе еще бóльшая тоска, чем на безлюдных утренних улицах.

Комнатка у фабричного комитета небольшая — черная, прокуренная, полутемная.

Мы сегодня пришли сюда спозаранку: не дошили вчера атласные знамена, не достроили подмостки театру, а открыть его надо сегодня же, Первого мая. Я не первый пришел: Катерина Лунева, Настя — сестра ее, Гаврилов, Никита Губан, старик Алексеич,— вон их сколько, уж не ночевали ли тут?

— Здорово, товарищи!

— Здравствуй, Павел! На́ молоток — иди на сцену, тебя там ожидают на подмогу.

Я ухожу. Но прежде чем уйти, как всегда, смотрю на Катерину: у нее под опущенными ресницами не вижу глаз; губы сложены строго; низко опущен платок, она вся перегнулась,— склонилась над работой. Не стану мешать, не оторву, не скажу ей ни слова — лучше послушаю, полюбуюсь, как она станет говорить рабочим про Май; так постановил фабричный комитет, чтобы Катерина сегодня говорила: ее любят и уважают — такую рассудливую, умную и строгую.

Длинным-длинным коридором (такие только на фабриках) я пробираюсь к театру: мы его построили в пустующем сарае, когда-то забитом от низу до потолка хозяйскими товарами.

На минутку остановился я и слушаю: тихо. Где-то за стенами чуть гудят человеческие голоса, а оттуда, спереди, то молотком постучат, то проскрежещут ручником-пилою. В этом коридоре я как в подземелье: сыро, темно, даже страшно немного. Как тяжело быть одному: и здесь, и там вот, на улице, под скучным слепым дождем. Я выхожу из коридора прямо в сарай и здесь работаю. Мне все скучно по-прежнему, да вижу я, что и товарищам моим не весело. Стучим, строгаем, пилим, таскаем, режем, вбиваем... Проходят часы. Как прежде, падает дождь непрерывными, бессильными, мертвыми каплями.

Когда на две, на три секунды у нас случалась тишина: не стучали молотки, не визжали рубанки и пилы,— через стены к нам стали доноситься какие-то

звуки. И чем дальше, тем они становились явственней и громче. Гудит. Гудит. Гудит. Мы понимали, что это гомон человеческой речи... «Значит, не все пропало,— подумал я,— может быть, и праздник состоится по-настоящему...» Вместе с говором и шумом, который все усиливался за стенами, ко мне в грудь проникало новое чувство, я замечал, что у меня хоть и медленно, а все-таки пропадает, рассеивается понемногу то гнетущее, мучительное состояние, с которым я шел сюда, которым полон был до этой минуты.

Кончена работа. Мы достроили, что хотели. Я бегу обратно длинным мрачным коридором, и он мне кажется уже совсем не таким отвратительным, как прежде. Лишь только поднялся по ступенькам — прямо к окну. А окно смотрит в фабричный двор. Двор переполнен рабочими.

«Так что же это такое? — чуть не крикнул я.— Неужели правда? Значит, ни слякоть, ни дождь, ни хмурое небо — ничто нипочем...»

Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо; как я сам себе вдруг показался и смешным, и маленьким, и жалким со своими куриными утренними сомнениями.

Взволнованный, спешу я в комитет, а туда не проберешься, все ходы-выходы заполнил народ. Толпа колыхнулась к выходу — это торопились открыть во дворе собрание, чтобы идти на главную, на Советскую площадь, куда соберутся к условленному часу все фабрики. Поплыла толпа. С нею плыву и я. Когда поравнялся с дверью, пахнуло все той же сыростью, что и утром; так же бесстрастно и печально падал дождь, так же угрюмо было свинцовое небо... А у меня дух захватывало от радости. Я торжествовал. Я был счастлив в те минуты. Я уже чувствовал себя так, как будто кого-то и в чем-то победил...

До сегодняшнего утра нам не показали новые атласные знамена. Вот они, у трибуны; я тороплюсь их смотреть:

«Да здравствует советская власть!»

«Вся власть Советам!»

«Долой десять министров-капиталистов!»

«Над производством — рабочий контроль!»

«Передадим землю крестьянам, фабрики и заводы — рабочим!»

«Да здравствует мир!»

«Долой проклятую бойню!»

«Да здравствует Интернационал!»

«Смерть капиталу. Слава труду!»

Ах, какие это сжигающие лозунги! С каким захватом, с каким волнением из уст в уста передают рабочие эти огненные слова! Вот цели, к которым надо стремиться! Вот знамена, под которыми надо идти!

Скорее же, скорее на площадь, там будет нас еще больше, туда всё фабрики принесут такие же атласные и шелковые знамена, где будут не вышиты — выжжены каленым железом такие же пламенные, зовущие слова.

Медленная, гордая, сильная входит по ступенькам Катерина.

— Товарищи! Этот день — наш. Мы посылаем сегодня еще громче свой привет рабочим мира. Мы сегодня еще громче проклинаем бойню, устроенную капиталистами. Мы больше не хотим воевать. Не станем. Под этими знаменами, под этими лозунгами — поклянемся во что бы то ни стало добиться победы рабочего класса!..

Недолго говорила Катерина. И не надо было долго говорить: вдохновенные лица рабочих, решимостью сверкавшие взоры, простые, словно литые слова, эти выкрики-клятвы, этот заключительный восторженный рев,— все сказало о готовности бороться, о готовности страдать, о вере в победу.

Мы пели «Интернационал». Что-то хотел еще сказать табельщик Каплушин, а ему крикнули из толпы:

— Сними с живота дареные хозяйские часы!

— Знаем мы тебя, подлыгалу!

— Ишь какой выискался защитник рабочим!

— Беги лучше — пошепчись с хозяином!..

Напрасно Каплушин махал жиденькими ручонками, напрасно брызгал слюною, торопясь что-то доказать и разъяснить,— из тысячи грудей неслось победное пение... Мы тронулись на площадь...

Никому не было дела до хмурого неба, до расслабленного, противного дождя, до сырости, грязной дороги, истыканной лужами.

Взявшись за руки, рядами, колоннами шли мы по широким улицам, и толпа все росла, облипала чужими, случайными, которые не могли устоять перед нашей силою, перед стройностью, перед новыми песнями.

Лейся вдаль, наш напев,
Мчись вперед.
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы,
Мести гром,
Семя грядущего сеет...
Оно горит и ярко рдеет;
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...

Вот она — площадь. Гремят оркестры: сюда уже пришли и революционные полки. Знамена, знамена, знамена... Кругом знамена: алые, багровые, рдяные, ярко-красные...

На площади пять трибун... И с каждой трибуны все одни слова:

— На борьбу! На борьбу, рабочие! Победа только впереди — это еще не победа!

— Мы готовы! — отвечали рабочие.

— Мы готовы! — отвечали полки.

Шелестели знамена, и казалось, будто они тоже говорят, соглашаются, одобряют...

Так в Мае готовились мы к Октябрю.

Москва, 25 марта 1922 г.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

(Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске)

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го,— ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Туда будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители!

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи,— только тогда победа. Деревня победит вослед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение грошовое.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю неделю так и

не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть, будет: твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело; но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет,— простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты, господи, что же делать-то будешь...

— А вот што,— взвизгнет откуда-то женский крик,— вот што делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь словарь какой нашелся (это уже к нам), на што мне слова твои, ты хлеба дай — хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот што...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи: они понимают голодную мать — не помешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так одна от другой, заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острей почувствовав вдруг всю муку лишений женщины-матери, измученные ткачихи взывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба...

Спокойны, строги, серьезны стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из совета, от этих вот, стоящих на бочках, людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий от голода, от болезней, лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпою проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестьянам землю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы все можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно,— вырывается из сотен и тысяч грудей.— Вся власть Советам! Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду,— вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни — мчатся новые обжигающие слова,— последние дни, когда решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание — зашумела, заговорила, заволновалась толпа, рассыпалась-потекла в разные стороны...

Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скоро остановить движение, потому остановить, что в Питере и в Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы-юнкера и *свободный народ*...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали, так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались вовремя.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда, гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были так же готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я... Ну что же: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет, да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так,— крикнул кто-то из серой массы.

— Долой предателей...

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжественно и гордо вырывались и застывали над серошинельной массой святые клятвы идти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать советскую власть...

— Да здравствуют Советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине.

И масса неудержно, в каком-то исступлении закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

— Да здравствуют Советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладает с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей — и они пришли.

Совет рабочих и солдатских депутатов помещался в Полушинском доме, по Советской улице — лучшего места для тех времен не найти. Куда хотите — всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурылинская, Полушинская, Дербеневская, Гандурина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желанья — оттуда было все, фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести — восьмичасовых заседаний, тянувшихся чаще за полночь,— каких-каких только не разбирали мы тогда вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул», кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подма-

стерья загрубили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне укокошили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя совет: все стекалось сюда.

25-го на 6 часов вечера назначено было заседание совета. Что за вопросы разбирались— не помню, только настроение в тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно; то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавках, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-е... Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты, гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефоном — не выходило. Наконец дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!»

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших,— встала мертвая тишина — и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал. Кричали кому что вздумается: кто проклятия, кто приветствия, жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и сте-

ны, зычно ревели: «Товарищи!.. товарищи!.. товарищи!..» Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкликнул:

— «Интернационал»!

И из хаоса вдруг родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой, наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да-да, все, как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам,— может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспоминалось, как два месяца тому назад, в «корниловские дни» — вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да — так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет — так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение, или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни наши почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложенья — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные:

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов советского исполкома...

— Идти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения; фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк: одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко:

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, который надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем неожиданностям серьезного момен-

та. В-третьих, создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву: «Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться,— попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы воротились и сообщили, что ставим сейчас же по городу караулы, ставим в нужные места специальную охрану: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и т. д. и т. д.,— словом, те самые меры, которые применяли мы постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-революционный штаб.

Непрерывно работал телефон,— это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры; они не давали нам покоя, точно так же, как мы Москве; что мы узнавали,— сейчас же передавали дальше, и в результате весь обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ло-

вили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, с флагами кружили около совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами и громко заявил, что по первому зову расстреляет любую толпу, которая попытается с недобрыми мыслями тронуть наш совет.

Первые ночи не спали сплошь. Из здания совета почти не выходили: разве только на час-другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание совета представляло собой настоящий вооруженный лагерь: кругом с винтовками рабочие, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясом револьверы, многие увешаны бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание совета. К нам приходят сведения, что на почте-телеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш действителен лишь «постольку поскольку», что если и не будет об-

мана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфщики заявили совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на беззаконность и ненужность самого мероприятия, то есть постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-телеграфщиков, есть свой Центральный комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, а если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и т. д. и т. д.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмысленное дело: им не мила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им выбрать представителя и прислать его на сегодняшнее заседание совета в три часа.

Представитель явился: какой-то фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отрицательное. Держался нагло, почти смело — не могу все же допустить — утрированно и потому неправдиво, будто за спиной у себя чувствовал непреоборимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться вся беленькая, серенькая и даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров в сущности не было, что технику дела контроль не убивает и т. д.

— В чем же дело? — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никому и никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство признаем как единственно законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина; тотчас же «пятерке» поручили принять по отношению к наглеющей публике беспощадные меры. Когда волнение поулеглось, представителя отпустили восвояси, только наказали ему снестись со своим московским ЦК и назавтра, к заседанию совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда наутро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы отовсюду оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь!

Сейчас же созвали к совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В этот же день созваны были президиумы всех социалистических партий, железнодорожного и полкового комитетов, в полном составе городская управа и исполком.

Лишь только открылось заседание, как меньшевики и эсеры заявили свой протест (против чего?) и ушли.

Главною целью заседания было избрание вместо «пятерки» постоянно действующего органа — штаба революционных организаций. Мы вошли в эту новую организацию: два от исполкома, один от управы, по

одному от комитетов: большевиков, максималистов, железнодорожного и полкового.

Ночью же «пятерка» передала штабу свои полномочия и дела.

В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефонами намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 88 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. А ничего не поделать было. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали... Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было уже, помню, около десяти вечера. В совете шло заседание.

Решено было избрать теперь же человек двадцать из присутствующих, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, но перед самым отправлением передумали, и нам, вчетвером, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя.— Представляют ли они единую массу, с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь, главным образом, к почтальонам, прислуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы добились того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой, для избежания технических осложнений. Отлично — мы согласились.

Политический вопросник остался неиспользованным. Арестованных выпустили. Перед тем как разойтись после примирения, спели даже «Интернационал»,— впрочем, слов они не знали и мычали за нами довольно сумбурно и нелепо.

Весь «инцидент» на этом и покончился.

Да диво ли: в рабочем центре, в таком котле пролетарском, как Иваново-Вознесенск, что тут могли быть за «движения», когда рабочие фактически держали власть и *до* и *после* Октября?

Дни были нервные, нервничали и мы; даже свой боевой орган, штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад — дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

11 сентября 1922

ЛЕТЧИК ТИХОН ЖАРОВ

Тих, прозрачен и душист июньский вечер. По березовой роще из конца в конец легким аукающим звоном плывут шорохи, высвисты, четкая дробная трель вечерних птиц... На просторной круглой поляне, у самой опушки, будто картонные белые домики, приникли в траву парусиновые палатки летчиков.

Там, в тени, спасаясь от туч комарья, с накрытыми лицами — расстегнутые, раздетые, в одном белье, с цигарками в зубах, кто с книжкой, кто с газетой — лежат они в сумерках, отдыхают. Или сбираются артелью — и через поляну, за рощу, на Валку купаться. Валка — узкая, тихоструйная речонка с отлогими берегами, глухо заросшими высокой травой. На Валке такая же тишь, даже тише, чем в роще. Только в осоке кряхтят тяжело и мерно огромные жирные лягушки... Над водой, над тихими, чуть слышными струями прозрачной газовой сетью поднялся вечерний туман... Из-за реки глухо, невнятно откуда-то издалека слышны голоса — это в деревне. Туда летчики ходят брать молоко, а иной раз по вечерам шатаются к девушкам: песни петь, играть на гармонике или парами, ныряя во тьму, пропадают за прудом, в лугах, в перелесках...

Сегодня вечером никто нейдет ни купаться, ни к девушкам на деревню. Сегодня у всех на душе тяжело и мрачно, лица у всех угрюмы и строги: за рощей, на

пригорке, под свежим холмиком земли они зарыли сегодня лучшего и любимого товарища — Никиту Зорина. Он погиб в воздушном бою, обуглился до костей в пламени сгоревшего самолета. За три недели схоронили двоих, но особенно тяжела была эта последняя утрата — и сегодня целый день ходят все с понурыми головами, стараются реже встречаться, меньше говорить: каждому хочется выносить, изжить в себе свое цельное, недробленое горе.

Из дивизии прилетел новый летчик, Тихон Жаров,— он работал на московском аэродроме и, говорят, считался одним из лучших. Здесь его знает Крючков, они в прошлом году вместе летали где-то под Киевом.

Каждое утро, на заре, из-за леса подымается неприятель, и нашим стареньким, растрепанным самолетам не под силу справиться с ловким, быстрым хищником. Завтра против него подымется Жаров, новый летчик — и будут снова в напряжении, с тревогой ждать товарищи рокового исхода...

Жаров весь день кружится у машины — осматривает гайки и винты, ощупывает, привертывает, смазывает, приглаживает ее, как любимого человека... Он приходил сюда с техником, и целых полтора часа они простояли над машиной, заглядывая и прощупывая со всех сторон, или, лежа на спине, подползали под широко раскинутые крылья и снова высматривали, щупали, мазали холодные винтики, гайки, болты. Жарову хорошо знакомо это тревожное состояние перед решительным делом — не впервые вылетать ему в неравный бой, но сегодня тревога как-то особенно свежа, а мысль по-особенному чутка, быстра и неспокойна. Что это: неверие ли в свои силы, или опасение за испытанного, но усталого, растрепанного друга — за свой аппарат? Или еще что?..

Может быть, скорбь товарищей о дорогом покойнике — не передалась ли она и ему: круглый холмик влажной, свежей земли нейдет из головы.

Жаров мимо старта, где с распростертыми крыльями выстроились в ряд самолеты, мимо крайней палатки поплелся тихо по узкой лесной тропе, сам не зная куда и зачем идет...

У самой реки столкнулся с Крючковым — тот в жестяном измызганном чайнике с веревочной ручкой тащил воду на вечерний чай.

— Ты что тут бродишь один? — окрикнул он Жарова, улыбаясь бесцветными водянистыми глазками.— Аль не привык к новому месту?..

— Да вот тут...— начал было Жаров, но понял, что отвечать собственно нечего,— не кончил, спросил сам:— Заправиться?..

— Идем вместе,— ответил тот, подходя к Жарову и подхватив его под руку.

Повернули, пошли по тропинке обратно и мало-помалу разговорились, ушли в воспоминания о прошлом, о работе под Киевом, о живых и погибших товарищах... Чайник с водой уж давно подвесили у придорожной березы и ходили взад-вперед, увлеченные разговорами.

Худенький, узколицый Крючков, с рыбьими глазами, мочальными прилущенными волосами, одетый в несуразно растопыренные галифе, юркий и франтоватый недалекий человечек — никогда по-настоящему не был близким товарищем Жарову, но теперь они разговорились, как близкие друзья, и Крючков совершенно не испытывал той обычной робости и чувства неравенства, той неловкости, с которою прежде подходил он к Жарову. Его не давила грузная, широкая фигура товарища, не смущали пристальные, тяжелые взгляды черных глаз, и вся речь Жарова, прежде казавшаяся такой пренебрежительной и высокомерной, показалась ему теперь простой, откровенной и задушевной... Он задорно, торопясь и сбиваясь, польщенный в глубине души такою переменой, высказывал Жарову свои мысли:

— Наше дело воевать,— горячился он,— воевать, и больше ничего... Все разговоры о мирном применении авиации, по-моему, одна только чушь. За ширму прячутся, очки втирают, а на самом деле одно у всех

идет приготовление — к войне... И кто больше приготовится — тот наверху. Далеко нам еще до того, чтобы дамочек по воздуху катать...

Крючков не имел никаких специальных познаний в авиации, он был летчик — и только, да и среди летчиков никогда не считался особенно примечательным. Он был неглуп, но как-то легковесен, и крайне неубедителен. Учился когда-то в гимназии и сохранил от той поры дурную привычку ввязываться в спор на любую тему, со значительным видом сообщая разные услышанные новости или мысли и факты из последней прочитанной брошюрки; все это, разумеется, выдавалось за собственное достояние, но чуткий собеседник уже с первого слова умел раскусить незамысловатую личность Крючкова... Тихон Жаров, наоборот, дело понимал и интересовался им серьезно, и тех, которые с ним сталкивались, всегда приятно волновало его отчетливое, твердое знание и глубокая уверенность в том, что говорит. Таких «фендриков», как Крючков, эта серьезность Жарова отпугивала от «ученых» разговоров, и сам Крючков, встречаясь с Тихоном под Киевом, постоянно чувствовал себя перед ним на положении ученика. Но сегодня все обстояло по-иному... Когда он высказался горячо и торопливо, Жаров, посмотрев ему спокойно в глаза, сказал:

— Так я тебе не про завтрашний день и говорю, я на будущее...

Горячка Крючкова, видимо, нисколько его не задевала, не передавалась: он говорил тихо и спокойно, как всегда.

— Ты о настоящем, а я про будущее,— гудел он угрюмым, мрачным басом.— Война... Что такое война? Война только средство... Придет время, когда ее не будет,— и тогда...

— Дамочек катать! — хихикнул Крючков.

Ввернуть «словечко» доставляло ему всегда величайшее удовольствие.

— Да што ты, в самом деле,— посмотрел на него укоризненно Жаров,— у тебя только дамочки одни

перед глазами — неужто больше и делать нечего?.. Ты, братец, очень, как бы это сказать?..

Жаров пальцем пошарил лоб, улыбнулся и, не желая обидеть собеседника, подыскал с трудом подходящее слово:— Ты очень... забавно представляешь себе это будущее... На наших птицах быстрей, чем поездом,— и легче, и безопасней, и удобней, да и дешевле — на них проделаешь что угодно: и груз вези, и пассажиров, почту, и в земельном деле пригодится, в охоте ли, в научной ли какой экспедиции, в работах астрономических, в изыскательных работах — на наших птицах так рванем вперед, как ни в какой другой области... Это теперь еще не всеми понято, многие думают, что птица стальная только для войны... Большая, брат, ошибка. Это значит — из-за дров не видеть лесу...

Жаров снял пилотскую шапочку, чуть державшуюся на лохматой, кудрявой голове, и всей пятерней провел ото лба к затылку...

Крючков уж давно опустил его руку и жестикулировал, поспевая за Тихоном со стороны, и, как бы не надеясь на силу одних своих слов, размахивал перед носом Тихона кулаками, выводил каракули по воздуху или отчаянно тыкал в пустоту указательным пальцем, словно старался что-то нащупать, во что-то долбануть. Тихон шел и смотрел перед собою, редко поворачиваясь в сторону и как бы совершенно не замечая Крючкова. Но он не пропускал ни одного слова, на все отвечал и спорил с явным удовольствием... Хотя он и понимал, что от Крючкова мало что можно услышать толкового, но ему самому хотелось высказать и даже выслушать собственные свои мысли... Поэтому, нисколько не обижаясь на легкомысленные возражения товарища, он отвечал сам себе на те вопросы, которые роились в голове и которые только отдаленно связаны были с теми вопросами, что задавал Крючков.

— Да... из-за дров не видеть лесу,— повторил он еще раз последние свои слова.— С годом год конструкция аппарата становится все проще, все совершенней... И все большая емкость, все больше удобств,

Вон на виккерсе на английском — знаешь? Там, братец мой, шестнадцать спальных комнатушек, там тебе и столовая, и уборная, и читальная комната... тридцать с лишком человек прет — это не фунт изюму... А быстрота, слыхал: французик один триста верст в час отмахал на ньюпоре... Да што: кругом, брат, вперед идет... И все меньше жертв, с годом год все меньше — теперь одни чудаки думают, что по воздуху летать опасно,— да што я тебе об этом буду говорить — сам знаешь. В Англии за прошлый год, за девятнадцатый, перелетело пятьдесят две тысячи человек,— то есть по делам невоенным... а что думаешь: ни одного убитого и только десяток какой-то раненых — разве это процент? Ерунда, на пятьдесят две тысячи — ерунда... Да, пожалуй, и тут вина не от аппарата, а от нашего брата была. Летчиков, правда, парочку убило, шесть поранило, но это опять-таки не резон — так ли?

Крючков слушал с затаенным дыханием. Он несколько раз порывался было перебить Жарова, но тот молча отводил рукой его начинавшую жестикулировать руку, и Крючков замолкал... А к тому же, откуда ему было еще узнать эти сведения: он как учителя слушал теперь «знающего» Тихона. И хотелось ему поспорить, и послушать было интересно... Внутренний бес не давал покою; он к тому же недавно прочитал какую-то маленькую книжонку, и теперь хотелось блеснуть перед Жаровым своими знаньями.

— Так-то так... все это хорошо,— изловчился Крючков вставить первые слова.

Жаров оборвал речь и стал вертеть цигарку, склоняясь к белой жестяной баночке, откуда вытряхивал махорку.

— Ты говори, я слушаю,— сказал он приостановившемуся Крючкову.

— ...Так вот я то и говорю,— продолжал Крючков,— что тут целый круг создается... Выходу нет, если по-твоему предположить: война только средство... Хорошо... Ее не будет... А мы в то же время знаем, что именно война и помогает росту авиации, что именно в военное время так быстро авиация

совершенствуется,— следовательно, рост ее, как выходит,— от военного искусства идет, им вызывается, развивается и толкается... Вне войны, может быть, даже и не будет нужды в авиации — со старыми средствами управятся... Вон, как броневики: их родила и совершенствует только война, а потом — потом в хлам,— куда они?

— Эка хватил,— не утерпел Жаров,— броневики... Да тут никакой и параллели-то нет... Или ты в самом деле не понимаешь,— не знаю я,— или поспорить тебе охота, но скажу откровенно,— прибавил он,— удивляет, смешит меня эта ваша новая модная теория, что мы с машинами только на войну пригодны... Эта задача преходящая — и даже очень... Главное не в том... Погоди-ка, техника еще какие чудеса создаст, только ахнешь! Теперь у нас не прочь все дело и на спорт свести... Эти трюки мне не по душе... Пока война — воюем, а там на другой путь... Уж непременно так...

— А по-моему,— начал снова Крючков,— по-моему, и здесь у нас дорога не ахти какая широкая, то есть на войне... Я вот летаю...

— Знаю, что летаешь,— улыбнулся Жаров.

— Да... Так и то — разве што на перепуг, а результатов больших — нет их вовсе. Ну, какие результаты... Разведка? Да, разведка кой-што дает... Но ведь такую разведку и конница заменит с успехом... Сигнализация? Бой корректировать? Ну, брат, это все больше из области философии — тут результаты совсем не проверенные. А что касается уничтожений, разрушения — ты сам отлично знаешь, что из сотни сброшенных бомб дай бог, чтобы две-три штуки с результатом... Перепуг один, паника — вот тут уж, конечно, результаты есть... Этого не отрицаю...

— Даже если так,— увесисто и внушительно перебил его Жаров,— если только твое подсчитать,— и это результат немалый... Но имей в виду, смешной ты человек,— разве можно брать нашу убогую, да к тому же и растрепанную авиацию... Ты не у нас смотри... Мы што — мы только в будущем, нам пока остается одним своим мужеством покорять чужую

технику... Ты возьми американский, английский флот, покойной памяти германскую авиацию... Да если они, черти полосатые, двинут на нас свои эскадрильи — што ты со своим гнилым фарманишком сделаешь? Помяни мое слово, Крючков: если будет большая война — победит в этой войне воздушная эскадрилья... Против нее ни море, ни суша, ни конница, ни пехота — не выстоит ничто. Да и на самом деле — как ей не победить, когда она одна совместит в себе все виды оружия. Конница? Быстрая разведка? Хоть ты и сомневаешься, а, по-моему, вернее нас с тобой никто этого не сделает... Особенно если еще фотографирование и способы передачи вперед шагнут... Пехота? Но что у пехоты за цель, какие задачи? Деморализовать врага, расколошматить его, отнять территорию... А ты знаешь, что в Америке на самолетах Ларсена по тридцать пулеметов устанавливают! Знаешь, что авиабомбы в две тонны весом есть, что есть в той же Америке какой-то новый, необычайной силы удушливый газ, заключаемый в стальные гостинцы? А «пожарные» бомбы, чиненные фосфором, а пушки на самолетах!.. Трехдюймовка-то уж бьет там без отдачи,— теперь шестидюймовую прилаживают... Тут тебе и всей артиллерии замена. Што ты берешь наш русский флот? Разве это тебе пример? Ты через переносицу глянь...

Крючков и на самом деле дальше собственного носа не видел ничего. Все его рассуждения и возраженья никого ни в чем не могли убедить, потому что и сам-то он не был в них убежден. Тем менее могли они убедить Жарова. Тихон понимал его отлично и, надо сказать, если бы не это особенное его сегодняшнее настроение,— вряд ли стал бы он разговаривать и спорить с Крючковым о таких высоких материях. Но он чувствовал органическую потребность высказаться и что-то уяснить себе самому. И говорил, спорил, отвечал, часто, может быть, невпопад, возражая не по существу, а продолжая какую-то нить собственных внутренних рассуждений... Теперь он этой потребности больше не чувствовал, и как только Крюч-

ков стал дальше разводить «турусы на колесах», он остановил его на полуслове, взял за плечо:

— А уж совсем, брат, стемнело. Пойдем-ка чай пить... Мне ведь на заре подыматься...

Они повернули к палаткам, сняли чайник с березки и скоро, разведя костер, уселись на траве, разговаривая о чем придется и не возвращаясь больше к старым темам.

— А кто с тобой летит? — спросил Крючков, когда вошли они укладываться в палатку.

— Не знаю... Какого-то Ферапонтова хотели дать — я же тут никого не знаю...

— А вот што: я сам полечу с тобой — хочешь? — посмотрел ему Крючков вопросительно в лицо.

— Чего же, давай,— согласился Жаров.

Они раскинулись на траве, подбросив кожаные тужурки под головы. Скоро Крючков уснул, и Тихон долго слушал его ровное, безмятежное дыханье. Но самому не спалось... Он ворочался с боку на бок, зарывался в тужурку с головой, но и это не помогало... Тихо поднялся, вышел на волю.

Голубыми отливами блестели на старте стальные птицы.

Он подошел к своему аппарату и начал снова осматривать его, ощупывать, заглядывать с разных сторон.

Вынырнул из тьмы дежурный часовой, окрикнул, но, узнав своего, прошел мимо.

Разговор с Крючковым не рассеял его смутную тревогу — он чувствовал в себе по-прежнему глубокое, необъяснимое беспокойство... Приходили и уходили мысли, вставали и пропадали воспоминанья, а тревога все оставалась неизменной.

Так, блуждая по опушке, он незаметно пришел к тому месту, где круглым желтым холмиком отмечена была свежая могила. Остановился над ней, минуту постоял в раздумье и поплелся снова к палатке...

Там все по-прежнему ровным безмятежным сапом посвистывал Крючков... Тихон опустился, снова хотел

заснуть, но сон не приходил, была только одна беспокойная дремота... Так пролежал он часа три, а когда засерела поляна и в открытый треугольник завешенной палатки пробилась бледная предрассветная муть,— он разбудил Крючкова и быстро зашагал умываться к реке.

Проснулись все и высыпали из палаток, полураздетые, в накинутых на плечи тужурках, ежась в утреннем холоду; окружили улетавших, гуторили, спрашивали, давали советы...

Тихон с Крючковым забрались в машину, уложили бомбы, приставили кольт. Крючков зачем-то открыл и снова закрыл футляр с биноклем, посмотрел в сумку, пошуршал бумагой...

— Ну, счастливо, товарищи!

— Айда!.. Айда!..

Тихон улыбнулся, взялся за руль, дал мотору полный газ, взял разбег — и медленно, грузно, словно не желая отрываться от земли, аппарат приподнялся над травой и вдруг рванулся быстро, словно озлясь, нырнул в пространство и начал забирать высоту...

Разведчик темной ночью, пробираясь через глухие заросли, не всматривается так пристально в тьму, не вслушивается так чутко в шорохи затаившейся ночи, как насторожился теперь Тихон Жаров.

Четко и бурно ревел пропеллер, но из этого рева привычный слух его отчетливо выделял и слышал, как терлись и шаркались в воздухе крылья, как звенела каждая пластинка, визжали слабые тросы, шумели, скрежетали, стонали и пели сложную удивительную песню все кончики стальной быстролетной птицы...

Крючков сидел в глубине и зорко всматривался в прозрачную голубую пустыню, смотрел туда, где каждое утро сверкала в ранних лучах чужая птица, на которую мчались они охотой. Но нет ничего...

Свежий воздух щекочет ноздри; чем выше, тем легче и глубже вздыхает грудь; все шире, все необъятней перед глазами раскидываются голубые бездон-

ные просторы... На светлые — черные полосы, на черные — светлые пятна поделилась земля: там гомон, грохот, шум, движенье... А здесь, когда б не пропеллерный вой — такая безграничная тишина, такая чистая, светлая пустота, ненарушимый покой... Словно со дна встревоженного океана, где кипит-суетится беспокойная жизнь, подымались все выше, все выше и легче они к прекрасному тихому лону. Какой простор! Какая воля! Теперь бы лететь все выше и выше в зенит, лететь за планетой, минуя планеты, лететь по миру... Велика твоя воля, человек, пронзительна мысль, в восхищенье приводит, восторги родит твое мастерство, твой труд, твои победы, но ты победил миллионы тайн, а миллионов миллионы все еще стоят перед тобой роковой загадкой. Но нет той тайны, которую не переборет человеческий труд... Пройдут века, и меж планетами будут люди носиться так же легко и свободно, как носятся ныне они меж горами, по морям и океанам...

Не мысли, а их подобие, какие-то краткие обрывки, захватывающие образы, отдельные прекрасные слова кружились перед Тихоном в ураганной пляске. Он не знал, о чем теперь думает, но сердце дрожало в экстазе, из груди были готовы прорваться торжественные гимны... От ночной тревоги не осталось и малейшего следа,— он на земле чувствовал себя не так покойно, как здесь, в воздушном океане. Сами собою срывались с губ отдельные, себе непонятные слова — и он не старался их понимать, не удивлялся им: в этих случайных умчавшихся звуках, как в образах, печатлелись его восторги, распиравшие грудь.

Крючков по-прежнему неотрывно и пристально глядел в одну точку: над этой вот черной каймой, над лесом, из-за дальней горы, должен подняться неприятель... И вдруг он услышал где-то в стороне чужие непрерывные рокочущие звуки — будто их ветром донесло сюда из воздушной пустыни. Тихо дотронулся он до плеча товарища и замер с приоткрытым ртом, перевел на него свой немигающий, напряженный взор, давая понять, что свершилось что-то важное. А Тихон, словно прикованный, уже давно сидел с высоко

вздернутой головой и смотрел в ту сторону, откуда неслись эти новые, неожиданные волны звуков. Он услышал их прежде Крючкова и понял, что неприятель, обогнув линию леса, поднялся с другой стороны и теперь держался значительно выше... Он перегнулся через борт и вдруг увидел, что тот, близкий и страшный, стремится к нему. Тихон круто повернул и повел в сторону накрененную машину... Крючков наготове держал пулемет, прильнув к нему и будто опасаясь, что кто-то сильно и неожиданно рванет и выхватит его из рук... Тихон хотел закружить по спирали и подняться врагу наперерез, но тот неотступно следил за полетом, ускорил ход и быстро завернул навстречу подымавшемуся Тихону. Потом опустился камнем и мчался прямо на него, словно собственной силой хотел столкнуть с пути... Крючков заработал пулеметом. Тихон впился костенеющими пальцами в холодную гладкую округлость руля — еще быстрей и круче хотел скользнуть с пути... В это мгновенье зазвенели какие-то новые быстрые жалобные звуки — неприятель бил из пулемета, и пули со стонущим писком проносились мимо... Вдруг совершилось что-то изумительное — чуть блеснул в стороне и вспыхнул полымем неприятельский аэроплан — Крючков пробил ему бензиновый бак...

Во мгновение ока пилот выскочил на нижнюю левую поверхность и продолжал управлять, не давая пламени охватить весь аппарат,— круто скользя на крыло, отгоняя в сторону огненные языки...

Поглощенный этим страшным зрелищем, Тихон как-то машинально сделал крутой переворот через крыло, и в этот миг обе правые несущие поверхности отскочили моментально, взвились и умчались куда-то вверх... Он быстро выключил мотор, закрыл сектора, рванул рулями, поставив их в штопорное положение,— самолет пошел быстро книзу сжатой вертикальной спиралью — все быстрей, быстрей, быстрей...

Вот закружились в дикой пляске небо, земля, постройки, лес... Помутнело в глазах. Где-то далеко слева сверкнул золотым шаром с такой же быстротой летевший книзу, полыхавший в пламени неприятель-

ский аппарат... Раздирающим сердце свистом свистели отчаянно тросы, адское задувание выло и хрипело со всех сторон, словно били и резали где-то огромное живое стадо, и страшный предсмертный вой его доносился и стыл в ушах... Вдруг раздался треск,— что-то грузно дернулось, лопнуло, заскрипело, заухало... Тихон потерял сознание...

Аппарат упал на берегу тихоструйной Валки, шаркнув по вершинам соседних берез. Неприятельский аппарат унесло куда-то далеко за реку. Когда товарищи подскакали к берегу и извлекли из-под обломков Тихона с Крючковым, первое, что бросилось всем в глаза,— это бледное, чудом сохранившееся лицо Крючкова: неприятельская пуля пробила ему сердце, грудь была пробита в трех местах. Когда они мчались с Тихоном стремительно вниз — уже бездыханным трупом застыл в те мгновенья Крючков и не пережил ужаса, который белым серебром обелил кудрявые черные волосы его товарища.

Тихон навзничь, весь облитый кровью, лежал под обломками своего испытанного, но усталого друга. Череп раскололся на две части, и оттуда, словно из гнойной раны, сочились и стекали длинные скользкие полоски окровавленного мозга... Слиплись и примокли его прекрасные черные волосы — они блестели теперь серебром нечеловеческого ужаса, разбросались на две половинки, и отдельные длинные волоски над расколотым черепом тянулись друг к другу, словно тоскуя и жалуясь, что их разлучили...

Теперь на зеленой поляне, близко от берега тихоструйной Валки, стоят одиноко, безмолвно три холмика: три дорогие могилы.

17 мая 1923

ЕПИФАН КОВТЮХ

Во второй половине 1917 года с Кавказского фронта расходились по домам полки царской армии. Епифан Ковтюх, находившийся в это время в Эрзеруме, получил какую-то незначительную командировку, но вместо того, чтобы снова воротиться в далекую турецкую крепость, предпочел укатить на Кубань, где в это время уже кипела грозно революционная борьба... Приехал в Таманский отдел, в родную станицу Полтавскую, где жили родители-старики.

Годы войны он провел на турецком фронте, за боевые отличия с фронта уезжал в чине штабс-капитана...

Но офицерский чин не тронул, не изменил сырую и свежую натуру Ковтюха, не заразил его недугами гнилой офицерской среды,— он ехал в станицу к привычной трудовой жизни — к хозяйству, к скотине, к земле... И начал бы снова пахать, если б волны гражданской борьбы не увлекли его за собою...

Первое время только присматривался и многого не понимал, не знал еще тогда, не видел, какой размах принимают события, что надо делать, куда идти... Трудовая, тяжелая жизнь, потом война, это бесконечное мотание по фронту — не дали ему возможности столкнуться с книгами и людьми, которые разъяснили бы существо борьбы, историю этой борьбы, рассказали бы про большевиков, про другие партии... События нахлынули, как мутный поток, и в этом потоке он

сразу ничего не мог рассмотреть, отличить, понять, разобраться по-настоящему. Но трудовое чутье подсказало верную дорогу... Станица Полтавская была одна из гнуснейших станиц — здесь кулацкое казачество было спаяно особенно крепко, немало бед натворило оно за время гражданской войны на Кубани. Зато и неказачье, так называемое иногороднее, трудовое население станицы, объединилось уже с первых дней...

Надо помнить, что Кубань все время как бы распадалась на две половины: казаки, коренное население, считали себя господами положения, владели большими участками земли, жили наемной батрацкой силой. А наезжие — «иногородние» — шли на заводы, в мастерские, внаймы к богатому казаку или крепко маялись на жалких осколках земли. И глубокая вражда, взаимная ненависть кипели, не стихая, по городам, по станицам Кубани... Грянул гром революции — и казакам он был сигналом борьбы за «свободную Кубань», борьбы за то, чтобы на Кубани остались одни казаки.

Гром революции пробудил с новой силой у неказачьей трудовой Кубани страстную охоту сбросить ярмо, освободиться от гнета, зависимости, горькой нужды... И началась борьба... Тесно льнули к иногородним трудовые казаки, особенно те, что приходили с фронта, но тем ожесточеннее и злее рычала в негодовании упитанно-сытая полудикая кулацкая Кубань... По станицам — где совет, где по-старому казачий атаман. Атаман правит и станицей Полтавской... Перепутались власти на Кубани, и уж чувствуют все грозное дыхание решительной битвы, знают, что двум властям не бывать, что только мечом одна другую положит на месте... Идут недели и месяцы... За Октябрьскими днями и Кубань поняла, что подступают последние моменты, близится удар... С Дона приехал Покровский, жестокий, трусливый генерал; создается добровольческая армия. Кубанская рада — дите тупых богатых казаков — мало-помалу теряет остатки власти, и офицерский произвол добрармии захлестывает Кубань. Горячо работают большевики...

Создается Областной совет народных депутатов — его на съезде своем выбирает иногородняя трудовая масса Кубани... Погом — Военно-революционный комитет... Красные отряды... Первые открытые схватки... Это заполыхали кровавые языки ожесточенной гражданской войны. Загорелась Кубань... Все быстрей, все неожиданней мчатся события... Железным шагом идет к победе трудовая масса...

Ковтюх живет в Полтавской. То и дело собираются у него станичники-соседи, приезжают ребята-фронтовики из других станиц — держат совет, как бороться против казацкого нажима, против разнузданной офицерской вольницы... Готовятся и другие станицы, готовится вся Кубань, но в Полтавскую долетают об этом одни лишь глухие короткие слухи...

Откуда-то сдалека прорвался в Таманский отдел красный партизанский отряд. В нем все больше солдаты-фронтовики, насмерть порешившие бороться с белым офицерством. Пришли в Полтавскую. Узнали, что Епифан Ковтюх — из офицеров царской армии, не разобрали, не узнали — порешили расстрелять...

— Я же свой, товарищи.

— Какой ты свой, офицерская морда. Выходи...

Под окнами ватага позванивает грозно штыками. В хате воют благим матом очумевшие от ужаса старики, голосит и плачет молодая жена Ковтюха.

— Выходи, а то на месте...

Захолонуло сердце.

«Значит, пришел конец»,— решил Епифан, а тем временем мальчишку садами послал бежать к станичникам, торопить на помощь.

Прибежали братья, набежало народу кругом, сгрудились, прижали отрядников.

— Ах вы, подлецы... Это своего-то брата-солдата!.. Да какой он офицер... Марш... марш — не то всех на месте!..

А сами прут-напирают — кто с винтовкой, кто с револьвером, у кого шашка блестит, готовая в дело...

Отхлынули отрядники — задом-задом, вон из станицы. Так и пропали.

— Ну, ребята, спасибо за помощь,— обратился Ковтюх к товарищам...— Только после этого разу — полно думку думать, куда идти да што нам делать... Дело совсем теперь ясное... Надо в отряд. Я предлагаю создать Полтавскую красную роту!!!

Дружно, согласно гуторили; кто и спорил, кто и не хотел — «каждый, мол, сам по себе сумеет»,— а подконец согласились на роте. И с тех пор командир Таманской красной роты, Епифан Ковтюх, пошел на открытую борьбу, все годы гражданской войны метался по фронтам, вынес крестную муку и до наших дней остался в Красной Армии...

Полтавская рота скоро влилась в большой отряд Рогачева. Этот отряд объединял несколько мелких отрядов, бойцы которых все время жили по станицам и только на клич собирались, шли воевать... Командир всех отрядов, широкогрудый матрос Рогачев, в штабе своем, станице Старовеличковской, зорко смотрел, откуда идет опасность. И лишь только подымалось восстание, он гнал гонцов во все концы — и по железной дороге, в повозках, пешком и верхами,— стекались отовсюду красные бойцы, часто с ребятами, с женами, со всем семейством, с домашним скарбом. Получали задачу — и шли выполнять...

Так, под командой Рогачева не раз ходил в дело со своею Полтавской ротой и Епифан Ковтюх.

Натиском красных войск скоро был выбит с Кубани генерал Покровский — войска его при отступлении наткнулись на таманские отряды и вослед не раз были биты жестоко.

Кубань под советским стягом. Но неспокойны казаки — то здесь, то там подымаются они — убегают в плавни, кроются в камышах, налетают на мирные советские станицы, громят учреждения, расстреливают, вешают коммунистов. На усмирение снова и снова посылается рогачевский отряд; с ним рядом первым помощником всюду идет Ковтюх... Мчатся дни, неде-

ли, месяцы... По осени белые войска заливают снова кубанские равнины и оттесняют Красную Армию. Она не в силах сдержать решительный натиск врага — с боями отступает, уходит на восток, на Белореченскую. Это уходят главные силы; ими командует, печальной памяти, талантливый партизан Сорокин. Таманцы отрезаны у себя на полуострове — выхода нет, кругом неприятель, выход только на побережье... И решились — через клокочущее море восставших казачьих гнезд пробивают они себе дорогу на Новороссийск. Начинается знаменитый поход Таманской армии... Отступают не только бойцы — с ними уходят и семьи, тянутся бесконечные обозы, не хотят старики, ребята и женщины-мученицы оставаться на казацкий произвол.

Подходят красные отряды под самый Новороссийск, но здесь и турки и немцы — дорога закрыта. Навалились грудью, сбили с толку врага своим неожиданным натиском, прорвались за город, на широкое шоссе, что идет по морскому побережью. Отступали, а по пути, вдогонку, неприятель прощается стальными гостинцами... И горами, ущельями, узкими тропками, и холодными росными ночами и в солнечный кавказский жар, босые, голодные, измученные, без снарядов и патронов шли они по Черноморскому берегу долгие недели, пока не выбились снова за Туапсе на кубанскую равнину.

С гор то и дело наскакивает неприятель, с моря бьют броненосцы, в пути, на горных перевалах боем встречает Грузинская дивизия,— но все преодолели герои-таманцы, грозными ударами, нечеловеческим терпеньем и выносливостью, пламенным героизмом проложили они себе дорогу через горные хребты Кавказа... Войска разбились на три колонны, и с первой колонной во главе отступавших идет первым командиром Епифан Ковтюх. Вот она и Белореченская. Уж им слышно, что совсем недалеко идет впереди со своею силой Сорокин. Но у Белореченской вражьи войска встречают крепким ударом... И этот удар превозмогли таманцы, пробились, соединились с главными красными силами... Но некогда было радоваться

встрече, некогда отдыхать — таманцам дана задача — брать Армавир. За Армавиром и Ставрополь... Но удерживать нет сил — красные войска отступают в астраханские пески...

Это был мучительный, долгий путь, он изнурил вконец замученную армию, тиф без жалости выкосил ряды бойцов, и по пути отступления одна за другою все росли и росли курганами широкие братские могилы...

Отступал и Ковтюх со своими таманцами. И сам заболел тифом — больной поехал в Москву. Здесь он не дает покою Реввоенсовету, говорит, убеждает, что надо создать особую Таманскую армию. Ему дают это право,— едет Ковтюх в Саратовскую губернию и в городе Вольске основывает штаб — это 48-я дивизия. Сюда со всех сторон начали стекаться таманцы. Набралось четыре тысячи. А полки таманские, разбросанные по другим дивизиям, командиры не отпускали, и никакие хлопоты, никакая настойчивость не могли здесь помочь Ковтюху. Он скоро получает задачу идти на Царицын, там вливает свои части в 50-ю дивизию и становится во главе этой дивизии. Там, под Царицыном, были жаркие дела, но победа осталась за красными полками...

Через Царицын дальше — на Тихорецкую, снова на родную Кубань, и бьются таманцы до тех пор, пока не освобожден Краснодар, пока не сдаются в Сочи последние шестьдесят тысяч белой армии генерала Морозова... Кубань свободна. На Кубани — советская власть.

Не поладил Ковтюх с командованием — уехал в Москву, а Москва пустила на отдых. Отдыхать поехал на Кубань, да не тут-то было: Врангель высадил на Азовском побережье десант, и быстро пошли белые войска по взбудораженным станицам, подошли на сорок верст к Краснодару.

В это время во главе IX Кубанской армии стоял уже славный, широко известный командир тов. Левандовский. Он встретил сердечно Ковтюха, назначил его комендантом Краснодарского укрепленного района: какой тут отдых, такие ли дни!

...Решили послать в глубокий неприятельский тыл, на судах, наш красный десант.

Командиром десанта назначили Ковтюха, меня — комиссаром. И ночью поплыли снаряженные суда в туманную даль, на рискованное дело.

Никто не знал — куда, зачем мы едем. Только знали вдвоем с Ковтюхом.

Надо было сохранить глубокую тайну, иначе предупрежденный враг уложит нас огнем из прибрежных камышей. Плыли до Славянской. Здесь прибавили бойцов — всего набралось теперь тысячи полторы. До Славянской шестьдесят верст, а там, до Гривенской, где вражий стан,— примерно столько же. Поздним вечером тронули из Славянской. Берегами шли наши конные разъезды — их разослал предусмотрительный Ковтюх. И недаром: за ночь сняли они не один неприятельский дозор. В предрассветном густом тумане подплывали суда к берегам, отряд выскочил живо на широкую поляну, согнали коней, сволокли орудия. Отсюда до Гривенской всего две версты, но спит мертвым сном неприятельский штаб, никак он не ждет, не думает, что вырастет вот перед ним грозная, неожиданная опасность...

Пошли цепями. Ударили орудия, сорвалась кавалерия, «ура-ура!» загремели цепи...

Неприятель в панике — ему не сдержать нашего крепкого удара... В налете кавалерии участвует и сам Ковтюх. Он и здесь и там, он на коне мелькает из одного конца в другой. Повели к пароходам пленных... Расстреливали за околицей офицеров — кому их тут хранить, когда через минуту, быть может, сами будем сбиты... В деле все — до последнего бойца. С площади поднялся неприятельский аэроплан, полетел к своим на позицию — предупредить скорей, что с тылу идут красные отряды, что надо скорей отступать... И белые отступали, а за ними гнались, били вдогонку главные силы Красной кубанской армии, снявшиеся с места.

Отступая, офицеры и курсанты ударили на красный десант и чуть не согнали к берегу, не утопили в реке. Но молодцы-пулеметчики и огонь артиллерии

взяли свое: они белые цепи громили и косили под самыми камышовыми зарослями. И наложили рядами офицерские тела — в смешных побрякушках, в блестках, в многоцветных погонах, в лакированных светлых сапожках, изящных френчах, оттопыренных франтовских галифе...

Натиск был сбит... Над станицей рвалась шрапнель, которую посылали батареи наших главных подошедших сил... Ночью, в зареве пожара, под вой канонады — последняя атака, и белые опрометью мчатся к берегам Азовского моря... Рано поутру нагрузили отбитые броневики, пулеметы, снаряды — все, что досталось от бежавшего врага,— поплыли обратно в Краснодар.

Свое дело сделали: удар нанесен был в самое сердце.

Прислали приказом благодарность геройскому десанту.

Ковтюх ухмыляется, радостный, шевелит широкими рыжими усами...

Кончилась боевая страда. Притихли бури гражданской войны. Обуяла Ковтюха нестерпимая охота ученья. Отпустили в Военную академию — и вот три года грызет он жадно гранит военной науки. И здесь — как там, в бою — мучительно, трудно пробивает путь, настойчиво рвется вперед, выходит твердой поступью на светлую широкую дорогу.

Москва, 5 июня 1923 г.

В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

I. Город

Кубань. Краснодар. Рабочий квартал Дубинка. Серые гнилые заборы, хилые сплюснутые избушки, узкие улицы-переулки затянуты в частую тонкую сеть весенних туманов. В пустом скучающем небе — тошное, тихо-вялое ожидание солнечных дней. Тихо, пусто в улицах. Тихо, пусто в переулках. Жалостным блеском сквозь мутные стекла умирают ночники. От ночников на стеклах — сутулые, вялые, недоспанные тени. Чуть мережит раннее утро — первый тихий шаг долгого дня. Закачалась на колодец с коромыслом на плечах столетняя старуха. Вышел рабочий за ворота — курит сочно и медленно дымную цигарку махры. Пыхнули над крышами белые дымки: хозяйки становились у печей. Пробуждалась Дубинка к трудовому дню.

На заборе торчит коряво мокрая, насвежо приклеенная листовка:

> *Товарищи!*
>
> Вас уверяют, будто Красная Армия терпит кругом пораженья; будто советской власти нет ни на Дону, ни на Украине, что скоро падет она и в Москве Вас уверяют, что кубанцы против

большевиков, против Красной Армии, против советской власти.

Кто кубанцы? Ясное дело, что тузы наши, казаки — толстосумы, заводчики, попы, жандармы; ясное дело, что все они против власти рабочих и крестьян, против советской власти. Они знают хорошо, что советская власть отымет у них награбленное добро, передаст его в руки самим трудящимся, как это сделала она у себя в Центральной России. Потому и не хотят они советской власти, потому и боятся большевиков, потому дрожат перед грозными полками Красной Армии, что идут сюда от Ростова.

Да, товарищи, от Ростова на выручку в помощь к нам идут красные полки! Они уж близко. Скоро будут здесь. Они несут на штыках своих освобожденье трудовой Кубани, смерть подлецам и насильникам, укрывшимся теперь за спину Кубанской рады.

Будем готовы к бою! Хватайтесь за оружие, товарищи! Точите ножи на палачей. По первому зову подымемся всей трудовой Кубанью в помощь красным полкам. Близок час расплаты с врагом! Близок час освобожденья родного края! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует советская власть!!!

Кучки рабочих толклись у заборов, читали.

— Эге, брат: от Тимошевки, видно, будет, через Минскую — вот она где главная-то сила идет...

— Почем знать, може: и не тут...

— А где ин. Тутта она и есть...

Говоривший наклонился, прошептал скороговоркой в приподнятый глухой ворот:

— В Тимошевке одне отряды... Сила по ветке идет, на Энем... с Новороссийска...

— Где с Новороссийска — что льешь?

— Морем свезли, говорят...

— Вот те и морем: солон больно...

— Товарищи — рассказывали вчера — с Тихорец-

кой будто тридцать девятая дивизия вся с красными идет...

— О... о... Дивизия?

— Вся дивизия: пулеметы, артиллерия — честь честью, все как надо... А солдаты зараз: долой, говорят, офицеров — сволочь такая! Все за советскую власть постоим! И как есть свои везде советы солдатские по полкам наладили: сами, говорят, всю дивизию в бой поведем, не надо никакех нам поставленных офицеров...

— А чего глядеть: давно б надо... недаром, чай, тут прописано.

Все обернулись к листовке и стали было читать, как вдруг где-то поблизости взвизгнул резко сигнальный, пронзительный свист. Рабочие кинулись врассыпную, мчались опрометью прочь, заскакивали с маху через низкие заборы, кидались по переулкам, скрывались в приотворенные ближние калитки чужих дворов...

В ту же минуту вырвался из-за угла казачий разъезд; он слепо скакал как раз на то место, где только что стояла толпа рабочих. Улица сразу стихла, будто вымерла. Только топот конских копыт да казацкая резкая брань словно плетью секли тишину. Два всадника круто повернули у забора, соскочили с коней и сорвали листовку. Где-то поблизости взвизгнул неистово дикий голос, взвизгнул и смолк. Через дорогу побежала растрепанная бледная женщина, прямо на нее скакал кудластый рыжий казак и, как только настиг, ахнул с размаху тугой плетью — мимо головы, по спине. Мгновенье — животный вскрик, и, испуганная насмерть, скрылась она в ворота, а кудластый всадник промчал мимо.

Как злые духи, взад и вперед метались по улицам, переулкам казаки, соскакивали и срывали ночные листовки, запихивали их наскоро в пазухи, летели дальше.

Так на Дубинке читались прокламации.

Главная улица Краснодара — Красная. По Красной все учреждения. На Красной живет вся знать. С Дубинки, Покровки, с окраин не любят заглядывать сюда рабочие: что им делать на Красной? И не

понять, для кого развешены эти приказы, расклеены на стенах «по-большевицки» газеты? Кого они уговаривают?

«Последние известия! Последние известия!
Решительная победа над большевиками!

На путях к Ростову красные банды, объединенные в дивизию, вздумали напасть на славные Н и Н и Н полки Добровольческой армии — на те самые полки, что известны по всей Кубани своим героизмом, непоколебимой стойкостью... К нашим полкам присоединилось двенадцать добровольческих отрядов, в которые за одну ночь ушло почти поголовно все населенье ближних станиц... Красные банды были окружены и напрасно пытались спастись из железного кольца — были все уничтожены до последнего человека, прорвалась к своим лишь незначительная горстка. Захвачено в плен немного — большинство побито во время боя. Огромные военные трофеи пошли на укомплектование наших частей... Изо всех концов, где только побывала Красная Армия, несется горький вопль, плач населения: там везде наставили большевики виселиц и терзают беспощадно и расстреливают ни за что мирное население, причем мужчин загоняют силою в свои шайки, а девушек и женщин берут общественными женами, то есть такими женами, которые сразу принадлежат всей шайке. Это у них называется коммуна. Вот чего хотят большевики!

Свободные кубанцы, честные граждане! Задумайтесь надо всем этим и помните, что за собою приносит повсюду большевицкая Красная Армия.

Кубанская рада, ваш верный страж и защитник, ваш правительственный орган, который избрали вы так единодушно,— Рада снова и снова призывает вас, верные сыны Кубани, хранить спокойствие в эти трудные дни, сомкнуться вокруг своего правительства, не поддаваться панике

и подлым слухам, которые сеют повсюду наши тайные враги. Четверо таковых вчера были пойманы и ночью же расстреляны.

Граждане кубанцы! Все, кто искренне и честно любит свою страну, свое многострадальное отечество,— все вы будьте в эти ответственные дни на поддержке правительству, боритесь все с темными, вражескими элементами, хватайте всех, сеющих среди вас мятежные слухи, и передавайте их в руки властей!

Да здравствует Добровольческая армия!

Да здравствует Кубанская рада!»

И статьи, и приказы, и речи громовые кубанских властителей — все построено было в этом духе. Начиналось победами, а кончалось мольбами и страхами. Читали и недоумевали даже самые вислоухие, туголобые:

— Как это так, кругом одни наши победы — успехи, а тут вдруг: «Кубань в опасности», «берегитесь», «будьте на страже»?

— Э... э... тут что-то не так, писать-то, знать, пишут нам, да не все!

По городу бродили, и скакали, и ползали слухи — туманные, путаные, противоречивые: один цеплялся за другой, один за другой прятался, выглядывал из-за него лукаво, а потом ловко и вдруг, вовсе внезапно, кувыркал через себя, взвизгивая, несся дальше, пока не кувыркнет его, в свою очередь, новый, такой же вздорный, торопливый слух. Так, наскакивая, переплетаясь, прячась, один за другой, один другому противореча, метались по городу, ускакивали по станицам, по всей Кубани вздорные слухи.

Город нервничал. Тщетно старался он быть и казаться спокойным: нервная дрожь выдавала глубокую внутреннюю тревогу. Он запутался в своих собственных тенетах. Он изолгался, как мелкий последний лгунишка. Ждал откуда-то помощи и не знал: будет ли она и откуда? Метался в лихорадке и верил — не верил, что придет избавленье...

События надвигались грозно, неумолимо. Напряга-

лась Кубань в ожиданье решающих дней. Вот он — уж слышен чуткому слуху тяжелый топот красных батальонов!

С севера, через свободный Дон, по станицам, от моря, по веткам железной дороги, со всех концов идут, сжимают, близятся они, эти сонмища неведомых людей, распаляя всюду костры восстания, подымая за собою новые, все новые и новые толпы людские... Это идет к Кубани новая жизнь... Она раздавит железною пятой вот этот самый оробевший, перепуганный, лихорадочный мирок. Она верной рукой возведет свои леса и будет строить на них иное, доселе не виданное.

Сердце кубанское, Краснодар, острая тревога колотила в лихорадке.

На Штабной, недалеко от центра города, жила семья Кудрявцевых — мелкая чиновничья семья. Старик отец лет пятнадцать назад приехал сюда откуда-то из глуши Тамбовской губернии, приехал сначала один в поисках «удовлетворительных мест», как он выражался, а потом, устроившись, перетащил и всю семью: Анну Евлампьевну — свою «старуху», Павлушу и Надю — двоих ребятишек, тогда еще совсем малышей: Наде было четыре, Павлуше — девять лет. Теперь Надя училась в последнем классе гимназии, выросла выше отца — худая, тонкая, русоголовая, с серыми умными глазами, тихой речью. Павел же, питерский студент, двадцатипятилетний «дядя», был тучен, обрюзг не по годам, полысел, прочернел, развинтился вконец. Учение впрок ему не шло. В Питере он шатался больше по пивнушкам и бильярдным, пропивал и проигрывал все, что зарабатывал случайными уроками или получал от отца... Знакомые про него обычно отзывались одним только словом: «никудышный». Так его и знали как никудышного, серьезно с ним нигде не считались, уважать не уважали, но и зла против него не имели. Павел был, что называется, «мешок с соломой»: прост, незлобив, добродушен и глуповат не по возрасту.

Сам старик, Петр Ильич, вот уж десять лет как сидит в канцелярии женской гимназии — целый день в

густом табачном дыму, в грохоте и звоне молодых девичьих голосов. Сидит, как сыч, угрюмо и насупленно, за своим широким клеенчатым столом, обложенный ворохами книг и бумаг, дает разные справки, записывает разные дела, помаленьку и втихомолку, склоняя лысину и глядя поверх очков, сплетничает с соседями-сослуживцами... А приходя домой, снимает черный со светлыми пуговицами служебный сюртук, облекается в какой-то неопределенного цвета лапсердак, разваливается с газетой в кресле и через каждые три минуты приговаривает, разводя руками:

— Это невозможно, это невозможно!..

— Чего там? — спросит недоуменно Анна Евлампьевна.

— Да что,— махнет рукой старик,— говорил я, что прах один...

И начинает он своей старухе пояснять что-то совершенно отвлеченное, чего та и не понимает, да и не слушает, уходя от разговоров то и дело на кухню... Воротится, а он опять, а он опять, пока не придет кто-нибудь из знакомых, не оборвет философствующего старика. И уже через пару минут, после обычных приветствий и вопросов, Петр Ильич кидается на нового, трижды несчастного, собеседника, удушая нескончаемыми разговорами. Мысли у него путаные, неясные, говорит он о чем угодно и по каждому вопросу с одинаковым апломбом... Схватывались прежде с ним поспорить по детскому неведенью и любопытству и Надя с Павлом, но вот уже два-три года как пропал для них аромат отцовских философствований, и, не видя больше в них никакого толку, они обычно отмалчивались, занимаясь чем угодно, только не «деловою» с ним беседой. Впрочем, это нисколько не мешало им уважать, по-своему даже любить старика и обращаться с ним просто, по-приятельски.

В семье Кудрявцевых была та простецкая, хорошая атмосфера, где не чувствуется ни малейшего гнета, никакого проявления родительского режима, где каждый приходящий через десять минут начинает себя чувствовать «своим» и уходит отсюда полный какой-то умиротворенности, спокойствия. Даже трудно было бы объ-

яснить, отчего это так выходило. Сам старик в конце концов был надоедлив и тошен своими разговорами, расспросами, рассказами, пояснениями, вообще своей назойливостью. Правда, с ним и не очень-то церемонились — со второй же беседы приучались не отвечать ему по крайней мере на три четверти вопросов, и это его, видимо, нисколько не обижало — старик перекидывался на Анну Евлампьевну, а та уж всегда умела свести с ним счеты...

Анна Евлампьевна была добродушнейшая, невиннейшая женщина, вся жизнь которой сосредоточивалась в любви и заботах о детях, в хлопотах по хозяйству... Она только по долгу да по привычке состязалась в разговорах с Петром Ильичом, а по существу ничего не понимала в его разглагольствованиях о раде, о советской власти, большевиках, гражданской войне... Петр Ильич при ней говорил все равно что в воздух — и потому особенно любил говорить именно с ней: тут уж не встретишь никаких протестов, никаких возражений, тут все, что ни скажи,— ладно и хорошо...

Павел Петрович в доме как бы вовсе не чувствовался: разговаривал мало и вяло, пыхтел неотрывно папироску, что-нибудь шевелил и перекладывал с места на место, много и часто ел, пил, иногда читал, но мало; основательно и охотно засыпал, по преимуществу одетый, уткнувшись на диванчике...

Душой семьи была, несомненно, Надя. Не по годам серьезная и умная, она очень много читала, всем интересовалась, очень чутко относилась и к событиям общественной жизни, но как раз именно в этой области ей многое не давалось, было вовсе непонятно, и этого непонятного никто не мог объяснить. Она, например, не могла понять того, как и отчего существуют столь непримиримые отношения между коренными казаками-кубанцами и большинством приезжего населения; отчего теперь по отделам то атаманы заправляют, то советы и отчего именно приезжие, «иногородние», больше льнут к советам, а казаки от них отшатываются, восстают, борются против них? Даже у себя в гимназии она замечала между подругами какую-то разноголо-

сицу и в отношениях начальства гимназического чувствовала эту самую неодинаковость внимания к тем и другим. Пыталась она говорить и с отцом и с Павлом, но толку никакого не вышло: отец понес ахинею, а Павел отмалчивался, пробормотал что-то невнятное и от разговора уклонился. Так, в неведении, горя охотой все понять и все узнать, не находила Надя верного, желанного пути, не встречала желанного человека, не знала, как и что ответить себе на возникавшие тревожившие ее вопросы.

II. На Дубинке

На Дубинке, в доме Гущина, вот уже четыре года живет рабочий с завода «Кубаноль», Степан Петрович Караев. У Караева семьи нет: пятый год пошел, как схоронил он чахоточную жену, и с тех пор один, бобыль бобылем. Занимает он крошечную комнатку во флигеле, кроме завода нигде не бывает, а по вечера́м до поздней ночи в тусклом его окошечке светит лампа: Степан Петрович большой охотник до книг. Его на заводе недаром прозвали «учителем». Справку ли надо какую получить, объяснить ли что, узнать,— всегда обращаются к нему. И на все вопросы отвечает этот удивительный грамотей «учитель». К нему товарищи относятся с уважением, хоть и не прочь иной раз подтрунить над книжной караевской ученостью:

— А скажи ты, учитель, почему это у человека пять пальцев на руке, а не восемь? Ладнее, кажись, было б работать-то?

— Значит, не ладнее, коли пять,— отвечает Караев серьезно, будто и не поняв вовсе шутки.

— Ну, а все-таки, как же это по книге у тебя там выходит?

— По книге никак не выходит... А вот болтаешь ты, Карась, и сам не ведаешь, чего болтаешь,— урезонит Караев.— Как удобнее, так оно и складывается, а что неудобно в жизни, то навсегда пропадет... Может, и было когда восемь, да не к делу оказались, и оста-

лось тебе, сердешному, только пять... А что те больше хочется — хватит и этих на чужое-то рыло работать...

И Степан Петрович всегда от шутки так повернет разговор, что у собеседника враз отпадет охота шутить, а вместо шуток складываются невольно какие-то другие речи, родятся какие-то другие мысли, которые и близки и понятны, про которые надо и думать и говорить, говорить...

Угреватое желтое лицо Караева на первый взгляд кажется сухим и неприветливым, но это только на первый взгляд. А разговорись с ним — и добрые карие глаза засветятся внутренней теплой лаской, и слова его, такие простые и всегда нужные, завлекут тебя, затянут, заставят слушать, отвечать, спрашивать...

Сегодня Караев весь день как-то особенно серьезен и молчалив: на работу пришел позже обычного, ушел тоже раньше всех — это с ним случается редко. В комнатке у него прибрано, вещи уложены, словно ехать куда собирается, и все ходит он, ходит — перекладывает их с места на место. Рядом с комнатой, где он живет, находится небольшой чулан, и там все прибрано, а на стене подвешена жестяная маленькая лампочка. Взялся за книгу, почитал немного, мысли не те,— оставил. Отбросив верхнюю занавеску, вытянул с печки небольшой медный самоварчик, начал возиться с углями. Потом сидел за чаем и тихо, медленно высасывал стакан за стаканом... Выходил в сени, выходил и на двор, за ворота. Снова усаживался к столу и все ждал — ждал чего-то напряженно...

Спустились сумерки, в комнате стало совсем темно, но огня Караев не зажигал... Где-то поблизости в железную крышу дома вдруг ударились один за другим два брошенных камня. Караев встал и вышел за калитку — там с противоположной стороны быстро перескочили к нему две тени:

— Спокойно?

— Спокойно все... Налево... Не ткнитесь — приступки тут. А где же ящик, у Климова?

— Да,— ответил кто-то второпях,— не закрывай, они вслед за нами.

Через минуту от палисадника отделились еще две фигуры,— в руках у них чернело что-то массивное... Караев быстро выскользнул им навстречу, подхватил ящик спереди, и так, втроем, втащили его через калитку прямо в чулан. Зажгли лампочку, прикрыли ее тряпкой, начали распаковывать. Остальные прошли в комнату, осмотрелись, пощупали стены, тихонько постучали здесь и там, заглядывали во двор, приподнимая занавеску: темная темь, ничего не видать!

Это на новую конспиративную квартиру пожаловали к Караеву подпольщики-большевики. Притащили с собой шрифт, краску, станок, бумагу,— сегодня надо было готовить воззвание. Двое, что прошли в комнату, видимо, очень торопились, три раза приходили в чулан, понукали товарищей заканчивать:

— Потом разберется... Успеете... Ну, айда, айда, поживее...

Вошли. Сняли шапки и широкополые шляпы; один — высокий, стройный, черноволосый, с черной курчавой бородой, вдруг сдернул парик и оказался совсем молодым человеком лет двадцати, двадцати двух. Это — Виктор Климов. В черных серьезных глазах еще дрожали быстрые огоньки беспокойства. Матовое лицо передергивалось нервной рябью. Другой — среднего роста, Степан Пащук, отклеил рыжие тараканьи усики и с улыбкой положил их перед собой на столе. Степану было лет тридцать: плотный, коренастый, с высокой грудью, с быстрыми черными огнистыми глазами; движенья порывисты и нервны, голос глухой, надорванный.

И Климов и Пащук тотчас разделись, побросав на пол шапки и обтрепанные пальтишки. Те двое, что вошли первыми, сидели за столом не раздеваясь, шляп не сняли: видно, что торопились уходить. Одному можно было дать лет двадцать пять — тонкоусому, с небольшой русой бородкой; другому — лет сорок; этот не наклеил ни усов, ни бороды, только низко опустил на морщинистое лицо широкополую старую шляпу — Кирилл Паценко, урожденный кубанский казак, недели три назад приехавший из Акатуя, где пробыл без малого четыре года. Сосед его — тоже из ссыльных, Тарас

Бондарчук, последнее время почти безвыездно работал в Армавире и только накануне приехал в Краснодар.

— Ну, вот что, ребята,— сказал Паценко. И голос его прозвучал серьезно и внушительно. Видно было, что он здесь главный.— Мы наскоро обсудим теперь же, а вы обработаете сами... Лиза говорила, что из штаба получены какие-то новые сведения, и мы с Тарасом сейчас уйдем.

— Кто дал? — спросил Климов.

— Опять Владимир...

— Ловко приладился, молодчага,— уронил одобрительно Пащук.

«Владимир» — это была кличка одного из товарищей, устроившегося писарем в штабе генерала Покровского и передававшего изо дня в день в подпольную организацию все необходимые материалы.

— Так вот,— продолжал Паценко, опустив голову и не глядя ни на кого,— мы с Тарасом пойдем... Приехали там еще из Новороссийска — ждут... Надо все разузнать и сообщить им свои новости... Лиза говорила — какие-то перемены...

— Где? — спросил Бондарчук.

— В раде... Она будто раскалывается: одни уходят, другие хотят бороться до последнего в городе и города не сдавать...

— А Покровский? — спросил снова Бондарчук.

— Первый, сволочь, убежит,— вставил Климов и улыбнулся, широко обнажая здоровенные кряжистые зубы.

— Убежит-то убежит,— вслух рассуждал Бондарчук,— а вон что вытворяет; насчет Казанки все верно: четыре виселицы... и двенадцать человек в овраге.

— Вот это и надо вклеить,— ткнул пальцем в стол Паценко и взглянул на Климова, как будто указывая ему место, куда именно следует что-то «вклеить».— Даже на этом и построим. Как думаешь? — обернулся он к Пащуку.

— Чего ж, отлично,— соглашался тот, похлопывая тихо себя по коленям.— Только я думаю, что два разных придется писать: одно про раду, другое про Казанку...

— Да где уж, не успеем,— запротестовал было Тарас.

— Молчи, Тарас, молчи,— перебил его Пащук,— раз говорю, значит, сделаем... с Климом... Вдвоем, да не сделать,— на что мы и годны после этого?..

— А ну-ка, давайте скорей,— быстрым шепотком торопил Паценко. Ему не терпелось, сообщение Лизы не давало покоя.

Караев молча сидел на самом конце лавки и в разговор не вступал, только переводил с одного лица на другое темные грустные глаза.

— Степан, ты, значит, с собой захватишь половину? — обратился к нему Паценко и мотнул головой в сторону Клима.

— Возьму...

— Да не всыпься, дядя...

— А всыплюсь, отрыть можно,— отшутился тот без улыбки на спокойном лице.

— То-то, отроют... Не всегда, брат, удается... Так вот что,— обернулся он снова к Пащуку,— не лучше ли будет, чтоб ты пока один тут кой-чего набросал, а мы поговорим о другом, понимаешь? Мысли только главные... а все остальное вы там вдвоем с Климовым...

— Идет.

И Пащук достал бумагу, перед собой положил карандаш, отодвинулся на другой угол стола, потер ладонью морщинистый лоб и так, с поднятой головой, закрыв глаза, сидел с минуту. Потом схватил карандаш и быстро-быстро стал записывать. Тем временем Паценко, Климов и Тарас, наклонившись друг к другу, разговаривали тихо, чтобы не мешать Пащуку.

— Ты, Степан Петрович, тоже придвигайся,— обратился к Караеву Паценко.

Тот молча сел рядом на полу, вывернул колена и, широко охватив их руками, застыл без движения.

— Мне кажется, надо будет ехать в Новороссийск,— сообщил товарищам Паценко.— Они там что-то надумали... Надо быть, на этих же днях и подымутся... Все полотном не пойдут,— часть ударит к Тимошевке, а другая здесь, от Крымской...

— Он, сукин сын, почуял, видно, что дело неладно,— мотнул рукой Бондарчук, и было понятно, что речь идет о Покровском.

— А что?

— Да очень уж газеты жалобны стали: «Братья казаки... дорогие защитники свободы»... Соловьем разливается, подлец, а нет-нет, да и сболтнет: Кубань-де в опасности, гроза, мол, не миновала...

— И по заборам тоже,— добавил Климов.— Вчера одного из буковских, рабочего, на Сенном избили...

— На Сенном?..

— Заметили, с забора сдирал... листовку какую-то, а тут из окна капитан увидал, выскочил в одной рубашке, подтяжками по воздуху трясет, орет, бежит на него... Ну, солдаты баню дали, говорят, здоровую...

— Сдирают ловко,— добавил Бондарчук.

— А то нет? К вечеру везде облупят... Я гляжу, наши-то,— сказал Климов,— едва ли не дольше висят?

— А вы, ребята, вот что,— перебил Паценко,— в центр лезть не стоит, чего тут... Дело делом, а зарываться все-таки не годится, да и толку, по-моему, тут нет никакого... Кому развешивать? Надо все-таки знать, что сила наша по краям,— вот уж тут клей где попало, а в центре — в центре совсем даже советую бросить...

— У Буковского сколько работают?

— То есть по заборам? — спросил Климов.

— Да...

— Расклеивают четверо, а раздают по рукам, я уж, право, и не помню; во всяком случае, там хорошо...

— У Саломаса?

— Там Пархоменко, а кто у него... Да, кто у него, ты не знаешь, Степан Петрович? — обратился Климов к неподвижно сидевшему Караеву.

Тот вскинул глазами, помолчал и чуть слышно ответил:

— Шестеро...

— А у тебя?

— У меня тоже шестеро, кроме самого... я мальчишек еще двоих приладил.

— Да, мальчишек хорошо, только осторожней надо,— серьезно сказал Паценко.— Вот что насчет мальчишек,— я как раз и насчет этого хотел сказать. У нас тут с молодежью, с учащейся, нет ничего,— никак не связаны, а надо бы связаться, да теперь же... Если работы не будет, через них хоть узнавать что-нибудь.

— Э, брось ты, Паценко,— запротестовал Бондарчук,— до того ли? Ну, на кой они черт, эти казацкие дочки, какой тут толк? По-моему, и сил отрывать не стоит, одна чепуха...

— Пожалуй...— промычал согласно и Климов.

— А я думаю, наоборот,— нисколько не меняя тона, продолжал Паценко.— Как можно этаким образом рассуждать?.. Мало ли что мы думаем? А ну как и на этот раз неудача, да как останется тут все, ну хоть полгода, что ли... Значит, опять не трогать? Нет, нет, нет, ребята... Я не согласен. По-моему, сейчас же... Что будет, то будет, а предвидеть всегда нужно худшее...

— Чепуха, — горячо перебил Бондарчук.— Не надо... Совсем чепуха... Ты гляди,— обратился он к Климову, почувствовав в нем единомышленника.— Надо ведь дать кого-нибудь дельного, не так ли?

— Ясно,— подкрепил Паценко.

— Ну, вот тебе и ясно... Надо дельного, потому что все-таки ученая вся тут компания... И язык надо круглый, и с головой, а где они, ученые-то, кого ты дашь?

— Да что ты, братец, гремишь впустую,— тихо успокаивал Паценко,— а ты не ядрися, какого черта?.. Потом мы же ничего еще и не решили, только говорим... А я думаю, надо будет и его потревожить,— указал он пальцем на Пащука.— Эй, Сократ Пантелеич, заканчивай... Голос нужен.

Пащук приподнял от бумаги голову и посмотрел совершенно рассеянно,— он ничего не слыхал из того, о чем спорили товарищи; он мастерски умел приспособляться к работе в любой обстановке и мог под шум, под крики составлять самые дельные статьи и заметки, будто все мысли и даже фразы были у него

давно готовы и теперь он их только механически заносил на бумагу.

— Ты скоро ли кончишь?

— Кончаю вторую... А что я?..

— Да нужен бы к разговору. Ну, кончай, кончай, только поскорее, кстати, нам и идти пора бы,— взглянул он на часы и почесал затылок под шляпой, поддав ее еще ниже на нос.

Через две минуты Пащук окончил работу.

— А курнуть бы, а? — обратился он неопределенно, не глядя ни на кого.

Степан Петрович достал кисет. Стал вертеть из газетных обрывков здоровенные, толстые цигарки.

— Я вот что, Пащук,— обратился к нему Паценко,— я говорю — с молодежью тут пора бы побудоражить, потому что...

— А кто ж тебе не говорит? — прервал его Пащук.

Он иногда выражался странно, и это было всегда в те минуты, когда голова все еще полна была неотлетевшими мыслями, а слова выскакивали сами собою.

— Да ты понимаешь ли, что я говорю? — улыбнулся Паценко.

— Ну да, насчет молодежи...

И Паценко рассказал ему коротко, в чем дело. Пащук горячо встал на его сторону. Климов сначала колебался, а потом согласился и сам.

— Во всяком случае хуже не будет,— решил он вслух.

Один Бондарчук упорно стоял на своем и отрицал в этой работе всякий смысл, твердя все об одном:

— Сил и так нет, а вы и ее губить хотите, останную силу.

— Лучше всего, Климов, знаешь ли, тебе бы взяться самому,— сказал Паценко.

— А как же?..— посмотрел на него вопросительно Климов и мотнул головой в сторону чуланчика, намекая на то, как же, дескать, типография.

— А Пащук с ней... И Лизу можно... Она уж малость работала... Обвыкнет... Ты как сам-то?

— Я что, я ничего... Только слажу ли?..

— Сладишь, Витя, сладишь, в тебе ладу много,—

похлопал его по плечу Пащук и густо пахнул махорочной струей.

Решили Виктора отрядить на работу с молодежью.

— Читать, что ли? — развернул Пащук исписанные бумажки.— Тут в самых что ни на есть кратких словах...

— Вали,— согласился Паценко.

Бондарчук сидел угрюмый и насупленный. Орехово-зуевский ткач, сын ткача, потомственный пролетарий, он с большим недоверием смотрел на всякие затеи в нерабочей среде, ни на грош не верил интеллигентам и уважал из них только немногих, которые все время были с ними вместе, которых изо дня в день он мог проверять на непосредственной работе. Поэтому не верил он и теперь, что с «девчонками» выйдет какой-нибудь толк.

— Придется, Витенька, во все тяжкие пускаться,— продолжал Пащук,— и вальсом кружить, и слова ласковые...

Климов молчал, улыбался, забористо тянул цигарку.

— Пащук, Пащук, к делу,— торопил его Паценко.

— Только покороче, знаешь ли, одну середку...

— Идет...

И пункт за пунктом передал Пащук содержание двух предполагавшихся листовок. В одной клеймилась предательская, фальшивая деятельность рады, указывалось, как она, прикрываясь красивыми лозунгами, идет покорно на поводу у монархиста Покровского и выполняет, по существу, самое черное, грязное дело... Говорилось о том, что представители станичников в раде околпачены, что наиболее сознательные из них уже поняли это и из рады бегут, что красные войска подступают к самому Краснодару и надо помочь им освободить Кубань от генеральского гнета, но не с радой, а против рады, потому что... и т. д. и т. д.

В другой листовке красочными, сочными мазками набросал Пащук картину издевательства и зверств, учиняемых офицерьем по запуганным, немым станицам... И как пример, приводил недавний расстрел в Казанке и поставленные там четыре виселицы.

«Кубанцы! Трудовые казаки! Рабочие и крестьяне! Поймите этот кровавый ужас, поймите, к чему приведет вас эта жестокая расправа царского генерала»,— заканчивал Пащук вторую листовку и звал на восстание, звал объединиться с наступающими красными войсками, быть им подмогой.

Поговорили недолго. Обработать листовки поручили ему вместе с Климовым. Паценко с Тарасом скоро ушли. Степан Петрович проводил их до калитки, отодвинул бесшумно засов, вышел первый, осмотрелся вокруг и, когда уверился, что нет никого, пропустил их мимо себя, пожимая руки...

Добрый час Пащук с Виктором писали и переписывали, а когда закончили, возились в чулане при свете тусклой лампочки, чуть разбирая мелкие свинцовые куколки шрифта, перекладывая их с пальца на палец, бережно и плотно приставляя друг к другу, словно лепили холодные и гладкие соты... Когда набран был весь текст, уложили заверстанные полосы на ящик, плотно сомкнули, накатали накрашенным валиком, притиснули первый лист... Тиснули второй, третий... Разделили полосы пополам — проверяли, отмечая на полях, потом снова брали крошечные буковки, одни вытаскивали, другие вставляли и, когда весь текст был начисто проверен и исправлен, поочередно начали тискать листок за листком... Степан Петрович тем временем сготовил самовар, наломал большими кусками хлеб в тарелку, пришел за ребятами в чуланчик:

— Идите-ка заправиться... Ишь носы раскрасили...

— А ты, Степан Петрович, сменой будешь. Ну же, подходи,— командовал ему Пащук.— Вот так, теперь намажешь... Кладешь, ну, нажимай...— И он обучал Караева новому ремеслу.

Уж давно прокричали петухи...

Бледнело глубокое темно-синее небо, откуда-то издалека глухо гудел гудок. Просыпались утренние шорохи и вздохи... Комната посерела... В тонкие щели чуланчика заползали рассветные бледные полосы...

А они втроем все крутились около станка. Тут же чавкали хлеб, прихлебывали из стаканов остывающий чай.

Наутро листовки были готовы...

III. Бал

Сегодня у Нади много хлопот. Она весь день занята приготовлениями к концерту. Концерт устраивается в пользу раненых солдат добровольческой армии. Начальница той гимназии, где должен состояться концерт-бал, отобрала группу учениц и поручила им все заботы, а сама то и дело ездила в штаб, тоже хлопотала, сносилась с разными высокими чинами — жаждала блеснуть, отличиться, показать себя во всей красе великодушного порыва.

В число избранниц попала и Надя. Она с большой охотой взялась за порученное дело и последнее время занята была до поздних вечеров, собирала, раскладывала, размеривала, тоже металась по разным учреждениям, приглашала артистов, устраивалась с музыкантами, раздобывала разное добро, вместе с подругами перевозила его в отведенный для этого класс и была всецело поглощена своим новым, живым, интересным делом. Ей впервые приходилось исполнять нечто такое, где она перестала чувствовать себя ученицей, где не было обычной суеты над книгами, забот об уроках, ответах, удачах и неудачах, где она чувствовала себя и более взрослой, и более серьезной, и, казалось ей, по-настоящему нужной и полезной!

Анна Евлампьевна только руками разводила:

— И что это ты, На̀дюшка, есть совсем перестала̀, день-деньской шатаешься?

— Ах, мама, ты не представляешь,— щебетала весело Надя,— ты не знаешь, какие будут силы... Всех из театра забрали — самых лучших... Два оркестра духовых, от штаба... Игры, масса игр... И Анна Петровна, начальница, говорила, что все будут принимать

участие, а старший класс останется до конца... Наша группа только готовит бал, а во время бала торговать, разводить, помогать будет другая группа... Мы там свободны. Мы там — э-эх, погоди-ка! — весело щелкнула Надя.

— Ну, так что, что до конца: обедать-то надо все-таки или нет? — сокрушенным голосом возражала Анна Евлампьевна.

— Да что ты: обедать-обедать, вот кухмистерша какая! Мы же и там... Накупили такую массу... Буфет... знаешь, наверху, в третьем классе, как раз над папиной канцелярией. Поваров тоже от штаба, и откуда-то из ресторана. Входных билетов совсем не будет,— только на места... И Анна Петровна говорит, что разобрали... Ничего не осталось... Цены — выше некуда... Сбор, говорят, такой будет — на редкость!..

— И она с вами тут?

— И она... весь день, мамочка, буквально весь день... Ну, не узнаем мы свою Анну Петровну. Такие хлопоты развела — то и знай: а это купили, а это привезли, а это есть, а это есть, а того известили?.. Девчонки говорят — как старшая подруга стала...

— Ишь развеселились,— как бы укоризненно обронила по чьему-то адресу Анна Евлампьевна,— на что веселиться, что хорошего-то затеяли?

— Да что ты, мама... Что ты, право, сегодня какая, шипишь и всем недовольна... Говорю я тебе, что там закусываем. Совсем и не голодна...

— Не голодна,— с трудом, неохотно сдавалась Анна Евлампьевна,— а вон глаза-то совсем провалились...

Надя вдруг повернулась, подошла к зеркалу и стала рассматривать лицо, то щурилась глазами, то широко их раскрывала, морщила губы, постукивала зубами и рассматривала их чеканную, ровную, блестящую цепочку... Гладила шею, поправляла волосы, проводила тихо, мягко по щекам, словно отыскивая, что тут что-то пристало... Даже за нос себя потрогала...

В ней пробудилось за эти последние дни то самое повышенное, возбужденное состояние, которое испытывала она всегда в подобных случаях: Как только вечер,

бал, именины ли у подруги, Надя будто перерождалась в веселую, беззаботную, смеющуюся юницу,— она в этих случаях была просто неузнаваема, и немало дивились подруги, когда Надя звонко, весело хохотала, носилась и прыгала в играх, резвилась, как ребенок, захватывала и увлекала всех своей простодушной, искренней веселостью, охотно и много танцевала, пела в хору. А наутро ее встречали снова серьезную, спокойную, тихую,— будто увлек вчера Надю случайно какой-то дикий шквал, покрутил, повертел и оставил снова погруженную в свои мысли, занятую какими-то своими неизменными, постоянными заботами.

— Скоро, что ли, пойдешь? — спросила Анна Евлампьевна.

— Скоро, мамочка, скоро,— пора собираться... Ты принеси мне, пожалуйста, платье сюда, я пока причешусь... А выгладила, успела?

— Нет, вот тебя стану ждать,— нежно ворчала мать, ковыляя в другую комнату...

Надя собиралась. Скоро зашел за ней Коля Прижанич, гимназист последнего класса, считавшийся Надиной «пассией». У Прижанича с Надей, собственно, не было еще никакой интимности. Но последнее время они действительно встречались часто, много вместе гуляли, много говорили, и эти несколько «бальных» дней Прижанич неотлучно был при Наде и помогал ей хлопотать по устройству концерта. Таких «помощников» в гимназию приходило много. Начальница сначала косилась, даже делала замечания, а потом, войдя в роль «подруги», перестала вмешиваться, и гимназисты валили толпами... Время приготовлений к концерту было началом целого ряда романов в гимназической среде. Что-то в этом роде начиналось и у Прижанича с Надей. Сын богатых родителей, владельцев одного из лучших домов в городе, Прижанич считался «барином» даже в своей товарищеской среде. Одетый с иголочки, обычно надушенный и припудренный, с четким пробором гладко причесанных волос, высокий, стройный юноша, он как-то с первого взгляда отталкивал своим высокомерным видом, горделивою поход-

кой, привычкой обращаться со всеми свысока, глядя всегда через голову того, с кем говорил, словно его собеседника тут и не было вовсе.

Он свободно изъяснялся по-французски и по-немецки, великолепно играл на скрипке, восхитительно танцевал мазурку, был даже изрядно начитан и умел говорить на любую тему. Надя была польщена тем вниманием, с которым относился он к ней за эти последние дни,— он, такой для всех неприступный и гордый! Была не раз взволнована Надя теми странными и обычно так мало понятными разговорами, которые он вел с ней о Толстом, о Шопене, о браке, о боге, о гражданской войне на Кубани... О чем они только не говорили! И по каждому вопросу Прижанич рассыпался одинаково уверенно, обо всем, казалось, имел он твердое, установившееся мнение... Это особенно нравилось Наде,— потому, главным образом, нравилось, что сама-то она этих твердых мнений как раз ни о чем и не имела. Все она знала понемногу, все как будто и понимала, но связать в одно целое, пронизать все свои разрозненные знания каким-нибудь одним ясным мировоззрением — нет, этого она еще не могла, не умела! И потому в Прижаниче видела она человека бесспорно умнее, чем сама она, потому и была польщена, потому и радовалась, торжествовала в душе, что он так явно стремился к ней подойти все ближе и ближе... Когда, уж совсем одетая, она услыхала теперь, что Прижанич зашел, чтобы вместе идти на концерт, Надя радостно вспрыгнула, зарделась, пуще прежнего заторопилась.

Огромный зал гимназии горит в огнях. По стенам — однообразной плотной чередой стоят блестящие глянцевитые стулья; будто нарядные куколки, красуются расцвеченные, увешанные гирляндами киоски, и из них словно многоцветные веселые попугайчики выглядывают милые головки, засыпанные конфетти и серпантином, заколотые ранними цветами, цветными гребенками, булавками, шпильками... В зале не курят,— чисто, высоко, светло, просторно. У дальней

стены приподнялась обитая бархатом эстрада, над эстрадой два огромных портрета — в полном блеске, в орденах и в эполетах, перевитые цветными аксельбантами, увешанные дорогими погремушками. Чинно, одна за другой, проплывают медленно пары, ходят раз, и два, и три, все по кругу, мимо стульев, одна другую внимательно оглядывают, улыбаются,— зал гудит от смеха и от веселых разговоров... По коридорам разместилась молодежь, прилипла на подоконниках, забилась в классы, и здесь ей, видимо, свободней, веселей, чем в залитом огнями, торжественно убранном зале. Тут же, около хорошеньких гимназисток, то и дело вертятся, прихорашиваются, звенят малиновым звоном ловкие, расфранченные, блестящие офицеры. Они снисходительно посматривают на молокососов-гимназистов и реалистов, лишь изредка удостаивая их каким-либо незначительным коротким ответом. А те покуривают в кулак или в полуоткрытую форточку, выставив во все стороны дозоры, неестественно громко и фальшиво смеются, пытаются говорить вразумительным авторитетным баском, чуть покровительственно, чуть-чуть небрежно... Всюду гам, смех, девичьи взвизги, хлопанье в ладоши, торопливые веселые, звонкие разговоры... Вдруг среди этого веселого гомона, для всех неожиданно, грянула музыка! Обернулись, оглянулись в ту сторону, заторопились, многие быстро направились в зал, скользя оторопело по глянцевитому блестящему паркету... Концерт открывался... И, как это всегда случается, публика долго не могла разобраться со своими местами: разыскивала кресла, стулья, приставные сбоку места, рассматривала какие-то чуточные голубые талончики, друг друга спрашивая, друг другу объясняя. И все выражали недовольство, но вслух и громко не бранились, только отходили прочь, скорчив недовольную мину. Спорить было здесь не к месту: и общество собралось здесь, так сказать, наивысшее, одни избранники, да и цель концерта была почти что «святая»,— ради этой высочайшей цели можно было и обуздать свои человеческие слабенькие страстишки... Поэтому и самая суета была здесь величественно-торжественная, вполне почтенная,

очень милая суета. Когда четвертые, шестые, десятые ряды были заполнены, когда там все угомонились и разместившиеся дамы тяжко отдувались от только что минувших тревожных поисков, а почтенные мужья их медленно и вдумчиво ошаривали потные лысины, в это время стали заполняться первые ряды. Тут не было никакого распоряжения, не было даже и намека на какое-либо внешнее воздействие,— нет, все это совершилось само собою, по раз установившемуся обычаю, ибо оно и не могло совершиться иначе: задние ряды всегда должны были видеть и чувствовать, кто сидит в передних, и... завидовать.

Но вот уж разместились и передние ряды. Попритихло кругом, только из коридоров доносилось отдаленное шевеление. Но скоро и там затихло.

Плавно, величественно и строго, с большим достоинством и пониманием важности момента выступила первою «душа бала», несравненная Анна Петровна, начальница гимназии, и долго склоняла во всех падежах любимое выражение «моя гимназия». Она благодарила собравшихся за честь, которую оказали они своим посещением «моей гимназии», говорила о традициях гуманности, которыми жила все время и живет до сих пор «моя гимназия»; говорила о благородстве и возвышенности целей, поставленных себе устроителями концерта в «моей гимназии»,— одним словом, ее речь была направлена к тому, чтобы собравшиеся уяснили себе, какую колоссальную общественно-политическую роль играет ныне в государственной жизни «моя гимназия». И все поняли, что хотела сказать Анна Петровна, все приветствовали ее, когда она, взволнованная и раскрасневшаяся, с еще большим достоинством на сияющем лице, плавно, величественно спускалась с эстрады. Вслед за нею, лохмат и страшен, словно исчадие ада, вырвался откуда-то совсем неожиданно гимназический «батюшка». У него коричневой щетиной заросла кругом не только голова, но и половина лба была сплошь волосата, и только белою полоскою просвечивала другая, узкая незаросшая половинка. Косматая борода лопатой падала вниз, а сверху проросла насквозь обе щеки, засыпала нос воло-

сами, законопатила губы, скрыла в жестком волосяном мху оба уха, и от батюшки ничего не осталось, виднелся издали только страшный шар, волосяной — круглый сверху и чуть-чуть распластавшийся внизу. Когда батя начинал говорить, все его волосяное царство приходило в движение, и было невозможно разобрать, откуда эти звенящие, лукавые, заискивающие нотки святого голоска: тряслись волосы возле ушей, встряхивался и законопаченный наглухо нос, и что-то шамкало, чавкало около губ... Батя мог говорить временами не то что восторженно, а прямо исступленно,— это случалось с ним обыкновенно в минуты негодования, когда кого-нибудь следовало проклинать, посылать кому-нибудь смертоносные укоры, впускать христианское жало в нечестивую душу и сверлить, сверлить, сверлить этим жалом, насколько хватит сил... Тут у него работали ноги и руки, вздымались, опускались, топали, хлопали, бурно протестовали, а темная широкая ряса, словно парус в непогоду, рвалась и металась в разные стороны, качала, как былинку, разгоряченного отца Гавриила,— батю звали Гаврилой. Вздымалось валунами, дрожало и плясало его дремучее волосяное царство; здоровенная лопата билась по груди, а заросли возле носа и губ, сквозь храп и фырканье, заплеванные негодующей ядовитой слюной, дрыгались в разные стороны и гневно тряслись в соответствии с общим состоянием Гаврилы.

Батя гнусавым и кротким голосочком совсем тихо повел свою святенькую речь. Но чем дальше, тем больше входил в азарт, то и дело подогреваясь словами проклятья, что вырывались бурно из его дремучих волосяных зарослей.

— Богу угодно было, чтобы мы собрались ныне для святого дела помощи младшему своему страждущему брату. Сердце человеческое не может, дети мои, оставаться спокойным, когда земля застонала под мечом диавольским, когда разгневанный господь за пороки людские послал на человеков свое испытание. Брат на брата и сын на отца — поднялась земля во кровопролитии, и несть конца страданиям человеческим...

Пока Гаврила перечислял эти свои соображения,

он спокойно стоял на месте. Только однажды, при упоминании имени господнего, воздел кротко руки к небу и чуть запрокинул лохматую голову. Все было в порядке. Но когда он перечислил соображения насчет гнева господнего до конца, когда он перешел к проповеди, укорам и проклятьям,— тут музыка пошла иная: Гаврила распрыгался и расплясался по сцене, как дикий разъяренный буйвол, и, надо полагать, брюхатые толстячки, сидевшие в первых рядах, чувствовали себя небезопасно: Гаврила размахивался что есть мочи здоровенными кулаками и с невероятной силой ударял по пустому пространству, сокрушая ему одному видимого врага. Он так могуче наносил удары, что начинало казаться на самом деле, будто кого-то он тут колошматит. Прорывавшаяся сквозь заросли волосяные тягучая батина слюна расплевывалась яростно по сторонам, и мелкие брызги ее долетали до первых рядов. Через три минуты батиной речи толстяки и толстушки передних рядов уже сидели, прикрывшись платочками, ежесекундно ожидая новых плевков освирепелого Гаврилы.

— ...они нарушили все законы божеские и человеческие, они разрушили святыни христианские, они господа бога вырвали из сердца, и проклял их господь, отвернул от них лучезарное лицо свое, наслал голод и мор на их проклятые города!..

Это батя костил большевиков.

— Где она, святыня,— возопил он дальше задрожавшим голосом,— где она, церковь христианская? Где спокойствие земли русской, православной и где— не загрязнен ли зверями лютыми — ее венценосный, богом поставленный правитель? Этих зверей в человеческом облике, разворовавших добро наше и осквернивших святыни наши, проклянем же и мы как супостатов, и за спасение единой и неделимой земли русской, за веру нашу и за отечество, за правителя, богом поставленного, вознесем господу богу свои кроткие молитвы!..

Все сидевшие поднялись со своих мест и начали молиться. Гаврила гнусавил священные псалмы, творил святые молитвы.

Когда был окончен и этот номер, один за другим показались на сцене «общественные деятели». Если Гаврилу возмущали, главным образом, преступления большевиков перед богом, то «общественных деятелей» возмущали большевистские грехи перед человечеством.

— ...Эти заклятые враги человечества и культуры, эти хищные варвары,— сыпалось по адресу большевиков,— пришли и восстали единственно затем, чтобы разрушить добытые веками завоевания цивилизации и на пепле разрушенного прекрасного дворца культуры поставить грязное, смрадное царство хамов... Они «отнимают»,— что это значит? А это значит лишь одно: прикрыть красивыми словами самый бесчеловечный, вандальский погром и грабеж... и больше ничего. Отнять у меня потому, что я имею, потому, что я нажил свое богатство своим трудом, и отдать его тому, кто нищ и бос, кто его не имеет, кто не научился добыть его и создать — вот она вся их «ученая» теория: грабь средь бела дня, потому что это выгодно!

Таких речей было большинство, но были речи, построенные и иначе, так сказать, менее глупо.

— Кубань не может примириться с мыслью,— доказывал один из умников,— с мыслью о том, что она всего-навсего богатая распаханная равнина, что ее надо сосать, доить, выжимать весь сок до полного изнеможения. Кубань еще и свободная страна,— если хотите, это маленькое самостоятельное, вольное издревле государство. И мы не хотим над собой ничьей тяжелой руки,— ни царской, ни большевистской. Проживем сами по себе и сами собой сумеем управляться... Вот почему полками и армиями встречаем мы большевиков, вот почему до последней кровинки должны мы бороться за свою свободу, за окончательное свое раскрепощение... Святая, высокая миссия, историческая задача выпала на нашу долю — сделать Кубань свободной! И этой высокой цели приносим мы в жертву свое спокойствие, свое благосостояние, а если потребуется — свою жизнь...

Оратор грустно поклонился. Гром аплодисментов проводил его с эстрады.

«Освободители» и «защитники» еще долго вылущивали свои гибкие, гладкие речи, заполненные клятвенными обещаниями, но даже и столь нетребовательной аудитории через тридцать — сорок минут сделался тошен, невмоготу фальшивый этот пафос, безудержный ребяческий восторг и клятвы, клятвы, клятвы, которыми, как бисером, были унизаны все эти приторные, холеные речи. Уже на пятом ораторе поднялись из передних рядов двое толстячков и вышли. Через минуту вышло еще двое. Стали, по примеру передних, ворочаться неуверенно и в задних рядах,— постукивали и поскрипывали стульями; кое-где начинали раздаваться частные разговоры, сначала шепотом, потом все громче и громче... Этим невежам сперва было шикали и строили недовольные мины, а потом перестали, ибо перешептывание сделалось всеобщим. Догадливая Анна Петровна, заметив понижение интереса к речам, сейчас же переговорила с кем следует и, заручившись согласием, одобренная и похваленная за тактичность и догадливость, за чуткость,— распорядилась переходить к очередным номерам. Номера были незамысловатые — все то же, что всегда на подобных концертах: рассказывали чудаки смешные рассказики: актрисы и актеры декламировали то в одиночку, то попарно разную патриотическую чепуху; декламировали и чистенькие гимназисточки совершенно детские, невинные воробьиные стишки. Певуньи распевали, говоруны разговаривали, игруны наигрывали, плясуны отплясывали... Это было второе отделение. В третьем отделении — танцы.

Молодежь все гуще набивалась по коридорам; иные в классах откупоривали принесенное тайком вино и тянули из горлышка «для веселия»; парочки старались поукромнее выбрать уголок или спускались вниз по ковровой лестнице, толкались в раздевальной, выходили во двор... Надя с Прижаничем сидели на подоконнике в дальнем углу коридора, когда Чудров, один из знакомых ей реалистов, подвел и остановил в пяти шагах какого-то незнакомого молодого человека.

— Надя, вот мой приятель... Он очень хочет с вами познакомиться...

— Кто такой?

— Один знакомый, литератор...

— Литератор? Здешний?

— Нет, из Новочеркасска... Недавно приехал...

Надя охотно дала согласие. Чудров ближе подвел незнакомца, представил:

— Виктор Климов...

Познакомили Виктора и с Прижаничем...

После той ночи у Караева, когда он с Пащуком набирал листовки, Виктор успел многое сделать. Он уже установил прочную связь с неказачьим реальным училищем, откуда, между прочим, был и Чудров, связался с учительским институтом, двумя женскими гимназиями... Человек десять — двенадцать из этой молодежи встречались с ним ежедневно и подолгу охотно беседовали, то усевшись где-нибудь укромнее на лавочку, то забравшись к кому-нибудь на квартиру.

Надю Кудрявцеву указали ему как серьезную, умную девушку, и он теперь выбрал удобный случай, чтобы познакомиться. Недружелюбно, зло, высокомерно поздоровался с ним Прижанич. Виктор понял и оценил его с первого взгляда. Зато Надя сразу весело защебетала, осыпала его градом вопросов, и Виктору показалось, что он ошибся, что нарвался на обычную пустомелю и хохотушку, с которой не стоит даром времени терять. Но мало-помалу, разговорившись, он увидел, что под этой, с виду легкомысленной, праздничной веселостью действительно кроется что-то другое, ради чего стоит с нею говорить, стоит ею заняться... Разговор принял сразу оживленный характер, и, главным образом, у Нади с Виктором. Прижанич молчал, ожидал нетерпеливо, скоро ли будет выговорена эта обычная чепуха, что всегда выговаривается залпом при первом знакомстве. И не уйдут ли, на счастье, эти нежеланные собеседники. Но разговор с первых слов пошел другою дорогой. Климов не торопился уходить. Не уходил и Чудров; он примостился на подоконнике рядом с Надей и неотрывно смотрел в лицо Виктору восхищенными, влюбленными глазами;

было видно, что этого Климов обработал по-настоящему, перекрестил...

— Вы у нас давно? — спросила Надя.

— Только приехал. Тут дядя у меня, телеграммой вызвал,— плел Виктор привычную басню о своем внезапном появлении с Дона.

— Что, беда какая-нибудь? — И Виктору показалось, что в глазах ее засветилось тревожное участие...

— Нет, беды никакой... Но уж такой он чудак: писем не любит писать...

Она засмеялась, засмеялся и Виктор.

— Ну, как наш бал? — продолжала она, видимо не желая ударить в грязь перед литератором.— Весело вам?

— Да что же, бал как бал,— такие везде....

— Нет, вы все-таки поточнее: слышали речи?

— И речи слышал.

— Как батюшка-то наш расходился, а? Все вопросы в одну дугу скрутил! Чудак, он всегда у нас такой: как заведет, только слушай, чего-чего не наберет...

И Надя выжидательно примолкла, не зная, как отнесется новый знакомый к такому разговору. Прижанич, молчавший все время с презрительной миной на лице и явно недовольный приставшими собеседниками, тоже насторожился, ждал, что скажет Климов. Он чувствовал в нем своего недруга,— беспричинно, с первого взгляда, не сказав с ним еще и одного слова. И, угадывая, что Виктор батюшке больших похвал не отвесит, решил схватиться с ним на этом пункте.

— Батюшка другого сказать и не мог,— тихо ответил Климов,— у него должность такая, чтобы говорить...

— То есть что значит — «говорить»? — ехидно выплюнул Прижанич вызывающим тоном.

— А то «говорить», что в этом у него вся должность и есть...

— Что вы одно и то же заладили? — оборвал Прижанич.— «Говорить-говорить»... Все говорят,— ничего тут нового нет...

— Так я знаю, что нового нет ничего,— как бы извиняясь, проговорил Климов,— но что же вы хотите от попа?

— Не от «попа», а от священника,— перебил Прижанич.

— Ну, от священника,— согласился Климов, улыбаясь,— это в конце концов одно и то же... Я говорю, что словами своими он только и живет, а что же ему делать, кроме того: хлеб есть надо и ему... У всякого свое дело: рабочий, тот на заводе, положим, строит что-нибудь, нужные вещи готовит и за это получает, а поп... то есть священник,— этот своим ремеслом занимается, про закон божий...

— Что же, «закон божий» — ремесло? — вспылил Прижанич, и тонкие ноздри его задрожали от неподдельного гнева.

— Чепуха! — брякнул вдруг и неожиданно молча сидевший Чудров. Прижанич только скосил на него левым глазом, повел бровями, но ответом не удостоил,— он не хотел размениваться до этого нового противника, которого считал за совершенного мальчишку. Надя внимательно следила за развертывающимся спором и не знала еще, не дала себе отчета, чье мнение для нее самой дороже и вернее. Когда говорил Прижанич, она была всецело на его стороне, потому что и сама думала так же, как он, привыкла уважать священника и кругом всегда видела к нему только уважение. Но когда Виктор сказал про рабочих, что они выделывают какие-то полезные людям вещи, ее вдруг резнула мысль: «А что же, в самом-то деле, батюшка делает?» — И она растерялась мысленно, еще напряженней ловила каждое слово, встревожилась, заерзала на окне... Виктор умышленно не хотел обострять вопроса: он от Чудрова знал, кто такой Прижанич, и опасался, что тот заподозрит, если резать уж слишком откровенно...

В те дни, особенно в последние тревожные дни, когда город был полон слухами о массовом наплыве подпольщиков-большевиков, хватали не только за открытое выступление, но и за всякое непочтение к религии, к раде, к добрармии... В каждом таком проте-

станте видели опасного злоумышленника и забирали немедленно...

— Вы спрашиваете, ремесло ли занятие священника? — отвечал он Прижаничу.— Не знаю... это кто как смотрит... Тому, кто не верит ему,— это даже и не ремесло, пожалуй, я неточно сказал,— это просто ненужное и вредное занятие... А тому, кто верит,— о! тому, разумеется, совсем другое дело...

— Ну, для вас, например?— сощурился Прижанич.

— А для вас? — увернулся Климов.

— Я религиозную проповедь ремеслом не считаю,— крепко, твердо отрубил Прижанич.— Я думаю, что в религии для человека весь смысл его жизни, и если религию отнять...

— Да, да,— вдруг задыхающимся шепотом заторопилась Надя и вся вытянулась вперед. Про нее за спором как бы забыли, и теперь Прижанич сразу оборвался на полуслове, посмотрел ей в широко раскрытые прекрасные и наивные глаза.

Посмотрел и улыбнулся, увидев, каким глубоко искренним вниманием одухотворено было Надино лицо. Но продолжать спора уж не мог, ему стало вдруг скучно от этой ненужной, казалось, и совершенно отвлеченной темы. Ему захотелось только одного,— остаться с Надей наедине и продолжать те личные волнующие разговоры, которые вели они до прихода Климова.

— Простите,— вдруг повернулся он к ней,— мы тут занялись совершенно неинтересным разговором...

— Нет, нет, продолжайте, продолжайте,— скороговоркой, словно чего-то испугавшись и боясь что-то потерять, проговорила Надя.

— Не стоит, давайте о другом,— махнул рукой Прижанич и выразил этим движением свое бесспорное превосходство, словно говоря: «Да что спорить? Я и без того все знаю!» А Климов улыбался. Чему? Наде была совершенно непонятна эта улыбка. После *такого* разговора, казалось ей, чему же было улыбаться? Но уж спор так больше и не возобновился... На какой-то основной вопрос Надя не получила ответа, и вопрос этот, как заноза, впился ей в сердце.

«Конечно, Коля прав,— думала она о Прижаниче, вспоминая его твердые, ясные, такие знакомые ответы.— Конечно, прав». А в то же время ей хотелось слышать больше, больше, ближе узнать что-то такое, чего Прижанич, видимо, не знает и что знает этот вот Климов, так спокойно отвечающий на все вопросы.

— Пройдемся,— предложил Прижанич, полагая, что собеседники отстанут.

Но когда Надя соскочила с окна, Климов и Чудров пошли вместе с ними. Пересекли зал с танцующими парами, углубились в другой коридор. Здесь было почти совсем темно, только где-то в глубине отсвечивало окно. Слышно было, как в отдалении пели знакомый мотив, но что это за мотив — разобрать не было возможности... Они, перебрасываясь фразами, добрели до самой двери наглухо закрытого класса и через окошечко увидели там кучку офицеров. На столике бутылки, нарезанная колбаса, баночки со шпротами, хлеб...

Четверо, обнявшись и развалившись на лавке, распевали вполголоса: «Боже, царя храни».

— Эка приютились! — усмехнулся Климов.

— Позор,— брякнул ходульно Чудров,— надо бы им сказать...

— Что сказать, оставьте,— вмешалась Надя,— что нам за дело, пусть сидят...

Прижанич молчал, будто и не видел ничего, только зло, ехидно улыбался. Они повернули к светлому залу.

— Коля! — кто-то окликнул Прижанича. В стороне рядом с толстым плешивым полковником стояла разодетая, густо напудренная дама — мать Прижанича.

Он шаркнул, извинился перед Надей и отошел. Потом догнал и сообщил:

— Мама просит ее проводить... Я очень извиняюсь, но должен идти. Как провожу — немедленно сюда. Вы ведь останетесь, не правда ли? — спросил он Надю.

— Да, да, конечно,— и по лицу ее чуть уловимой, тонкой рябью пробежало грустное сожаление.

Прижанич ушел. Надя, Виктор и Чудров продолжали ходить взад-вперед, но разговор как-то сразу

увял и поддерживался с большим усилием. Виктор все обшаривал те пункты, на которых к ней всего удобнее было подступиться, но, заметив быстро упавшее настроение Нади, опасался быть назойливым и вел отрывочный, случайный разговор. Чудров рассказывал, как в учительской семинарии шесть человек ушло добровольцами в Красную Армию, как у них в реальном директор зазывал учеников к добровольцам. Надя слушала его рассеянно и, казалось, думала совсем о другом. Теперь на последнем сообщении Чудрова она вдруг оживилась:

— Вот и Коля говорил, что у них то же.

— Это Прижанич? — справился Климов.

— Да... Он говорил: если только отступать придется, он непременно запишется.

— Ну, а как вы думаете,— спросил Климов,— почему вот он запишется, а мы с Чудровым, да, видимо, и вы сами, останемся здесь?

— Так зачем я запишусь? — пожала Надя плечами.— На что я нужна?

— Да он-то на что нужен?

— Как на что? — рассердилась Надя, и глаза заблестели недобрым огнем.— Затем же, зачем все,— воевать идет...

— Да полноте, Надежда Петровна, не все же там воюют, что уходят с добровольцами...

— Ну, а по-вашему — зачем же?

— Страшно здесь будет... Оставаться страшно. Он ведь отлично понимает, что при советской власти тут ему не житье,— вот и уходит...

Надя помолчала. Скользнула по лицу не то раздраженность, не то растерянность, и тихо, раздумчиво она выговорила как бы про себя:

— Страшно... Почему страшно? И отчего это в самом деле такое беспокойство кругом идет и конца ему не видно?.. Когда только все установится?

— Трудно сказать,— серьезно ответил Климов.— Во всяком случае, скоро не установится. Посмотрите, не только ведь тут, а и кругом-то какое волнение — и на Дону, и на Украине, в Сибири, на Урале...

— А в Москве, что там слышно?

— О, в Москве другое дело... В Москве другое, совсем другое дело!

— Так почему же? — И Надя вопросительно посмотрела Климову в лицо.— Что там — люди, что ли, другие, отчего это так?

— Причин много, Надежда Петровна, а главное, что там рабочих много, и рабочих сознательных, готовых на все за свое дело...

— Вы так говорите, словно большевик,— усмехнулась она.

— Зачем «большевик»,— чуть стушевался Виктор,— я только объясняю вам, на вопрос вам отвечаю...

— Какая все-таки эта революция долгая,— выпустила Надя наивные, как бы случайно сорвавшиеся слова. И вдруг поняла сама, что сказала пустое. Быстро спросила: — А что у вас там, в Новочеркасске,— тоже неспокойно?

— Конечно, тоже... Теперь везде неспокойно, Надежда Петровна. Я думаю, и здесь скоро каша заварится...

— Да что вы? — встревоженно глянула на него Надя.

— Ведь красные-то подходят... Знаете вы это аль нет?

— И близко?

— Недалеко... Город, видимо, будет обстреливаться... Вот вам и каша.

— Ну, чем же, чем мы-то виноваты? — взмолилась Надя.— За что мы тут страдать должны? Да что же это такое?!

— Без этого, знаете, не обойдется,— сказал ей Климов,— на то и война, чтобы люди гибли... Разве такие события даром проходят?

— Слушайте-ка,— перебил Чудров,— а не собраться ли нам, а?

— То есть как собраться? — спросила Надя.

— А вроде того, как офицеры... Они там «Боже, царя храни», а мы свое... поговорим, декламировать... петь...

— В самом деле, отлично,— согласилась охотно Надя.— Но где же?

— А я знаю где... Около физического кабинета, там совсем у вас глухой класс, двери наглухо, деревянные...

— Но там же электричества нет...

— А мы со свечкой... Я достану... Ну, идет?

— Я с удовольствием,— согласилась Надя.

Они живо договорились, кого можно пригласить, насчитали всего человек двадцать пять и порешили сейчас же взяться за сборы. Чудров побежал вниз, а Надя с Климовым отправились в зал. Виктор еще раньше условился с Чудровым, что такую интимную вечеринку собрать необходимо, и потому при разговоре молчал; только когда она спросила его мнение, сказал:

— Отчего же, делайте... Только потише придется,— неудобно...

Они ходили вдвоем по коридорам, по классам, спускались вниз, четыре раза встречали Чудрова — он носился разгоряченный, с красным лицом, с горящими глазами. На ходу шепнул Климову:

— Отлично идет. Двенадцать человек на месте...

Минут через двадцать в глухом холодном классе, где уже давно не занимались, при свете двух стеариновых свечей собралось человек тридцать молодежи; среди них было шесть — восемь девушек-гимназисток. На первых порах все чувствовали себя несколько странно, недоумевали, не знали, зачем собрались. Узнавали друг друга, удивлялись встрече, расспрашивали... И никто ничего не мог сказать о цели собрания.

Чудров оттащил к доске стул, вскочил на него, порывисто заговорил:

— Ничего особенного... Мы, говоря откровенно, там, в зале, как на похоронах, а здесь давайте веселиться как следует, будем петь и декламировать, рассказывать что-нибудь, играть,— хотите, а?

Все вздохнули облегченно, увидев, что «особенного» и в самом деле нет тут ничего. Всем очень понравилась мысль о такой товарищеской вечеринке, и уж через минуту весело гуторили, смеялись, некоторые даже предложили натащить сюда чаю и бутербродов. Но большинство запротестовало:

— Увидят — все пропадет... Не стоит, ребята, не надо...

Чудров не слезал со стула, он все еще не знал, как начать.

— Слушай, Петровский, начни ты первый... я знаю, ты отлично говоришь.

— Петровский... Петровский! — зашумело все кругом.

Но Петровский отказывался.

— Да не ломайся, братец, что ты, словно в зале,— сострил Чудров.

Все весело рассмеялись. Петровского протолкнули к стулу, затащили, поставили:

— Говори!

— Да что же я буду? Я, право, ничего не знаю.

— Ну-ну!.. «Не знаю»... А помнишь: «Друг мой, брат мой»?

Петровский пробовал было еще раз отказаться, но, видя, как назойливо все пристают, начал:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!
Кто б ты ни был — не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей...

Он начал довольно вяло, но чем дальше, все больше и больше воодушевлялся, а стоявшие притихли, замерли, и последний стих прозвучал уж в гробовом молчании...

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой!

Кончил... Все молчали. Так молчали несколько секунд.

— Молодец!.. браво... браво!.. А ну, еще что-нибудь...

Но Петровский спрыгнул со стула и пропал в толпе. Снова вскочил Чудров, он был вполне доволен началом.

— Товарищи!..— и остановился на мгновение.— Я буду вас звать «товарищи» — говорят, у студентов,

в университетах, по-другому никак не зовут... Я вот что, товарищи,— продолжал он, торопясь,— вместе с нами... тут у меня один приятель... знакомый хороший... литератор... Он тоже бы хотел...

— Просим, просим! — загалдели дружно кругом.

— Он что-нибудь свое,— добавил Чудров.

— Просим!.. Отлично!..

Виктор медленно забрался на стул.

— Я скажу, товарищи, одно стихотворение, написал я его года четыре назад...

— Просим!.. просим!.. — продолжали шуметь кругом.

При свете двух крошечных свечушек лица у всех были как восковые, а глаза особенно, по-кошачьему, блестели. Полумрак и вся эта необычайная обстановка действовали возбуждающе, и самое простое, обычное слово приобретало здесь какой-то чарующий смысл. Настроение повышенное, все ждут чего-то исключительного. Виктор минуту постоял молча, ждал, пока уляжется волнение, поерошил волосы, оглянулся кругом.

— Тише...— сказал он чуть слышно.

Все примолкли, подумав, что он успокаивал шум, но Климов уже начал стихотворение:

Тише... Огромное чудо свершается —
В темном лесу великан пробуждается,
Вздыбилась грудь, как волна...
Он еще дремлет под шапкой мохнатою,
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Не пробудился от сна.
Полымем алым заря занимается,
Солнечный шар из-за гор подымается
Богатыря осветить;
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите — по лесу словно шептание —
Это его, великана, дыхание
Шутит-играет листвой.
Слышите звон и биенье неровное?
Это колотится сердце огромное —
Чует восход золотой...
Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми

Новая сила идет.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии,
И пропустите вперед...

Впечатление было неотразимое. Каждый понял,— кто этот Великан, что пробуждается к новой жизни. Но каждый понимал, конечно, по-особенному, по-своему. Декламировал Климов превосходно,— он сумел в слова свои вдохнуть такую силу, что образ дремучего Великана стоял как живой, и, когда говорил про шорохи лесные, про лесное шептание,— всем почудилось, будто кругом зашумело, зашептало, зашелестело...

Надя стояла впереди, у самого стула, и восторженными глазами смотрела Виктору в лицо, а когда он окончил и проходил мимо, она схватила его за руку, крепко ее сжала, шепнула:

— Как хорошо... как хорошо...

Виктор остановился, посмотрел в прекрасные темно-серые глаза Нади и тихо ей ответил:

— Не так хорошо, как верно... Это главное!

Они отошли, присели на парту, разговорились.

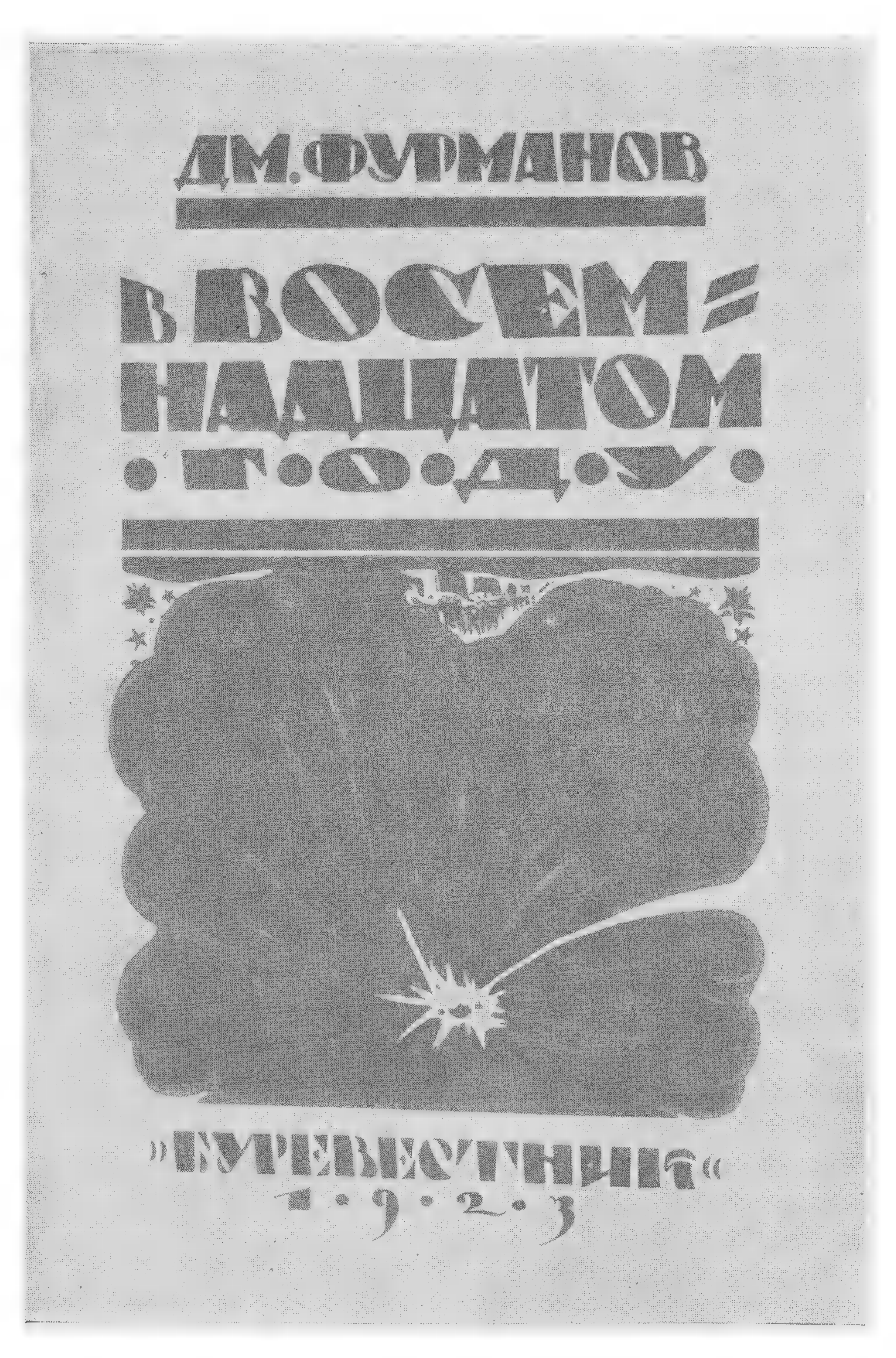
Никто не хлопал, не шумели и «браво» не кричали — стихотворение подействовало совсем иначе: подвое, по-трое оживленно говорили между собой, обсуждали, о чем-то спорили... Чудров уловил это настроение...

— Товарищи! — обратился он,— а не попросить ли автора дать нам свои объяснения, что-нибудь рассказать про Великана?

— Да, да, очень хорошо... Просим!

— Идите,— подтолкнула его Надя и улыбнулась дружелюбно. Казалось, от недавней грусти не оставалось у нее ни малейшего следа. Она была как под гипнозом, как зачарованная, слушала то, что здесь восторженно, так юно, так увлекательно говорили со стула, из тьмы... Она смотрела на эти бледно-восковые одухотворенные лица ребят и подруг и не узнавала их, удивлялась им, поражалась тою переменою, которую в них находила... Виктор снова на стуле. Он взволнован. Общее настроение передалось и ему.

— Вы понимаете, конечно, товарищи,— обратился



Обложка первого издания «В восемнадцатом году».

1923 г.

он,— о ком я говорю... Это стихотворение писано только в предчувствии, в ожидании... А теперь, когда мы с вами здесь, теперь пришло время, и Великан пробуждается. Он на ногах и с поднятым высоко факелом гордо идет вперед, смело шагает к новой жизни... Он сокрушает препятствия на тернистом пути. И никакая сила перед силой его безмерной не устоит! С грохотом трескаются и лопаются устои гнилого старинного дома и рушатся, падают, в пепел стираются под чугунной поступью Великана... Он придет к своей цели... придет... Вся Россия... миллионы поднялись на борьбу... Закружились вихрем события! Старый мир, наше мрачное подземелье, зашевелился со злобным шипением, как растревоженные гнезда змей: зашипел, заскрипел, обнажил ядовитые жала... Но не ему бороться с Великаном, не ему Великана победить... И мы с вами — молодые, полные жизни, надежд, полные лучших стремлений — мы с вами должны быть готовы к борьбе!! Неужели не хватит мужества выступить нам, у которых вся жизнь впереди, на которых так много надежды, неужели не хватит у нас сил придушить это шипучее ядовитое гнездо?.. Кубань накануне великих событий... Я знаю, что многие из вас не знают настоящей правды о Великане, что идет сюда с зажженным факелом... Этот Великан — рабочая сила, она движется грозно сюда стальною щетиной штыков, идет под красным флагом: вот где наше место, вот кому должны мы отдать свою молодость, свои силы, а может быть, и свою юную жизнь... Только тот творец жизни, кто в жизнь эту отдает свою силу, свой труд, а не сидит паразитом на чужом трудовом горбу!.. Многих из вас не качала нужда — все вы живете и спокойно и сытно,— а задумывались ли вы, откуда у вас это спокойствие, эта сытость?.. Нет, тысячу раз нет. А думать надо! Только подумав и поняв, можно выйти на дорогу жизни... Пусть не связывают, товарищи, вас никакие привычные узы — будьте свободными и свободно думайте над тем, как надо строить жизнь! Наша молодость, наша сила, вера наша в победу труда, наше горячее стремление быть счастливыми и счастье дать другим — пусть это все выводит нас на дорогу!!!

Гробовым молчанием ответили собравшиеся на климовскую речь. Все были глубоко взволнованы и в первую минуту, как кончил он, даже как будто растерялись, не знали, что делать, что говорить. Вдруг на стул прыгнула Надя.

— Он нас зовет,— энергично вскинула она правой рукой в сторону Виктора,— зовет к новой жизни... Спасибо, друг!.. Он разбудил в нас хорошие чувства и вызвал к жизни новую мысль... Но мы слепые. Мы же не знаем... Мы не знаем совсем, как это надо делать... Что нам делать, мы этого никто не знаем... Ведь одного настроения мало — нам надо, чтобы путь указали... Так ли? Ведь мы же совсем слепые...

И один за другим, одна за другою — юноши и девушки — говорили со стула, рассказывали, как это смутное желание добра и правды, это стремление найти верный путь тревожит каждого, но гибнет беспомощно, потому что нет поддержки, нет совета, нет учителя... Климов выступал еще два раза и говорил, как этот путь к настоящей жизни надо искать, рассказал про борьбу рабочего класса — давнюю, упорную, организованную борьбу... Его слушали с напряженным вниманием... Боялись проронить слово... Верили как пророку. Оживленные, взволнованные, полные странных мыслей и чувств, расходились они из полутемного класса. Всею гурьбой ввалились в светлый танцующий зал, где так резало глаза, где было так скучно и стыдно, а за что — не понять!

Как только миновали зал, Надя объявила, что идет домой, оставаться дольше не хочет.

— А Прижанич хотел вернуться? — посмотрел ей Климов испытующе в лицо.

— Может быть, вы со мной пойдете? — сказала ему Надя вместо прямого ответа и улыбнулась легкой, дружеской улыбкой. Они спустились вниз, оделись и быстро-быстро направились к Штабной, всю дорогу обсуждая отдельные моменты, отдельные фразы, мысли, слова, что говорились на этом необычайном сегодняшнем собрании.

На следующий вечер Климов отправился к Кудрявцевым; Надя просила его приходить запросто, не стес-

няться, не чураться ее семьи. В условленный час Виктор был на месте, пришло человек пять-шесть и из участников вчерашней вечеринки в глухом гимназическом классе. И, странное дело, все как будто бы стыдились того, что вчера наделали; первое время старались об этом не говорить, не вспоминать... Только Надя одна нет-нет да и заденет кого-нибудь или начнет вдруг рассказывать, какая она вчера была наэкзальтированная, как она все тонко чувствовала и переживала, как все вчера понималось и усваивалось быстро, точно и верно.

— Мне думается,— говорила она,— вот это вчерашнее состояние и есть то самое, в котором человек может решиться на большое, на трудное, даже на геройское дело!.. Ведь мы там *про себя* совсем забыли и не думали... Как бы другими стали, переродились, словно ни чуточки себе и не принадлежали, а захватил вот вихрь и мысли и чувства и понес, умчал, закружил... Ах, какое это было состояние! Я так бы хотела его снова пережить... А знаете что? — остановилась она.

— Ну, что, что?

— Я думаю, надо повторить...

В разговор вступило сразу несколько голосов. Виктор сознательно молчал, он вчера, провожая Надю, намекнул ей, что хорошо было бы создать этак небольшой товарищеский кружок, от времени до времени собираться и беседовать по тем самым вопросам, которые вчера так всех взволновали. Она восторженно приняла его мысль о кружке и теперь торопилась ее осуществить. Сделав как бы от себя это предложение и увидев, что отказа не будет, что все согласятся охотно, она тут же прибавила:

— А вот товарищ Климов тоже приходить станет... Хорошо? Станете приходить? — улыбнулась ему Надя.

— Так что же, с большим удовольствием...

И получилось, будто кружок этот создали они сами, а его пригласили только «бывать». По такой системе Климов создавал уже не первую группу. И с этого дня почти каждый вечер собирались они у Нади в комнатке, читали книжки, принесенные Виктором,

обсуждали, спрашивали его, учились. Другая группа объединялась вокруг Чудрова, и была еще компания в четыре человека из слушателей учительской семинарии.

IV. Трое

С того самого вечера, как в гимназическом полутемном классе Виктор декламировал и держал девушкам и юношам восторженную речь, с того самого вечера Надя была неспокойна при встречах с ним. С тревогой, с затаенной волнующей радостью ждала его прихода; как зачарованная, слушала и все-все старалась понять, когда он, спокойный, серьезный, занимался с кружком; становилась тиха и печальна, когда Виктор поднимался, пожимая ей на прощанье руку. Она чувствовала к нему тонкую, нервную привязанность, она как-то быстро во всем привыкла ему доверять и сама не понимала, как это все так скоро случилось. Но привязанность Нади не была только сердечным влечением — она сама отлично понимала, что, кроме того, в отношениях к Виктору у нее что-то есть и иное, на это не похожее,— более ценное, более серьезное и вместе с тем как бы более простое.

Живая, постоянно пытающая свои силы и постоянно силами своими недовольная, окрыленная радужными надеждами, верой в будущее и не верящая себе ни на грош в настоящем, она то и дело заглядывалась, любовалась на чужие достоинства и видела их там, где не было даже признака этих достоинств. Часто звонкую самоуверенность она принимала за настоящую силу, хвастливую, болтливую развязность могла принять в другом за «свободный» дух, мрачное и беспричинное недовольство — за глубину и серьезность натуры,— словом, каждое внешнее проявление в другом она готова была посчитать за признак внутренних и незаурядных достоинств.

В каждом человеке старалась Надя видеть и находить те «добродетели», что возвышали его и оправды-

вали. Но из всех близких один постоянно преобладал над другими, выделялся из этих других на целую голову, выше всех рисовался в Надином воображении.

До гимназического вечера таким духовным гигантом стоял перед нею Прижанич: его находчивость, его уменье на любой вопрос дать понятный и как будто бесспорно верный ответ, вся его манера твердо и уверенно держать себя среди других — это рисовало Прижанича в глазах Нади человеком особенных, чрезвычайных достоинств и дарований. И она искала у него ответа на все вопросы, что тревожили или просто занимали ее. Но за последнее время, когда на сцену появился Климов, она увидела и поняла, что у него, у Климова, еще точнее, еще вернее и неопровержимее эти ответы на любой вопрос. И ответы Климова родятся откуда-то совсем-совсем из других источников, построены не так, как это выходит у Прижанича. И Надя раздвоилась: первые дни не знала, куда ей деться со своими мыслями, каким доводам верить, чью сторону взять, когда между Виктором и Прижаничем разгорается спор. А спорили они немало. Встречались и у Нади, встречались и случайно на улице.

Как-то вечером, в такой час, когда воспрещено было ходить по городу (военное положение готовилось переходить в осадное, и режим надзора сгустился до последней степени), Виктор и Надя бродили вдвоем под окнами и вели между собой нескончаемый разговор, перебрасываясь с одной темы на другую, ни одной не доводя до конца. С противоположной стороны от забора отделилась вдруг человеческая фигура и направилась к ним. Это был Прижанич. Он где-то добыл себе разрешение и теперь имел право в любой час ходить по городу.

— Вечерний моцион? — постарался улыбнуться он, ближе подходя к Наде и Виктору. Но улыбка не удалась.

— Разговоры разговариваем,— ответила Надя весело, сама первая подавая руку.

— Слышал... Еще от угла услыхал... разговоры... Здравствуйте,— протянул он Климову руку.

Тот ему молча подал свою.

Как только подошел Прижанич, разговор сбился с темы и уже не мог возобновиться в той форме, как они вели его прежде. Прижанич рассказывал какие-то «интересные случаи» в своих отношениях с мамашей, раза два касался вопроса о раде, но все это выходило как бы мимоходом у него, отрывисто, даже зло. Словно говорил он — и сам не знал, зачем это говорит, а вот главное, что-то самое главное,— так и не может сказать. Как только увидел он Надю два-три раза вместе с Климовым, не мог он с тех пор держаться с нею по-прежнему: вместо ласковых и нежных слов все хотелось ее оскорбить, наговорить ей дерзостей, за что-то больно-больно отомстить. А еще больше злило то, что сама-то Надя, казалось, и не видела, не чувствовала этого в нем состояния — она, как прежде, так же весело с ним встречалась, так же охотно разговаривала, и, пожалуй, даже разницы не было никакой между теми встречами, что теперь, и теми, что были раньше.

«Ну нет, раньше было совсем другое,— думал Прижанич,— она тогда не только была весела, но и рада была нашим встречам... Она их хотела, она их ждала, она заботилась сама, чтобы эти встречи были, а теперь — и встретится и не встретится — ей все равно... Этот Климов... У!.. Черт его дери! И чего ему тут нужно... треплется каждый день...»

Прижанич, конечно, видел, что Климов его вытеснил с первого места и поглотил всецело Надино внимание, но он никак не мог помириться с этой мыслью и не мог допустить, чтобы он, Прижанич, и вдруг оттеснен каким-то замухрышкой-литератором! Нет, нет... это случайность, это баснями затуманили Надину голову, и надо ей во что бы то ни стало объяснить, показать, рассказать... Но что же? И как все это сделать? Он настойчиво продолжал добиваться каждый раз и где только можно было свидания с Надей: ловил ее на улице, встречал ее из гимназии, приходил к Кудрявцевым и все не терял надежды вернуть ее, образумить, рассеять климовский туман... Зачем была она ему? Он этого и сам не мог бы сказать, ибо «любви» никакой у них не было, он просто чувствовал себя оскорбленным ее предпочтением Климову. И единст-

венно из самолюбия, уязвленного самолюбия, продолжал свои ухаживания за Надей. А еще — следил за Климовым. Как ни сдерживался Виктор при спорах с ним, но не мог он, разумеется, поддерживать ту чепуху, которую нес авторитетно Прижанич. И как ни старался своим возражениям и пояснениям придать характер полного бесстрастия, выходило, однако же, таким образом, что все, что говорил Прижанич, навыворот понимал Климов, и наоборот. В Климове чувствовал Прижанич врага и решил теперь свести с ним счеты. Он сегодня пришел сюда не просто поговорить, повидаться с Надей,— у него созрел план на иное дело. От кого-то из знакомых Кудрявцевых он услыхал, что к ним собираются кружком, читают, спорят, обсуждают разные вопросы. Заходя от времени до времени к Наде, Прижанич никого там не встречал, кроме ее подруг и двух-трех реалистов,— словом, той публики, которая и раньше всегда бывала у Кудрявцевых. Он даже мысли не мог допустить, чтобы эти «молокососы» могли заниматься чем-нибудь серьезным. Он предполагал, что собирается какой-то другой, тайный, «кружок», и в центре этого кружка представлял себе Климова. За последние дни, когда настроение в городе взвинтилось и когда в соответствующих кругах поговаривали о близком и неизбежном отступлении, Прижанич не раз и не два толковал на эту тему с мамашей, и они, конечно, также порешили уезжать из города вместе с добрармией. Все «молодое и благородное» призывалось под знамена, во всех школах велась усиленная агитация за вступление в ряды добровольческой армии,— не устоял против этого искушения и Прижанич; он вот уже больше недели как зачислился агентом охранки. И теперь на кудрявцевском деле он решил разом убить двух зайцев: во-первых, выслужиться и продвинуться вверх, завоевать известную «славу», а во-вторых, отомстить и Наде, и Климову, и всем, всем, всем за кровную обиду, что была ему нанесена, за пренебрежение, ему оказанное... Поболтав теперь о разных пустяках, он пытался перевести поудобней разговор на политическую тему. Это было сделать легко, ибо Надя хваталась за темы эти с

жадностью, а Климов вообще не начинал сам никакого разговора и в то же время в каждом разговоре участвовал охотно.

— Слышно, что красные получили здоровенную баню за Тимошевской,— сказал он.

— Вот как слухи противоречивы,— усмехнулся Виктор,— а я слышал, что все продвигаются...

— Откуда слышали?

— Да на улице... кучка стояла... говорили...

— Чепуха... пустые слухи!..

— А что это,— спросила Надя, как будто совсем наивно,— стрельба очень слышна стала, значит, близко, а? Вы знаете, Коля?..

— Это... это пробная... новые орудия привезли... массу орудий привезли... пробуют... Об этом же объявлено по городу — разве не читали?

— Нет.

— А... так почитайте... как же: везде расклеено...

Виктор улыбнулся чуть заметно, и Надя, заметив эту улыбку, улыбнулась сама.

— Я слышала еще,— сказала она, обращаясь к Прижаничу,— будто некоторые из членов рады поспорили, что ли?.. Уехали совсем по станицам: не хотим, говорят, больше ничего... едем, и только. Что это, Коля, отчего так?

— Да кто вам такую чепуху говорит?! — с силой прорвался Прижанич.— Откуда это? Рада... да рада, как стальная... Макаренко вчера на вечернем собрании говорил, в слезы весь зал ударил... Вот говорит! Как один человек поклялись: умрем за Кубань, а не отдадим!

Но когда Климов по ходу разговора вынужден был впутаться в обсуждение вопроса о «единстве» рады, Надя, дрожа от радости и гордости, почувствовала все превосходство его логики и доводов надо всем тем, что говорил Прижанич.

— Кубань едина,— доказывал Прижанич,— она не хочет никого, кто бы вмешивался в ее дела... Сама справится со всеми.

— Кубань единой быть не может,— говорил Климов,— имущественная рознь, вы сами знаете, неоди-

наковая обеспеченность — все это не может дать единства...

И простым, но убедительным словом Климов рассеивал всякую муть, весь туман, что оставался от слов Прижанича.

— Какое тут единство?! — говорил он,— когда друг дружке готовы горло перегрызть! И это ведь независимо от злой или доброй воли Макаренко, Быча или кого другого... Они могут быть самые прекрасные люди... Не в этих личностях дело,— дело совсем в другом. Различное имущественное состояние (Виктор умышленно сглаживал и упрощал вопрос) по-различному настраивает и каждую имущественную группу. Разве мало здесь, на Кубани, самой настоящей бедноты, у которой положение ужасно и которая выхода из этого положения не знает и не видит, не находит, кроме открытой борьбы... Так всегда в природе и в обществе кругом идет непрерывная, неизбежная борьба: одно нападает, другое сопротивляется, одно побеждает, другое гибнет без следа. И так до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, можно сказать идеальная гармония... Трудное, долгое дело...

— Да разве я отвергаю, что жизнь — борьба? — фальшиво возбуждался Прижанич,— борьба... за лучшее будущее, за счастье...

— Борьба не только человека с природой,— добавлял Виктор,— но еще и человека с человеком,— вот именно то самое, чему теперь мы с вами свидетели...

— Ее не было бы, этой борьбы, если бы большевики не лезли на Кубань!..

— Они, видимо, не могут не лезть,— как-то небрежно уронил Климов.

— Как не могут? Кто их зовет? Кто их толкает сюда?

— Да неужели вы не знаете кто и что? — посмотрел в глаза ему Климов.— Нужда гонит, опасение, что отсюда, с Кубани, собравшись с силами, на них могут походом пойти... А еще голод гонит... Голод, он тоже заставляет никак не забывать про Кубань! И потом, что значит *гонит,*— разве мало здесь своих доморощенных?

— Так, черт возьми, что же, Кубань — харчевня, что ли? — вспылил Прижанич.

— Зачем харчевня... обмен... одно за другое... Я думаю, что так... во всяком случае, я сам себе так объясняю... Нельзя же все объяснять злой и доброй волей человека, тут и другое есть...

— Другое...— проворчал Прижанич и не нашелся, что бы еще можно было сказать, а Климов продолжал свою мысль.

— Даже и не опасения и не голод, пожалуй, у них главное, а главное то, что дело тут общее — *общее дело,* вот что! — с силой подтвердил Виктор.— И не может быть по-другому. Теперь вся Россия старая пополам — и Кубань, и Сибирь, и Украина — везде пополам: две половинки — одна белая, другая красная... И белая на всю Россию, и красная на всю. Одна с другой перепутались, но уж непременно по всему тут фронту одна против другой! Будет Дону большая опасность от красных,— разве не пойдет на помощь отсюда добровольческая армия?

— Пойдет! — повел губами Прижанич.

— То-то и дело, что пойдет, неизбежно пойдет, потому что дело общее... Все едино и там, у красных: у них тоже дело общее.

— То есть как общее? — перебил Прижанич.— Это здесь, на Кубани, да с кем же общее-то оно?

— Ну вот с теми, что дожидаются Красной Армии... А такие есть, что дожидаются... Кабы их не было, да разве не поднялась бы теперь Кубань, как один человек? Эге, давным бы давно... А ведь молчит... видно, ждет...

— Не ждет, а устала,— поправил Прижанич.— Измучили ее... Вот передохнет, тогда...

И он, не доканчивая своей мысли, только мотнул головой, давая понять, что «тогда» совершится что-то необычайное.

Из окошка высунулась Анна Евлампьевна.

— Надь!.. шла бы, уж поздно,— окликнула она.

— Сейчас, сейчас иду, мама... Вы что же,— обернулась она к спорщикам,— вы продолжайте, она ничего... подождет...

Но вдруг остановившийся спор не возобновлялся.

— Пожалуй, и верно поздновато, — встряхнул Прижанич левым рукавом и посмотрел на ручные крошечные изящные часики.— А как же вы домой? — обратился он к Виктору.— У вас разрешение?

— Никакого,— усмехнулся тот,— я вот рядом... приятель...

— Кто это?

Виктор вскинул на него глаза и вдруг от этого вопроса насторожился, почуяв что-то неладное.

— Приятель. Да вы не знаете...

— Ну, я пошла, всего хорошего,— проговорила Надя и подала руку первому Прижаничу.

— Вы отчего не заходите, Коля?

— Да я же недавно был, всего четыре дня.

— А вы чаще... что тут...

И, поспешно пожав ему руку, она прощалась крепко с Виктором... Прижанича рванула обида:

«Со мной простилась, словно отделаться только хотела... И слова как на ветер кинула, а с ним?..»

Надя не выпускала из своей руки руку Виктора, смотрела ему в глаза, говорила что-то раньше обоим знакомое:

— Часов в пять, хорошо? — и, кивнув головой, пропала в калитку.

Прижанич молча простился с Климовым и зашагал по направлению к Красной. А Виктор, обождав, пока он скроется, отворил калитку и через двор, как это он часто делал по вечерам, вышел садом в соседнюю улицу, где на квартире у Еремеевых вот уже неделю как поселился под чужим именем Пащук.

Подкрался Виктор к окошку, стукнул три раза подряд и три раза тише, в разбивку,— условный знак, по которому Пащук открывал двери, не спрашивая.

— Где ты, кобель, пропадаешь? — встретил он Виктора.— А Паценко ищет... Сейчас же лети... Он у Караева должен быть. Ждет тебя непременно и пропуск оставил. На!

Пащук подал Виктору пропуск, добытый в штабе через Владимира, и прямо из коридора повернул Климова за плечи обратно к выходу.

Когда Виктор добрался на Дубинку, он в самом деле Паценко застал у Караева.

— Собирайся,— встретил его Паценко.— Сегодня же на Крымскую... Я получил сведения, что будем брать через два дня... Отвези весь материал, тут у меня все отмечено подробно, как будем действовать в самом городе. Впрочем, едва ли и задержатся: надо быть, судя по раде, сами уйдут... Но на всякий случай вези, остальное расскажешь... В половине двенадцатого идет транспорт в ту сторону... Ты пока с ним... Владимир и сам едет; вот он тебе документы... а там сговоритесь, когда остановка будет... Ну, айда!..

Через минуту Виктор снова был на улице, шагая по указанному пути.

V. Обыск

На следующий день в доме Кудрявцевых совершилось нечто совершенно несообразное. Когда Анна Евлампьевна возилась с обедом, ожидая «Петрушу» с Надей, а Павел, по обыкновению, отлеживался на диване,— вдруг завизжала калитка, застучали громко по ступенькам, по крылечку, в коридоре, настежь распахнули дверь, и трое незнакомых быстро подскочили к Анне Евлампьевне:

— Ты хозяйка?

— Я, а чегой-то вы, соколики? — И с недоумением переводила она испуганный взгляд с одного лица на другое.

— На, гляди,— сунул ей в руку билет высоченный детина в поддевке, в мохнатой шапке, в ремнях, с револьвером на боку. Двое других — в шинелях, в кубанках — молчали.

— А я... чего я...— перевертывала она в руках билетик, не зная, что с ним делать,— я вот позову... Павел!.. Павлуша!..— крикнула сыну.— Чегой-то пришли, спрашивают...

— О... о... о! — отозвался Павел Петрович, не подымаясь с дивана.

— Ты поди глянь — бумаги, надо быть,— выговаривала она что-то и самой себе непонятное, разглядывая маленький билетик, где красовалась фотографическая карточка и зеленела печать.

— А... а... а? — недовольно потянулся Павел, но с дивана все же не поднялся.

— Да ты поди сюда... Что ты, господи помилуй...

Послышалось вялое ворчанье Павла и отдельные слова, вроде:

— Опять тревога... отдыху нет... вздохнуть-то не дадут как следует...

Наконец он появился — с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке с подтяжками на плечах, волосы на голове дико были взъерошены. Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.

— Вы к кому?

— Сюда, к вам,— ответила резко папаха.

— Ко мне? — уставился на него Павел.

— Не к вам одному, а к целому дому... Да ты смотри билет-то,— оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Анны Евлампьевны.

Павел взял бумажку с печатью, заглянул, понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно, а губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:

— Кого же тут... Нас вот вся семья... Сейчас отец придет да Надежда... сестра...

В это время дверь отворилась и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:

— Немедленно произвести обыск... тщательный... да всех задерживать, кто придет!

Позвали со двора двух солдат,— там их стояло человек пять-шесть,— и началось... Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, и на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшестка соскочил горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась — дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут

было. Анна Евлампьевна, сама не своя, подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:

— Приданое... тридцать лет лежит... только в пасху да на рождество...

— Ладно, старуха, не лепечи, без тебя знаем, где что искать,— ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым, парень лет тридцати, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица. Подошел от стола и второй сыщик, низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.

— Скулит? — мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.

— А нехай поскулит, перестанет,— ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука.

В это время детина в папахе, видимо бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки «святых» церковных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.

— Ишь напихали,— приговаривал он, просматривая бегло всю эту ветхую, пыльную рухлядь.

— На-ко, чего-чего нет!

— А тут что, тетка? — крикнули они Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкафчик под киотами.

— И ничего тут...— залепетала Анна Евлампьевна.— Ничего, ей-богу, ничего, одна вода святая...

И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным фартуком размазывала она их по лицу, сквозь рыданья приговаривала:

— Одна вода... Одна святая... Иконку-то бросили...— нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.

— Ну-ну, потом соберешь,— грозно гаркнула папаха.— Ишь разревелась... Открывай шкаф!..

— Да, право, тут...

— Открывай, черт! Разломаю!

Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулоч-

ки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночки с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троице-Сергия — немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек, с мохнатыми грязными руками выбрасывает одну за другою драгоценные, так бережно хранимые ею вещицы. Анна Евлампьевна не могла дальше вынести, смертно бледнела, долго дрожала мелкой дрожью, и как стояла, так и грохнулась навзничь посреди юбок, узелков, картин, чайничков, святых вещичек из священного шкафчика...

— Ну, отлежишься,— прохрипела папаха, продолжая работу.

Павел кинулся было на кухню за водой.

— Эй, куда? — окликнул его беззубый.

— Воды... воды ей надо,— показал он на лежащую без памяти мать.

— Ничего, полежит...

— Как полежит? Я ей воды сейчас...

— Не ходи, говорю, аль не слышишь?! Вот кончу, вместе сходим.— И он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни:

— Иди, мол, иди...

Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.

— Ну, за водой-то,— обратился он к Павлу.

И когда они вышли в кухню, цыган поспешно начал обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все это быстро запихал в карман. Папаха рылась уже по шкатулкам, вытряхнув остатки из священного шкафчика; она тоже оглядывалась зорко и тоже что-то распихивала по карманам.

Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась... Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.

Надя догадалась быстро, в чем дело,— на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно передергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик, как вошел, так и обомлел.

«Воры!» — решил он про себя и закричал бы, если б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.

— Это ужасно... Что это?! Господи... господи...— шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны.— Так за что это? — вдруг спросил он и, поднявшись с кресел, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.

— Приказано,— отрубила папаха,— вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку...

— Да ищете что? — с сердцем спросил Петр Ильич.

— Что попадет,— урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой кофточки, юбки, платочки.

— Так, господи, что же это такое?! — сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова и бессильно упадая в кресла.

Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади. И так же, как возились они с юбками Анны Евлампьевны, кощунствовали теперь с письмами, кни-

гами, записными книжками — все это пересматривали, кое-как и наспех перечитывали, пакостно улыбались, найдя какую-нибудь интимность в переписке. Но все это было не то, что искали сыщики. Желанное не попадало. Глубоко потрясенная, Надя прислонилась к подоконнику, выглядывала оттуда запуганными, растерянными глазами.

И так ей стало горько, что чуть не разрыдалась, а потом вдруг опустилась вся, ослабела, даже перестала эту острую боль ощущать и стояла как бы в забытьи, видела и не видела, как один за другим открывались ящики — и в стене и в столе, как оттуда выбрасывались пачки драгоценных для нее живых документов и как их, словно торговка яйца на пробе, сначала рассматривали на свет, видимо не доверяя тому, что в конверте не одна, а две, не две, а три бумажки; потом выхватывалось письмо, часто раздирался хранимый конверт и отбрасывался в хлам, а письмо живо повертывалось в руках, и, когда было прочтено, оно делалось в глазах Нади скользким, отвратительным... Операция происходила в молчании. В комнате, кроме беззубого и цыгана, присутствовала одна только Надя: старики остались возле сундуков и теперь, охраняемые папахой, ползали там по полу со слезами, собирали разбросанные вещи, оттаскивали их в груду. Ползут-ползут навстречу друг другу, столкнутся, посмотрят в лицо — и слезы закапают, потекут по морщинам... Павел в это время, как и Надя раньше, хотел пробраться к себе, но его, как и Надю, задержали; выпустили его лишь тогда, когда выворочена была всем нутром наизнанку вся крошечная Надина комнатка. Оба сыщика перешли к Павлу, а Надя одна так и осталась, застыв у окна, недвижимая, окостенелая. Ничего опасного не нашли и у Павла. Становилось ясно даже сыщикам, что весь обыск идет впустую или по ошибке, или по сознательно ложному доносу. Но для того, чтобы все проделать по форме, вскрыли в дому несколько половиц, заглянули и туда; под полом также было «место свято» — никаких провинностей. Залезли на чердак, ощупывали там печные трубы, даже вынимали наугад кирпичи, потомковы-

рялись в песке, засматривали за все перекладины — нет ничего, пусто кругом!

Детина в папахе уселся за стол, составил протокол, дал прочесть цыгану и беззубому; втроем подписались. Как будто все было покончено. Казалось бы, что теперь, после такого долгого и неудачного обыска, можно им было уходить восвояси, но сыщики и не думали трогаться, только расположились поближе к дверям, начали шепотком переговариваться между собой.

Засада!

Но и засада не дала никаких результатов, получился даже курьез: соседка Пелагея Львовна Ниточкина забежала спросить, не перелетала ли сюда во двор через изгородь рябая хохлушка-курица. И так только вошла за калитку, немедленно была задержана и препровождена в комнату, где сидела папаха. Тот учинил ей допрос: откуда родом, давно ли знакома с семьей Кудрявцевых, как часто у них бывала, зачем пришла теперь и прочее и прочее. На обезумевшую от страха Пелагею Львовну было смотреть и скорбно и смешно: ответы у ней были невпопад, вопросы она наполовину не слышала, наполовину вовсе не понимала, так как не могла никак уяснить себе, зачем и кому потребовались все эти сведения. Продержали Ниточкину до позднего вечера, пока не пришел снова тот офицер, что отдавал приказание об обыске; он после нового допроса отпустил измученную Пелагею Львовну.

Найти кой-что, пожалуй, у Кудрявцевых и могли бы. У Нади в записной книжке, среди всякого рода заметок — о Достоевском, о любви, о половом влечении,— были записаны и те соображения, которые Климов высказывал ей в личных беседах или развивал на собраниях кружка. Но все это сыщики пропустили, бегло просматривая написанное и разыскивая, видимо, как раз только те места, где говорилось бы про любовь, про отношения Нади к близким ей людям. А потом, глядя на нее, наивную, юную, видимо, не допускали, что тут может скрываться какой-то «враг», что у Нади могут оказаться какие-то «дела». На этот вечер кружок собирать не предполагалось, и когда Надя говорила накануне Виктору «часов в пять...»,—

это речь шла об условленной прогулке на берег Кубани. У Нади ничего не нашли еще и потому, что, по совету Виктора, никогда и ничего на квартире у Кудрявцевых собравшиеся не оставляли. Книжки, которые могли бы повредить делу, приносил и уносил или сам Виктор, или прятал за пазухой Чудров. Но занятия велись, положим, не только по этим книжкам. Виктор любил и такой способ: возьмет какую-нибудь дряненькую белую брошюрку, прочтет, а потом и начнет разъяснять, в чем ее несостоятельность, слабость или вред. Слушающие обычно все его мысли отмечали и записывали в книжечки или на листки и по этим запискам разбирались дома, а уж на следующем собрании разгорались по этому кругу вопросов разносторонние жаркие споры. Сегодня из членов кружка никто не приходил. Не пришел и Виктор. Всего больше опасалась Надя, что он, не найдя ее в условленном месте, придет сюда. Тогда... Она не знала, что будет «тогда», но содрогалась от одной мысли, что Виктор может попасть «им» в лапы. Хотя ни разу не говорил он ей о своей принадлежности к подпольной организации, не говорил о том, что большевик, но уж давно поняла, почуяла чуткая Надя, что Виктор чего-то не договаривает, что, несмотря на свою, казалось бы, полную откровенность с нею, он оставляет что-то «про себя», не сообщает ей. В этих мыслях не столько утверждали ее занятия Виктора с кружком, сколько разговоры их, долгие разговоры с глазу на глаз, когда ходили они по переулкам или по берегу Кубани. И особенно когда начинал ей Виктор рассказывать про эти вот прокламации, листовки, воззвания, что каждое утро развешиваются по заборам Краснодара: он говорил, как, должно быть, трудно все это выполнять, прятаться, каждую секунду ожидать, что накроют, и все-таки упорно делать, делать, делать свое дело! В эти минуты казалось Наде, что он рассказывает про себя, что он сам связан с такой организацией и с таким делом. Но не спрашивала его. А Климов сам никогда об этом не проговаривался. И теперь Надя чувствовала, что не сдобровать ему, если угодит в руки засады. Но Виктор не шел. И рада она была

тому, что не приходил, и в то же время хотелось видеть его: в эту горькую минуту было бы так хорошо с ним поговорить!

«Нет, нет, не надо, пусть лучше не надо сегодня!» — подумала она.

На этих мыслях оборвал ее чей-то громкий голос, доносившийся из спальни стариков. Это офицер допрашивал Пелагею Львовну:

— Часто ходишь?

— И где часто,— заторопилась старуха,— когда тут, батюшка, ходить-отдыхать: ты и на базар, ты и...

— Будет болтать, отвечай дело,— оборвал ее офицер и, увидев вошедшую Надю, впился глазами, сладострастно обшарив голову, грудь, весь стан до пола, посмотрел в глаза.

— А вы... вы тоже здешняя?

— Дочь,— из угла ответил за Надю Петр Ильич. Заметил старик остановившийся на дочери офицерский взгляд и хотел теперь одного — чтобы ушла она скорее...

— Вот вы и свидетельницей будете у нас, хе, хе, хе... Показывать будете, как все было...

— Так отпусти же, ваше благородие,— взмолилась Пелагея Львовна,— ей-богу, отпусти скорее!

— Старуха! — прикрикнул офицер.

Та вдруг съежилась, смолкла.

— Вам известна эта личность? — обратился он с улыбкой к Наде и оскалил под рыжими редкими усиками ряд уродливых полугнилых зубов. Синие глазки замаслились, сощурились, расплылся еще шире широкий рыхлый нос... Все лицо резко изменилось от этой улыбки, стало хищным и жестоким, как у коршуна.

— Да это же соседка, Пелагея Львовна,— тихо ответила Надя. Сказала и *так* посмотрела офицеру в глаза, что он перестал улыбаться.

— А зачем она к вам шляется... эт... та соседочка?..

— Не знаю, спросите, видно, дело есть.

— Дело?.. Гм...— Он франтовато покрутил усы, закинул голову, спросил: — А как вы думаете, *что* у нее может быть за дело?

— Так я же тебе, ваше благородие, говорила, что курица у меня... хохлушка,— взмолилась было Пелагея Львовна.

Офицер крикнул:

— Ты замолчишь, карга? Кого я спрашиваю?!

Пелагея Львовна пригнулась, пропала в платок.

— Ну? — уставился он на Надю.

— Не знаю...

— Так, гм... так... не знаете?

И снова покрутил тараканьи усики.

— Ну, ладно, не злой я человек. Иди, старуха, да больше чтоб куры у тебя через забор не летали, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу, все поняла... все... родимый, все,— приговаривала на ходу Пелагея Львовна, торопясь к двери, боясь, как бы не задержали снова.

— Протокол готов? — обратился офицер к папахе.

— Так точно! — подал тот исписанную бумагу.

— Все проверили?

— Так точно, и очень внимательно.

— И у них? — скосил офицер на Надю прищуренные масленые глазки.

— И у них, так точно...

— Впрочем, я сам еще проверю!

Встал, гнило улыбнулся и направился к Наде в комнату.

— Останьтесь здесь, я один,— обернулся он к сыщикам, которые поднялись было вслед за ним.

И Надя хотела остаться, но как же это... как пустить его одного в эту комнату, как ему все доверить?

«А впрочем, не все ли равно, буду я или нет? Он же все сделает, что хочет. Ну, что я могу сказать ему?»

— Папа, укажи ты,— обратилась она к отцу.

Старик вдруг встрепенулся, хлопотливо залопотал:

— Да, да... я сейчас... я все покажу... А ты тут... а ты тут...

— Нет, вы сидите,— повернулся офицер.— Я хочу с самой хозяйкой... Вы сама мне все будете показывать... Сама... А папа потом...

— Да не хочу я! — крикнула Надя.

— Это как «не хочу»? — взглянул на нее офицер.

— Не хочу! Не стану я, вот что! Не стану, не стану!!

— Надя... Нельзя этого,— вмешался Павел.— Нельзя... Сейчас ты обязана, раз тебе говорят... Понимаешь?.. Ну, успокойся, что ты?

Было так тяжело от своей круглой беспомощности, так было обидно, что одну минуту Надя едва не разрыдалась, но вдруг, не сказав ни слова, она быстро, вперед офицера, прошла в свою комнату.

— Что вам нужно? — спросила, и голос задрожал угрозой.— Что вам еще нужно? Они же искали... Все вывернуто... Чего еще?

— А вот, значит, надо,— с деланным спокойствием отвечал офицер, наклоняясь к рассыпанным, не убранным с пола бумажкам.— Переписка? Изволили переписываться?

— Видите...

Он взял одну, другую, третью записки, пробежал глазами, положил на стол...

— Вы учитесь? — спросил вкрадчивым, сладеньким голосом.

— Учусь...

— Где изволите?

— В гимназии...

— Так-с... Это отлично... это очень даже отлично... Только вы, можно сказать, совершенно напрасно со мной такие резкости! Зачем они? И за что они? Разве я хоть сколько-нибудь виноват? Ну, подумайте: я офицер, мне приказали, да как же это я могу ослушаться? И что тут особенного, если даже и обыск... Вот посмотрим,— ну, нет ничего, и слава богу, так и пройдет. А что тут сердиться?

Исподлобья он посмотрел Наде в лицо. Она молчала, плотно стиснув зубы.

— Все в порядке вещей,— продолжал офицер, рассматривая письма и книги,— все в порядке... Сегодня к вам назначили, завтра ко мне — и нет тут ничего обидного... А в этом ящике что изволите хранить? — И он показал на тот ящик, куда Надя второпях собра-

ла свои записные книжечки, полагая, что обыск не повторится.— Не откажите посмотреть,— из ряда вон любезничал офицер, подбирая самые мягкие, вежливые слова.

— Так берите, что ж я могу? — беспомощно ответила Надя.

Он достал одну, другую тетрадку, стал читать. Перестал любезничать, раза два чуть заметно улыбнулся.

— Да... да... Гм... Вот оно что... По литературе, говорите? — и насмешливо посмотрел Наде в лицо.— А я вижу, что *плохая* это литература... за такую литература в тюрьму сажают...

— Про что вы? — спросила Надя, стараясь придать наивность и невинность своему вопросу.

— А вот про то, что литература тут у вас... Пушкин, видите ли, Гончаров и... и Ленин еще... Вот что...

— А, знаю, знаю,— хотела слукавить Надя.— Это я на улице... что-то слышала, проходила и слышала... Меня очень заинтересовало, я пришла и записала...

— Так... ну, и сколько это раз вы *случайно* на такие разговоры наталкивались?.. Тут вот что ни страница — все об одном... а?

— Да, несколько раз.

— Ах, несколько раз, вот вы счастливая какая: как ни пойдете — все на разговор?.. И тут вот я вижу, что «К» сказал так, а «Ч» сказал вот так. Это, значит, как же? Это что же за «К», «Ч», кто они такие, знакомые ваши?

— Нет...— Надя замялась, не зная, что говорить.— Они не знакомые, а так... я просто взяла для удобства... одного одной буквой обозначила, другого другой... для удобства.

Офицер неожиданно поднялся с пола и, деланно вытянувшись во весь рост, сквозь зубы процедил:

— Вы знаете, *что* я нашел?

И остановился выжидательно. Надя стояла молча.

Тогда отчеканил медленно, слово за словом:

— То, что изо дня в день появляется в листовках! Да-с: в подпольных листовках... Что негодяи эти ве-

шают по заборам-с! За что мы их ловим... Ловим и... расс-тре-ли-ваем!!! Поняли вы?

Надя, дрожащая, неподвижно стояла перед офицером.

— Я... я... не знаю этого,— пролепетала она.

— Вы очень хорошо знаете! — отрезал офицер.— И не притворяйтесь ребенком, я играть с вами не намерен! Вам грозит, знаете, не тюрьма,— тюрьма что, тюрьмы мало,— вам грозит, как и *этим*... расстрел... Да-с: о...кон...ча...тель....ный рас...с...стреллл!!

И, быстро подступив вплотную, схватил Надю за руку. Она, как загипнотизированная, даже и руку не отдернула, не могла всего сообразить...

— Я... что же я...— прошептали белые губы. Она сама не понимала, что говорит. Захолонуло, упало все, оборвалось внутри. Рассыпались мысли, занемел язык, только дрожало что-то в гортани.

— И я еще говорю,— продолжал офицер все тем же задыхающимся, чуть слышным шепотом,— вы у меня в руках! Я волен сделать с вами, что захочу: и скрыть могу и предать могу... Так слушайте: я вам оставлю жизнь, я сохраню... я ничего не скажу о том, что здесь нашел, жизнь спасу... но... но... вы будете моей... Ну?!

Одно мгновенье в глубоком молчанье ждал он ответа.

Она, казалось, не поняла того, что услышала. И офицер, оставив Надину руку, охватил вдруг талию, потянулся губами к губам...

Вмиг она все поняла. Рванулась прочь, отскочила, как кошка, и, нервно взмахнув рукой, ударила звонко офицера по лицу.

— Мерзавец! — крикнула ему и кинулась опрометью вон из комнаты. Добежала до постели и в рыданьях упала ничком, тряслась всем телом от нервной дрожи...

Не понимая в чем дело, Петр Ильич со старухой, да и Павел предположили, что она волнений сегодняшнего дня просто уж не могла больше вынести и разнервничалась. Они побежали сейчас же за водой, за полотенцем. Начали успокаивать.

Дверь растворилась — с искривленным от злобы, с раскрасневшимся лицом появился офицер.

— Увезите эту девицу в подвал! — скомандовал он сыщикам.— Документы я все захвачу сам... Марш!..

Поднялась суматоха: Надя продолжала всхлипывать и дрожала всем телом; Анне Евлампьевне сделалось дурно, она повалилась на руки стоявшего Петра Ильича, да и сам старик еле держался на ногах; без кровинки в лице, потерявший остатки мыслей, оробевший до последней степени, он только приговаривал:

— Господи... господи... Что это?.. Господи!

А Павел, бледный как бумага, уговаривал сыщиков:

— Да подождите... хоть очнуться дайте... Куда она уйдет... Это бессердечно...

— Ну, живо! — скомандовал офицер, и беззубый с цыганом подхватили под руки бесчувственную Надю, поволокли на улицу.

— На моей отвези, потом приедешь! — крикнул офицер вслед.

Надю посадили в пролетку, увезли.

В доме Кудрявцевых эту ночь не спал никто. Анна Евлампьевна не вставала,— она все время была в полузабытьи, Петр Ильич стонал и плакал около старухи. Павел ходил молчаливо и угрюмо. Так бывает, когда в доме покойник. Ужас охватил всех. Старики растерялись, стали беспомощны, как малые дети, вздрагивали при каждом шорохе.

Глубокая ночь. Тишина. Только Павел пройдет среди разбросанных по полу вещей из «приданого» стариков. Или заплачет нервно сквозь дремоту Анна Евлампьевна. Или вдруг вздохнет глубоко, застонет Петр Ильич и заголосит:

— Господи, господи, что это?

Надю отвезли в подвал епархиального училища. Здесь подвалы считались самыми надежными, охраняли их юнкера. Народу было набито там видимо-невидимо. Сначала мужчин и женщин сажали в разные камеры, а когда оказалось, что места все «заняты»,

гнали гуртом, не разбирая, кто куда попадет. В такую общую камеру загнали и Надю. Ее под руки свели по ступенькам — стоять она все еще не могла. И как только подвели к дверям — втолкнули, а цыган крикнул заключенным:

— Эй, шпана, товарищи!.. Вот вам еще девку!..

И захохотал.

Никто ему не ответил, заключенные молчали. Они с любопытством разглядывали нового товарища и, когда узнали, что Надя нездорова, отвели ее в дальний угол, подняли двух, лежавших врастяжку, и на их место бережно ее уложили.

— Воды бы ей надо дать,— сказал кто-то.

— Не дадут...

— Как не дадут? Потребовать!

— Пожалуй, требуй,— не дадут все равно...

— Попробуем!..

И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал. Ему никто не ответил. Он громче — молчание. Тогда изо всей силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:

— Што стучишь, сволочь?

— Воды надо дать, тут больная...

— Иди к...

— Дай воды, говорю! — приставал заключенный.

— Дай воды, дай воды!! — закричали еще три-четыре человека, и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.

— Перестань... твою мать!! — закричал охранник за дверью.

— Дай воды!!!

И вдруг грянул выстрел...

Пуля пробила дверь чуть выше над головами.

— Сволочь!! — рычал рассвирепевший охранник.— Я дам бунтовать!! Успокою!.. Пад...длецы!!

Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятья. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.

— В чем дело? — спросили там.

— Воды сюда!.. И воспретить стрелять!!

Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.

Она уже сидела на полу: крики, а главное — выстрел, привели ее в себя.

— Что это было?

Ей объяснили:

— Воды не дают... Вам воды надо было дать... плохо себя чувствовали... а они не дают...

— А стрелял кто же?

— Это оттуда... из-за двери... чтобы не просили...

— И все это... из-за меня? — спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого рябого соседа, что поднес ей воду, и думала:

«Кто же он? Ну, и что ему я, совсем чужая? А жизнью ведь рисковал... могли убить... И что это они какие все тут дружные... А меня, как родную... даже место освободили... Положили... И воды принесли...»

С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что и смотрят они по-особенному и говорят... Это совсем-совсем другие, новые люди... Таких она не знала. Вот разве Климов один... Да, он, пожалуй, очень будет похож на них.

И, прижавшись к стене, глотнула два-три раза из кружки, потом ее отставила, задумалась... Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха,— только удручало воспоминание о стариках... Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытанье не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса,— надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь... И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем, совсем не похожих на те, что окружали ее до сих пор... Это будут новые *дела,* продолжение тех новых *слов,* которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда придет и от стариков узнает, что Надю увезли... «Он, может быть,

пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда... Мы увидимся... Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?»

— Кудрявцева! — вызвал кто-то через дверь.

Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и знать ее здесь, в подвале...

— Здесь Кудрявцева? — спросили снова.

— Я здесь,— отозвалась Надя.

— Выходи. Пойдешь на допрос.

Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов:

— Фамилия?

Она говорила.

— Имя, отчество?

Говорила.

— Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делала до 1917 и после, была ли судима и за что, к какой принадлежите партии, кому сочувствуете, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие «К» и «Ч» и т. д. и т. д.

Надя говорила ему так же, как офицеру, что записала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась ни единым словом.

Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова? — Надя ответила, что знает, и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз случайно они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно в подвал, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там и хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила ему у себя в комнате. Потом он еще опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.

— То же врет, сволочь, что и врала,— вяло уронил он следователю.

— Пощупаем, авось раскроется,— ухмыльнулся тот грязной усмешкой.

— Девочка, скажу вам, н-ну! — И офицер причмокнул, приложив палец к губам.

— Разделяю... сострадательно р...р...разделяю: товарец хоть куда! — подмигнул, подымаясь, следователь.

Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.

Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то «провалился», что состоял в городе совсем готовый штаб Красной гвардии и весь город разбит был на участки. Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей... В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя, как малый ребенок.

«Они все,— думала Надя,— что-то там делали, к чему-то готовились... У каждого была своя большая забота и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я — я что сделала?»

И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих пор не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу — к делу все еще не приступала...

Наутро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще... А вечером отобрали партию человек в двенадцать: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре... Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные и опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко,— так целуют только в дальнюю разлуку...

Прощались и с ней, и она пожимала руку.

— В расход!

Только теперь узнала она, что означает это страшное слово «в расход». И когда пожимала руку уходящему, словно отрывался вместе с ним кусочек ее собственного сердца.

К вечеру этого дня движение по коридору как-то особенно оживилось,— оно не прекращалось всю ночь — одних уводили, других приводили — и все это наспех, чуть не бегом,— только слышался топот по каменному коридору да грубые, похабные окрики. Не улеглось движение и наутро: беготня по коридору не прерывалась. Между заключенными пронесся слух, что в городе неладно, что белым, пожалуй, скоро отступать. Вслушивались в орудийные раскаты, и казалось, что ближе они, совсем-совсем близко. Всех захватили нервные предчувствия и ожидания. Метались по камере взад и вперед, друг на друга натыкались, даже сердились, даже бранились,— нервность чем дальше, тем становилась острей. Теперь одно: или, отступая, всех заключенных белые расстреляют, или не успеют, не успеют... Ах, может быть, не успеют... Может быть, в городе восстание и восставшие сразу освободят тюрьму?!

А раскаты орудийные все ближе, все слышней. Нет сил терпеть... Вставали один другому на плечи, тянулись к крошечному окошечку, но что же можно было увидеть на воле из такого чуточного квадратика в стекле?

— Что там видно, что там?

— Ничего... часовой...

И снова начинали ходить взад-вперед, метаться, как звери по клетке. Надя едва ли не спокойнее всех переносила свое заключение и эти последние, решительные часы. Она не предполагала и десятой доли того, что ей грозило в эти последние часы... На ее счастье, того офицера сегодня поутру куда-то услали из города, помнить про Надю было некому.

— Артиллерия уходит,— сказал кто-то.

Примолкли. Вслушивались в лязганье, грохот и визг. Сердце переполнялось радостью или вдруг защемлялось смертельной болью.

«Жить или не жить?.. Жить или не жить?» — мучил близкий страшный вопрос.

Вот к дверям подошли, звеня оружием, юнкера и офицеры.

— Выходи по списку!!!

«Ох, этот список!!! Роковой, последний список! Есть ли там мое имя? Есть или нет? Есть? Нет?» — каждый задавал себе мучительный вопрос.

— Горчак, Бялик, Аступченко, Пащук, Пархоменко, Бондарчук...

Перечислили до последнего,— в списке не было Нади Кудрявцевой. В камере осталось восемь человек...

— Прощайте, товарищи, счастливый путь!

— Да, теперь совсем, совсем счастливый...

Серьезные, молчаливые, пожимали руку оставшимся, один за другим пропадали из камеры...

VI. Развязка

В городе нервность росла с каждым часом. Город путался в тенетах слухов. Все говорили, что близко большевики. Кому надо, готовились к отъезду. В раде то и дело страстные прения: уходить или нет, уходить или нет, когда Красная Армия подойдет вплотную? Станичники-делегаты проще решили: смотали узелки и айда по станицам! Осталась в раде только махровая макушка, она порешила уходить с добровольцами.

События развивались с головокружительной быстротой. Уже как-то ранним утром, в двадцатых числах февраля, донеслись издалека первые тяжкие вздохи орудий. Город всполошился. Город стал неузнаваем: засеменил, заторопился, пропал в испуганной суете.

Кому невтерпеж, укладывался заблаговременно, подобру-поздорову выбирался из города.

Рада уверяла:

— Господа... господа... мы уйдем, господа, но всего лишь на несколько дней, а там клянемся поднять, взбудоражить Кубань, ополчить ее на «большевистские банды». Не будет Кубань порабощенной! Не будет, не будет Кубань большевистской!!

Так уверяла рада.

Все ближе, отчетливей орудийная стрельба; все меньше надежды, что город удержится.

И вот в последнюю февральскую, в первую мартовскую ночь по городу заскакали верховые, затарахтели авто, промчались бешено мотоциклетки... Потом грузно, надсадисто поползла артиллерия, и было похоже, что везут не орудия, а каких-то гигантских покойников. И странно было видеть среди этой мрачно отступавшей процессии то здесь, то там порхающие легкие колясочки, а в колясочках разодетых дам... Они попискивали и повизгивали, протестовали и негодовали, что не дают им свободно, быстро проехать, грозили жаловаться знатным своим мужьям. Это отступали жены полковничьи и генеральские,— охраной им была артиллерия. Позади, замыкая шествие, эскадрон за эскадроном колыхались казацкие полки и видом были мрачны, зловеще-угрюмы, как эта черная похоронная ночь. Из окон домов, из приоткрытых ворот и калиток выглядывали проснувшиеся любопытствующие жители; смотрели с изумлением и новой тревогой на это внезапное полуночное движение, понимая, что происходит что-то важное и окончательное, что оно ведет за собой и новые страхи-тревоги и новые испытания.

А похоронная процессия шла и шла, ушла за окраины, за последние городские домики, доползла к Энемскому мосту. И вдруг совсем где-то близко забарабанила пулеметная дробь: та... та... та... У Энемского моста забесилась суматоха: красные настигали.

Сбились в кучу повозки, коляски, от страха обезумевшие люди, растерянные кони, мост в минуту был забит, как пробкой закупорен. Но шашка с нагайкой сделали свое: через десять минут по расчищенному пути отступали на Шенджий казачьи эскадроны... Город пустел с одного конца, а с другого входили красноармейцы...

Происходил какой-то таинственный процесс. Город обновлялся, наливался неведомой новой жизнью. Хмуро, сердито стояли опустевшие дома главных улиц: у распахнутых дверей валялась битая посуда, поломанная мебель, солома, бумага, рогожи, веревки, осколки от ящиков и сундуков: здесь только недавно

спешно что-то собирали, куда-то увозили, дом-сироту оставляли пустым и одиноким... Смотрел он, а с ним другой и третий — вся эта недавно столь шумная, богатая, расцвеченная улица,— смотрели недоуменно на новых пришельцев. Сердито смотрели пустые бездушные окна, длинные коридоры, настежь распахнутые двери, раскрытые погреба и чуланы.

Пахло плесенью, смертью. Было невыносимо тошно, словно только-только через эти распахнутые двери и окна повытаскивали покойников, оставили комнаты неубранными, а добро хозяйское растащили...

Не было видно лица человеческого, не слышно было живой речи: где-где забился человек и, как затравленный зверь, выглядывает робко из-за угла и ожидает заслуженной и неизбежной кары. Или к воротам выползет старушка — держит на тарелке хлеб-соль, будто рада-радешенька новым гостям. Стоит и дрожит, как старая высохшая тряпица на буйном ветру: ее, старую, выслали одну, а сами домашние попрятались, скрылись, разбежались.

— Тебя, бабка, не тронут, ты стара!!

И долго стоит одна, с вытянутыми руками, с простертым кому-то хлебом-солью. Но мимо, мимо мчатся люди, не видят они старушку,— не до нее, не нужна никому.

Уж расползлась, пропала ночная темень,— вырастало теплое солнечное мартовское утро... Веселые, словно подновленные в ранних лучах, глядели настежь открытыми глазами избушки рабочих окраин. Поднялись и стар и млад, высыпали на улицу, знать не знали и знать не хотели, где тут главные начальники, где рядовые бойцы: кидались навстречу вступавшим товарищам, хватали за руки, бросались на шею, целовали их, незнакомых, вкрапливались синими рабочими блузами в зеленый лес красноармейских гимнастерок и шли вместе с ними, дружно гуторили, быстро-быстро на ходу торопились рассказать, что важно, что нужно знать, а потом про свою жизнь, про свои мучения, про долгое ожидание, про радостную встречу. И в распахнутые окна, и с крыш, и с заборов — отовсюду неслись приветствия проходившим крепкой, четкой поступью

красноармейским полкам. Перед окнами на высоких, бог весть откуда добытых шестах мотались красные флажки — и новые и старые, грязные и разодранные, часто клочок головного платка, потрепанной девичьей юбки. И на груди прицеплены красные ленточки,— даже раздобыли их мальчишки, что вот бесенятами снуют теперь и вывертываются стремглав по рядам проходящих, по толпам и кучкам стоящих у окон жителей. Где-то в стороне, взгромоздившись на ящик, что есть мочи кричал рабочий:

— Да здравствует Красная Армия!!!

И по улицам и переулкам, близкие заражая дальних,— выносили и ревели толпы стоявших бурное:

— Ура... ура... ура...

— Да здравствуют красные артиллеристы!!!

И ухнул новый взрыв нескончаемых криков-приветствий, незаметно объединившихся в *священный* гимн:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

Охватила песня от стара до мала,— и с крыш и из подвалов пели ее молодые, задорно-звонкие, пели хриплые, старые, а там чуть слышные, почти детские голоса. Полки зычным ревом подхватили гимн и грянули вместе с рабочими.

Ударила музыка, зарыдали, застонали и полились все дальше, глубже и звуки и слова удивительной мелодии...

Вот верхом на коне навстречу вступавшим войскам выносится Паценко. Он машет на скаку красным платком, что-то кричит захлебывающимся голосом. Но не понять, не разобрать его слов,— только по блеснувшим в глазах слезинкам видишь, как потрясен и как он хочет передать свой восторг, бурную радость этим мученикам и героям, что так вот спокойно, шаг за шагом, рота за ротой идут в сердце освобожденного города...

Новые и новые, новые роты и батальоны... Гуще красная рать, выше радость, горячей пламенные речи.

Вечерние сумерки проглотили и стены и лица человеческие: черная тьма в глухой и тихой камере. За дверью не слышно ни беготни, ни окриков, ни брани. Могильная, глухая тишь. Только где-то в отдалении чуть слышно странное движенье: шумит, нарастает, спадает, шумит непрерывно, как волны далекой горной реки. Но это не в коридоре, это где-то дальше, может быть, во дворе... Тюрьма притихла.

Зато по улице движение с каждой минутой все торопливей. Визг, свист, фырканье коней, скрежет машин... Улица бурно непокойна. Что это с нею сегодня, в эту черную-черную ночь?

И заключенные тихо меж собой переговаривались, недоумевая и радуясь, и опасаясь, не зная, откуда этот полуночный шум и куда он что несет с собой для них — пленников подвала. Вот как будто тише... Примолкла улица. Но не надолго. Откуда-то издалека уже доносились новые звуки: это пела масса...

— Товарищи! — крикнул кто-то.— Поют... там поют... Что это? Откуда?

Все вскочили с полу — и к дверям. Крепка тюремная дверь: не отомкнется. Примолкли. И тихо-тихо запели гимн. А там, за окнами тюрьмы, поют; и ближе, все ближе волны песни. Уже нет сомненья: огромная толпа подходит к каземату... Вот они сгрудились, кричат. Вот вбегают во двор... Ахнул резко выстрел,— вздрогнула камера... Мчатся по коридору... Вот уж у самых дверей топот, крики... Вот и дверь сорвали с петель...

— Живы ли? — крикнул из коридора чей-то знакомый голос.

И, потрясенная, крикнула камера одно только заветное:

— Товарищи!!

Надя выскочила в коридор: около пылающего факела стоял Виктор. Она кинулась к нему и не могла в волнении выговорить ни слова.

— Здравствуй, здравствуй, Надя! — пожимал ей кто-то руку.

Оглянулась: Чудров.

Это он встретил Виктора, когда тот с батальоном

вступил в город, и вместе они кинулись по местам заключения.

За воротами ждала огромная толпа рабочих.

— Ура!.. ура!..— загремело со всех сторон, лишь только они при свете факела вышли на волю.

— Да здравствуют освобожденные товарищи! — крикнул Чудров.

И новыми криками всколыхнулась ночная тишина.

При свете факелов со знаменами шли по городу толпы рабочих, а тишь прорезали стальные слова:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Сумерки бледнели. Занималась заря.

(1923)

МОРСКИЕ БЕРЕГА

(Художественные очерки)

Лунич

У каждого есть своя светлая точка в году, и каждый ту точку любит, любит и ждет, когда ей черед, когда она в черную непогодь выглянет близко-близко, словно маяк на молу. У каждого разные точки. Уж как же любо после крепкого годового труда отдохнуть врастяжку. Это тоже точка. Мы долго ждали своего череду, своей точки. И ждали не напрасно: кучей катим на Черное море, в горную глухую Мацесту. В вагоне веселья и вранья — аж лампы тухнут. Перезнакомились все промеж себя с первого перегона. Настроенье высочайшее. Надеждам — конца не видать. Что-то и люди кругом будто стали получше, словно и солнышко греет теплее, словно и грудь дышит легче, ядреней, свежей. И так охота поговорить, кому-то что-то пересказать, так охота послушать новых людей, с которыми никогда, никогда не знался, которые должны сказать тебе что-то такое, чего не слыхал никогда.

Ну, и ясное дело,— главный разговор сбивался на Мацесту.

— Окаймленная глухими горами,— рассказывал некто в чесучовой рубашке,— брошенная глубоко на

дно ущелья — Мацеста представляет собою род пещеры в горных тайниках...

Мы слушали с придушенным дыханьем.

— Тысячелетние дебри лесов,— продолжала чесуча с торжественным пафосом,— изобилуют редчайшими породами деревьев, таких деревьев, которых уже нет ныне и в Южной Америке; на горных лугах, в тучах поднебесных, пасутся стада диких коз, скачут легкие рогатые бараны, в темной тихой чаще прорычит на заре леопард, железными клыками черный колючий кабан проложит сквозь заросль свою дорогу...

Публика тесно сбилась в нашем купе — слушали чесучового не только курортники, слушали и просто пассажиры, едущие всяк на свою потребу; слушали комсомолки, торопившиеся шумно в подшефную волость, слушали проводники с казенными козырьками...

— Из недр этих нетронутых гор,— говорила чесуча,— возле самой Мацесты на высоте двух тысяч метров пробиваются в скалах и вырываются злыми водопадами серные источники; они по скалам кидаются вниз и образуют здесь соленое серное озеро — в этом озере купаются больные, там будете купаться и вы...

Рассказчик смолк и обвел всех насыщенным, торжествующим взором; впечатленье достигнуто было потрясающее — молчанием надо было его усилить до восторга.

— Товарищ, позвольте — какое такое озеро, там же ванны?

— Ну да, ванны, а я что говорю,— не смутился ничуть чесучовый рассказчик. Он слегка поправил ворот рубашки, подергал этак небрежно подбородком и сказал: — Так вот, я не закончил: из этого озера... из этого дикого озера целебная вода идет по ваннам...

В эту минуту кто-то вдруг пронзительно взвизгнул. Глядь, пыльная старушонка замахала беспомощно руками и кинулась к соседнему окну. Мы за нею повскакали враз и увидели, как в пролете окошка, словно хищная птица, мелькнуло что-то огромное и темное...

— Полушалок-то... Полушалок мой, господи!

Поезд разогнал веселый ход, густо рычали сердитые рельсы, зудели горласто скрипучие колеса, наш

засуматошенный вагон быстро убегал от бабкиного полушалка. И забесилась глупая тревога, зашумела беспокойная, скандальная суета, выползли из нор тяжелые охи-вздохи, заскакали чертенятами проклятья ловкому ворью, что на ходу выхватывает крючьями полушалки словно шалую рыбку где-нибудь на тихой заводи Оки.

Так — и ша: полушалка словно не бывало! Ну, и известное дело,— забыли вмиг чесучового мацестинского враля, только скользнул безразлично чей-то колючий сухой вопрос:

— А вы давно из Мацесты?

— Я, собственно, сам-то и не был, но...

— Не был? А врал как ладно! — прихлопнул чесучу бесстрастный собеседник.

Раздавил рассказчика тяжелый приговор. Пятком-пятком, с оглядкой да с ухмылкой уполз он, посрамленный, из нашего купе.

Разговор побежал, зашумел, засуетился вокруг вагонного воровства, ловкости и проворного лукавства вагонного жулья.

— Вот же недалеко ходить,— молвил некий почтительный дядя,— с нами, как есть, случилась быль. Едем на пролете у города Ростову. Только с вечеру и басни было: украдут на ночь аль нет?.. И приспособиться-де надо ухранить добро... Говорили это говорили, да и заснули на том... Спим, ан глядь — часа через два криком кричит сосед,— чемодан, иш... За ним другой — и тому чемодан... А третьему мешок оставили, фотографией, што ли, стеклом был набит, тяжелой: поволокли до середки, бросили, взамен стекла хоть бы щиблеты, и те утянули,— вот до чего шпана! Моя сумка под головой целехонька лежит... Ну, как встал поезд при деле — завертели с фонарем, да по крыше шарить, да в колесах аль по ящикам ловить — да где же его сыщешь, сатану,— на то и в плутах зовется, чтоб концы в воду.

— Вот так раз... Ну и ну... О-го,— поддержали кругом рассказчика.— Дак как же это все-то вы враз сдрейфили?

Дядя раздумчиво очесался и молвил глухо, словно каясь:

— Усыпили, дьяволы!

— Усыпили?

— А то как — явственное дело — сон. Можно заснуть всем по себе?

— Ну, и так-таки никто ничего не слыхал?

— Да нет, как будто... тово, чего-то я...

— То есть чего же?

— Да будто лез кто ко мне. И лезет, вроде как спрашивает: чемодан-то тяжелый, мол, дядя?

— Ну?

— Ну и ну, тут, видать, и конец: ни рукой, ни ногой — мертв лежу, в усыпленье... А сосед, что босой: и я, говорит, чего-то вроде... в горле будто першило с духу гнилого и тошнота будто... Ну же — усыпленье!.. Беспременное усыпленье...

По лицам слушавших, как мошкара по воде, скользили недоверчиво улыбки. Дядя осмотрелся сурово и тихо, под нос себе, закончил:

— Не то усыпить — вовсе сгубить могут... Из носу украдут, и не чихнешь — вот до чего подлецы охочи.

Красноперая смешливая комсомолка брякнула дяде.

— Что ж,— говорит,— интересного у вас из носу украсть? Одна неприятность...

Купе вздрогнуло от хохота. Полушалая старушка метнулась от стрекачей, почтительный дядя пробурчал что-то глухо и смущенно и тоже оттерся в сторону, на месте осталась зеленая смешливая молодежь. И сам собою перебился, переломился разговор: забыли враз старушкин полушалок, забыли дядю, говорившего про чемоданы в носу, застрекотали про иное, кто во что горазд:

— Первый раз городского в деревне навсегда со смешком встретят... А что ж тебе от того смешка: перемоги,— значит, дурак, коли сразу не понял.

— ...А у нас только и было, что три пионера...

— Дрались бабы, не то што... а нынче...

— Никакого многополья! Никакого! А агроному зубы было выбили прочь... Мало ли што! Теперь по-

гляди... То-то!.. В шесть рядов нагородил... Пол-избы поди: тут себе и по землеустройству... Ленин стоит... тыща томов!

— Не кооператив, говорю, дворец на селе!

Зашумел, зазвенел молодой разговор про советскую деревню: про цвет-надежду крестьянскую, про галчат-пионеров, про комсомольских петухов, про темных деревенских баб, что порют ребят, пугаются ячейки, не пускают дочек в город на отраву, про сельские кооперативы, артели, про коммуну, про урожай... Гляжу я на них, красноголовых комсомолок, думаю:

«А про что, девушки, ехали — говорили бы вы десяток годов назад? В какую тугую сеть запутаны были бы ваши мозги? Как по-иному работали бы ваши мысли. Эх, комсомолки, счастливое вы племя!»

Мы стоим у окна. Говорит Гаврила Лукич:

— Я тридцать семь годов на «Большевике» молочу, всю свою жизнь, могу заявить, ремеслу своему подарил. А жил весь век все одно как пес... не то што там удовольствие жизни... Да и где же я думать мог, чтобы вдруг на Сочу? Наш хозяин, как есть, кажан год там катался, это правильно! А что же касаемо нашего брата, мы только слушали про господскую эту Сочу... Гм... Накося, на курорт! Вот оно што выходит, коли власть-то своя...

На желтых морщинистых щеках, по сухим губам Гаврилы Лукича пробилась из глубины широкая ровная улыбка и осветила все лицо. Он стоял такой высокий и сутулый, даже теперь, в жару, не снявший ни кожаной тужурки, ни комиссарского черного картуза,— стоя у окна, сосал черную вонючую трубку и улыбался своим мыслям, своим словам.

— Один едешь?

— Я-то? Какой один! Нас тут, почитай, два вагона набузили: с одного «Большевика» сорок три елемента.

— Это здорово!

— А то нет? — подхватил Лукич.— Теперь сорок три, да опять сорок три... да целое лето шугать: весь завод, надоть, лечить будут... Ладно уж псами в

закутках быть — не все злому аспиду, и нам пожить охота!

Он осанисто поднял голову, распрямил сутулые плечи и, наивно, по-детски моргая подслеповатыми глазами, пытался отразить на лице своем достоинство, гордое достоинство человека, узнавшего себе настоящую цену.

Я чувствовал в голосе Гаврилы Лукича торжественную, все выше, выше нараставшую ноту; что-то булькало и вздрагивало у него в горле, словно душил изнутри его страшный напор, то забивая наглухо речь, то раскатывая ее переливчатым улюлюкающим горохом, то вдруг вышибая высокими, резкими, гордыми выкриками. Лицо Лукича озарилось, как у ребенка, темные глаза стали светлы от восторга, пропали морщины с желтого длинного лица, и лицо стало прекрасно, омолодилось внутренней моложавостью, ядреной свежестью всего его существа.

— Тридцать лет не замечали, злые аспиды, что скот, что человек маялся в трудной доле... Мог ли я думать, ждал ли я когда, чтобы сам директор — теперешний, не тот,— чтобы подошел он ко мне, как бы ты вот стоишь, подошел да сказал: «Долга твоя жизнь, Гаврила Лукич... Велик твой труд, Гаврила Лукич... А радости в жизни не знал ты, товарищ. Так вот за работу твою долгую да честную — мы, все рабочие завода, дарим тебе орден!..» Вот он... орден!

И Гаврила Лукич распахнул кожаную тужурку. На груди его широкой сочной печатью красовался орден Трудового Знамени. Замер на минутку Лукич, глядел остановившимся, невидящим взглядом в пустое окно, пока разглядывали мы его орден, и сказал тихо и поучительно:

— Эта железка — тьфу! А вот уваженье да память обо мне — эт-то да! Ведь це-лый завод в собраньи стоял, бабы аж плакали, смотреть нельзя, когда подошли это ко мне все мои товарищи да ручку пожимают, да целовать меня стали, а сами, гляжу, опять же плачут с радости... Как я вынул тогда руку из кармана, поднял ее кверху, вот так, чтобы над самой головой, и говорю: «Верно, товарищи, будто всю жизнь я жил

как пес непригодный... Верно, что семейство мое (семеро!) тоже, окромя горя, не знало жизни... А теперь такой вышел момент на роду моем, что заметили, добром помянули меня... не все жить по-собачьи: шабаш! От этого дня, говорю вам крепко-накрепко: коли меня в пример да работу мою напоказ ценить, как и нельзя бы оно лучше, а я наддам, наддам паров на работу свою: это вам мое слово!»

— Оценить человека—большое дело,—говорю ему.

— Ну, как же не большое, коли работа весело идет! Я што ж, по себе — я за жалованьем, к примеру, большим не гонюсь, мне денег много — куды их? А вот ребят троих — учут; а вот бабе на родах — опять же помощь какая ни есть. Чего мне — уехал теперь, и горя мало: на месяц шесть им червяков оставил да в кооперативе кредиту на три червячка... Себе взял три: плохо? То-то и оно.

Потом разговор перешел на производство,— тут Гаврила Лукич как рыба в воде. Шутка ли, аэропланы сготовлять! Вдавался он во все тонкости, в мельчайшие детали своего производства, а я стоял и серьезно, вдумчиво слушал про эти коленчатые машины, про цилиндры, поршни, винтики, стержни, рычаги, шестеренки...

Вся эта мудрая гамма в смутных образах плыла перед моим воображением подобно многоцветному сонму туч, изнутри озаренных солнцем; вся эта мудрая гамма знаний была живой, родной и близкой действительностью для самого Лукича, была неотторжимой частью его самого.

Познакомился близко я и с другими ребятами с «Большевика»,— вместе мы ехали почти до Сочи,— там где-то, около, у них совхоз. Мы, помню, расставались с печалью, мы искренне заверяли друг друга, что не раз приедем, что будем часто видеться, что тут близко... Но после не видались ни разу,— у каждого жизнь пошла своим чередом. Ну, как ты поправился, Гаврила Лукич? Встряхнул ли силами, что «злые аспиды» выматывали из тебя, высасывали долгих тридцать годов! Мой привет тебе с этих строк, кавалер трудового ордена, Гаврила Лукич!

Путь

Мы мчим по Украине. Ядрены золотые хлебные поля — в этом году ждут урожая, как ни в одном из прошлых.

Бескрайны заросли ржи и пшеницы, бесстрастны и строги густые кукурузные дебри, мягки и нежны желтые простыни сочной гречихи, залиты солнцем тучные, пестро цветущие луга Украины. Нет кругом конца зеленеющим просторам, теряется, вязнет взор в пунцовых паутинах горизонта. В чистых, высветленных солнцем поселках играет легкая праздничная суета, и на лету, из вагонного окошка кажется, будто и жизнь-то вся там такая же солнечная, веселая, легкая: труда и горя людского не разглядишь из вагонного окна,— труд, чтоб очувствовать, надо взвалить себе на горб, а горю надо пристально взглянуть в глаза — только тогда их поймешь как надо.

Сидели крестьяне-мужички, охали, вздыхали, что трудно с налогами; сидели женщины-крестьянки, вздыхали о трудном хозяйстве, о большой семье — мал-мала меньше, говорили про дорогую одежу-обувку, про засол грибов, про скорую картошку, капусту, про жниво, про удой... И сквозь эти тусклые жалобы-тревоги быстро и смело, как утренний луч, скользнет вдруг какая-нибудь остроглазая мысль про избу-читальню, про беседы там по хозяйству, юркнет весть о комсомоле, упадет цветочком алым пионерский знак,— это строится новая Украина, новая советская деревня.

И от птиц комсомольских, от пионерских алых цветов — расправляются глубокие морщины на крестьянском челе, веселеет взгляд, есть на что ему глянуть, есть чего ему ждать.

Бежал, все бежал шумный поезд в зеленых, солнцем облитых просторах. Белым голубем мелькнула деревушка, солнце играло бликами по бледным скрижалям; около деревушки на тихом, пустом лугу отдыхало ленивое сытое стадо... Вдруг поезд стал.

— Человека задавили! — крикнул кто-то.

Мы бежали туда, где с носилками стояли люди.

Они повернулись, ушли пустые, говорили промеж себя:

— Раз головы нет, чего и на носилки брать...

— В деревню возьмут... Без головы не лечут...

Дело было очень просто.

Мальчуган-пастушок из этой солнцем высветленной деревушки под зноем разомлел и уснул, уткнувшись на холодные освежающие рельсы. Ему напрочь оттяпало голову — на пути осталось только жалкое обезглавленное туловище, и казалось, что он все продолжал еще спать крепким сладким сном, съежившись жалким комочком, вогнув худые короткие ручонки под живот.

Скупо постояли над трупиком босого, оборванного, замызганного пастушонка и ушли. Уж настоящими слезами над ним поплачет обезумевшая с горя мать,— побежали сказать ей про беду в ту самую светлую деревушку, где из вагонного окошка на ходу видишь только легкую и радостную человеческую жизнь.

Паровоз набрался духу, запыхтел недовольно и сердито, бесстрастно побежав по полям и лугам, а окровавленный безголовый труп пастушонка остался лежать среди душистых, воздухом и солнцем залитых зеленей.

Были в Ростове. Помню я этот мрачный, скучный город по 1921 году. Узнать ли клоаку, центр всяких эпидемий, где на вокзале неделями больные люди ждали каких-то и кем-то назначенных очередей, спали вссыпную на грязных и скользких каменных плитах, потом бежали к бесконечно долгим лентам людским и долго в них стояли, ждали, бранились, дрожали от гнева, от холода, с горя. И снова возвращались, удрученные, ко вшивым своим лохмотьям где-нибудь в вокзальном углу или просто на большой вокзальной дороге, посреди полу, где лихо расхаркиваются на стороны терпкие плевки, где матерная брань в воздухе повисла, как над падалью голодный вой...

Люди ждали — не дожидались, ждали и умирали в тифу, в кровавой дизентерии, умирали с голоду, от истощенья, с безвыходной мертвой тоски.

И сам город стоял тогда знойный и серый от едкой

пыли, смугло-черный от угля, неумытый, разоренный недавними кровавыми боями, стоял разрушенный, злой и неприветный. С Кубани в центр гнали хлебные эшелоны — центр совершал тогда первые шаги великого исторического поворота (Ильич уж сказал свое мудрое слово!); центр запасался хлебом, чтобы уход с разверстки к налогу не положил на лопатки измочаленную, усталую, голодную страну.

Разбитая и раздерганная магистраль героически выдерживала страстный напор транспортов, напор, продиктованный смертельной нуждой; стальная магистраль пути только-только начинала думать в те дни о возрождении — возрождаться еще не начинала. И Ростову, такому чуткому центру огромного раненого организма, надо было выполнить небывалой важности и величия историческую миссию, надо было помочь стать на ноги быстро и крепко нашей стране. Шли на север тугие эшелоны кубанской пшеницы, с севера шли составы иваново-вознесенского ситца,— и до этих ли было очередей на станциях и полустанках, до этих ли отдельных, стократ несчастных, застрявших по дырам людей, когда на карту поставлена была жизнь всего советского организма!

Привет тебе, чумазый от пыли и копоти город, привет твоему рабочему люду, что в тяжелую годину вынес на себе непосильную историческую ношу!

За Ростовом кубанские равнины: ни гор, ни лесов,— только развернут до горизонта — и к морю и к подножью гор — зеленый ковер. В этой житнице — миллионы пудов зерна, эта житница ставит советский мир так крепко на ноги перед хищным заморским рынком! На Кубань всегда с ожиданьем смотрят и белый Запад и золотой Восток: мы оттуда ждем урожайной укрепы, враг ждет своего: нашей неудачи. По Кубани, по этим вот сырым полям, по камышовым зарослям, среди плавней и лиманов — давно ли, давно ли перестали рыскать бандитские орды, наводя смертный ужас на крестьянина, на работника, казака? Давно ли Врангель под властной рукой талантливого Улагая выплюнул сюда свой десант, давно ли подкатывал тот десант под сердце беременной невзгодами

Кубани, давно ли? И помню, как встрепенулась, ощетинилась она штыками, как светлая голова и железная рука Левандовского собрала в кулак живую силу Кубани и треснула по лбу с размаху мучителя. Он ляпнулся в море,— там ему и могила.

Многострадальные кубанские равнины! Слышим мы теперь и знаем, как в эти четыре мирных года разгрызли вы тугой советский орех, как трудом-трудом-трудом, бескрайними сочными пашнями, избами-читальнями, советской школой — как вы показали свое нутро.

В Армавире ночью. Красоты горные начнутся только на заре, от Белореченской, и там уж до самого моря, до Туапсе. Теперь спать! Но краток и чуток сон: чуть ударился бледным туманом рассвет — мы повскакали. В распахнутые пади окон жирно вливался свежий воздух гор. С непривычки первое время треплет дрожь. Но какая ж красота кругом! По горным склонам, насколько хватит взора, зеленой шершавой щетиной уплывают громады лесов. В этих кавказских лесах до сих пор есть места, где не ступала еще никогда человеческая нога: в этих лесах любимый приют сердитого черного медведя, много тут кабанов, много всякой лютой и нелютой живности, а в горах — дорогой руды. Справа только горы, и на кручах гор — чернеющие спины бескрайних лесов, слева — прозрачная черная речка, странно легкая, гибкая, тихоструйная,— такие редко бывают в горах. И вспомнил я, как по Грузинской дороге, недалеко от Дарьяльского ущелья, несется горная река Кистинка. Та мчится с бешеным, с грозным воем, вся седая, как мыльная пена, срывает камни по пути, ревет исступленно, словно раненый зверь — далеко слыхать ее по ущелью. А эта тихая, будто монашка,— видно, вышла она не сдалека, не свысока.

По пути встречаются мелкие станциешки, они, подобно серым птичьим гнездам, прицепились на скалах, и дивом дивишься: как только висят, не повалятся? Ехали зеленью, горными шумами, дремучими

лесами, то опускаясь, то подымаясь, откручивая дорогу сюда и туда. И вспомнил я иные месяцы, иные дни — они еще так недавни, так свежи в нашей цепкой памяти! Глухой конец восемнадцатого года. По голодному, обглоданному пути, с Новороссийска, через горные перевалы вот сюда, на это шоссе, на эти вот тропки выходила многострадальная Таманская армия. Передней колонной командовал Епифан Ковтюх. У Ковтюха железная воля, у бойцов ковтюховских каменная рука и соколиный глаз, но у врага так много английских пулеметов! За колоннами бойцов тянулись сотни подвод и в тех подводах сидели бойцовы старики и старухи, сидели жены, крошки дети: все уходили с родной Кубани в безвестную даль. Шли голодными, иссохшими горами, питались горной ягодой да хищной казацкой пулей, но впереди шел крепкой поступью командир Епифан Ковтюх, и за ним колонна грудью прокладывала себе путь под английскими пулеметами, с ножами и бомбами, штурмовала врага, губила его губительные атаки.

Вот здесь... по этим самым тропкам... Где вы теперь, соколы-таманцы? Много ль вас осталось в живых? Пашете пашню поди на родной Тамани, да теплым тихим вечером, когда за морем спустится багровое солнце, рассказываете детям, как восемь лет назад в глухие осенние месяцы шли вы по мертвому Черноморью, лбом и сердцем ловили казачью пулю, шли каменным неумолимым ходом за каменной фигурой своего могутного вождя Епифана Ковтюха!

Синей птицей в прореху гор нырнуло море. Мы близко к Туапсе. И лишь только завидели, заволновались театрально, самые тихие впали в козлиный восторг.

— Море! Ах, море! Вот оно, море! Ничто я не люблю так, как море!

— Кашу больше любишь поди,— заметил спокойно Гаврила Лукич. И все рассмеялись. Тогда он добавил еще вразумительней:

— Вода и вода, нешто соленая только... Вода бывает и в кадушке... Ну, слов нет, тут побольше... А по делу глядеть — одно и то же!

Словно ушатом ледяной воды обдал он своими едкими словами восторженных козлят. Деланный пафос утишился, говорили проще, без пыли в глаза.

— Видал я море,— рассказывал Гаврила Лукич.— Очень видал и даже всяко: потише и в штормы — ну, всяко... А скушно!.. Минуты на три хватило моих радостев, а то нет: скушно. Вот на Волге у нас,— сам я оттуда,— это вот — что надо, там год сиди у воды не емши, и то не скушно... Да вообще... и горы эти, как погляжу — только что сразу, а то...

Гаврила Лукич недовольно отмахнулся.

— То ли дело в лесу у нас, положим... Н... ну, уж... Это, что называется, сущая красота, а тут... эх!

Приехали в Туапсе. Поезда ждать два часа. Сегодня воскресенье, по воскресеньям здесь базар: айда, ребята, на базар! И вот мы толкаемся среди лотков с живой камбалой, среди ящиков сушеной рыбы, лавчонок, где навалена грудой всякая снедь, понавешаны цветные восточные платки, где так много фруктов, сластей, словом — базар, как все восточные базары: сладкопрян, душист и многоцветен. Впрочем, мелок, и какому-нибудь ташкентскому, самаркандскому — во внучки под стать!

Солнце сладко топит уличный жир. Такая тут терпкая духота, такая горячая, сжигающая атмосфера. Мы в гору пробираемся, к центру города, находим там «европейскую» парикмахерскую, а парикмахером в ней... бывший полковник! Преудивительное дело! Впрочем — на Кавказе всего насмотришься. Лазили, лазили, воротились на вокзал: скоро уходил сочинский поезд. Кураг-то (то есть курортный агент) в шапке с красным околышем, по всем видимостям имел от кого-то строгий наказ с больными не браниться: уж как мы его не теребили, как ни бранили, как ни пришпиливали по разным случаям — нет, молчит, окаянный, ничем его не проймешь, милягу. Подали поезд, вагончики в нем воздушные, открытые, на манер дачных, что ли.

— Много ли ехать?

— Да верст восемьдесят, не больше.

Ну, думаем, часа через два-три на месте. То-то ду-

мали: ползли ни много ни мало... девять часов! Впрочем, администрация тутошняя заверяла нас, что недельки через две дорогу сладят, закрепят, и тогда путь будет вдвое короче: на целых четыре часа. Но нам-то что до того: это ж еще через две недели! Не ждать же тут, пока ее сладят, сердешную! Ехали долго, это верно, но ехали вовсе не скучно: народ в вагончик набился веселый, грохнули песню, за песней другую, потом сказки, анекдоты тарабарили, потом подъедали оголодавшие у кого что осталось, на остановках выскакивали оживленной оравой, скупали там пирожки, разную сладкую снедь, пили квас, молоко: у кого на что хватало духу и денег.

Едем все время берегом моря: справа водное темно-синее лоно, слева горы. Какой-то чудак долго пристально смотрел по морю в бинокль, наконец оторвал глаза, протер, вздохнул и молвил:

— Ей-богу, вижу.

— Что? — спросил его сосед.

— Да Константинополь, ей-бо!

Мы все переглянулись, хотели ощупать парню затылок, а потом кто-то отшутился:

— Не трожьте... Он вовсе парень ничего, только... только хворает острым расстройством характера...

Посмеялись да кстати отняли у «турка» бинокль, чтоб не высматривал турецкие секреты.

Ехала с нами пожилая фельдшерица, надо быть, из-под Харькова — куда-то к родной сестрице, что около Сочи торговала цветами. Было этой фельдшерице только тридцать четыре года, а вся кругом седая, как писчая бумага. Стряслась с ней в жизни беда: четыре года назад потеряла любимого мужа, потеряла ребенка, обоих разом в тифу. И обезумела с горя, побелела. Не знаем, такая ль она уродилась или горе-тоска ее так отработали,— только странная была эта фельдшерица: наивно-ласковая, до смешного нежная и предупредительная, доброта ее и кротость смахивали на легкое помешательство. Надо ли соли кому, ложку достать или что другое — она кидалась к своему чемоданчику, быстро-быстро его распаковывала, доставала что надо, с ласковой тихой улыбкой подавала.

Стоял ли кто-нибудь в дверях — она торопливо подходила, словно опасаясь, что другой кто-то может подойти еще раньше, предупредить ее; подходила к стоявшему, начинала уговаривать его, чтобы сел, предлагала свое место, приговаривая:

— А вы сядьте, сядьте...

— Да сидите же вы сами! — бормотал тот смущенно.

— Я — ничего, постою, постою я... Садитесь, пожалуйста,— мне и постоять можно — что такое я...

И она уничижительно, смущенно улыбалась. Вот эта-то фельдшерица и затеяла с питерскими рабочими несносный разговор.

— Товарищи рабочие!.. Товарищи рабочие! — тараторила она, и от этих сладеньких слов всем делалось неловко.— Вы, товарищи рабочие, там на заводе у себя аэропланы строите?

— Аэропланы.

— Чтобы защищать Советскую республику, а?

— Надо быть так,— отвечал ей нехотя рябой, высокий парнюга.

— Отстаивать будете свои советы? — словно по букварю бубнила фельдшерица...— Правильно: вы же их и добыли мозолистыми руками...

Ежились рабочие к окошку, чувствовали острую неловкость, не знали, что ей сказать на этот приторный, сахарный сироп. Фельдшерица испортила, затуманила было на время общее веселье, но нашелся умный человек, спас положение:

— А это вы не читали?

И хлопнул с ладони на ладонь тем самым кавказским путеводителем, где столь много небылиц наплетено про Мацесту и про иные милые места.

— Что такое? — встрепенулась фельдшерица.

— А вы вот посмотрите,— и подбросил ей книжонку.

Она впилась. Оборвалась ненужная, сладенькая брехня,— мы грянули «Славное море, священный Байкал»!..

А вот и Сочи! Вот и новый сочинский «кураг» с красным околышем; без дальних слов мы держим

путь на него. И не напрасно: кураг усаживает нас в авто, авто катит нас в «Ривьеру» — это, можно сказать, первоклассная гостиница на морском берегу: неплохо скроена и крепко сшита! Около «Ривьеры» и наш регистратор: только через эти врата можно пройти в мацестинский рай: иного нет у нас пути, в руках у нас путевка! Постояли в очередях, как водится, побранились. Да и как не браниться: на этакую ораву больных посадили одну разнесчастную девушку; она попугаисто вопрошала: имя? отчество? фамилия? лет? И пошло — пошло — поехало. Часа четыре ждешь — стоишь,— одну-то!

В регистратуре милый седенький старичок полазил мне добродушно по груди и заявил чревовещательно:

— Н-да... надо лечиться!

— Серьезно? — спрашиваю, удивленный его открытием.

— Ничего серьезного...

— В чем же дело?

— Лечиться надо,— подтвердил он убежденно.

Я не стал его дальше терзать праздными расспросами — старичок уж крепко стар, да и вряд ли слышит толком все мои слова, потом ведь у него, как и у нас, могут быть, ах, эти нервы-нервы-нервы!

Я сообщил только ему приятельски и громко:

— Вопрос ясен: надо лечиться!

Он сочувственно кивнул мне головой — видимо, расслышал сказанное — и мы дружественно расстались. Кончено: завтра утром на Мацесту!

Ночью шумело море. Луна баловалась на волнах, сверкала по воде оловянными бликами. Падала широкими серебряными простынями, тонкой сверкающей лентой уходила куда-то далеко-далеко в морскую черную темь. Плескались волны о камни, камни тихо шуршали по пляжу. На берегу нет никого: в последних шумах засыпает «Ривьера». В этакой красоте хорошо посидеть на пляже, пока не рассмотришь его на свету, пока не узнаешь, что весь-то, весь он, бедняга,

проплеван на два километра вглубь! Сидел я, любовался лунными шутками и думал: как же, должно быть, теперь хорошо на Оке или на Талке-реке, где шумит за спиной не «Ривьера», а наш ядреный сосновый бор!

Мацеста

От Сочи на Мацесту ходят авто: огромные, удобные автобусы. Свежие курортники ночуют здесь в прекрасном, чистом, светлом здании — в распределителе. Дом — в саду, в густом пахучем раю, где в зелени так много птиц, а сквозь зелень так сочно голубое небо. Чуть проснулся день,— один за другим подплывают авто, проглатывают горстку за горсткой ласковую шуршащую толпу и аллеями, мимо каменной «Ривьеры», катят по Сочи. Сочи легок и тонок и чист, как цветной сартянский шарф, в Сочи много воздуха и солнца, в Сочи шум от морского гортанного клекота ударяется в говор пахучих магнолий, и в безмолвные южные ночи над спящим городком стоит янтарная тихая музыка. Пыльны дни, когда суета в разгаре, но не испить блаженного, строгого утра, не надышаться, не налюбоваться свежими, остуженными вечерами, когда расплываются крепкие, щекочущие запахи, когда отдыхает городок от забот дня.

Бежит гигантский, грузный, груженный до края авто, и содрогается жутко дряхлый мост,— седая старина, вояка, державший на хребту своем десятки десятков тысяч и белых и красных войск. Теперь, говорят, сняли ему старую шершавую кожу, вделали крепкие кости, омолодили старика: не узнать! Бежит, бежит авто по широким солнечным улицам, мимо садов и скверов, мимо открытых лотков, где так много спелых абрикосов, пунцовых, как ранние девичьи щеки, много персиков, истекающих знойным соком, словно зрелым желаньем от девичьих губ. Там впереди, где уходит на гору гладкое, просторное шоссе,— там кончится Сочи, и помчит авто мимо старейших санаториев, мимо богатейших, великолепнейших дач

изгнанных баронов, угробленных банкиров, покойных господ — теперь в этих дачах лечат рабочих: каково, знать!

Путь до Мацесты — двенадцать верст: двенадцать верст незабываемых первых впечатлений, когда от восхищенья замирает дух.

Есть две Мацесты — Старая и Новая. Мы на Старую, а Новую видим только на перепутье. Источники серные на Старой, а сюда, в ванны, воду подают трубами. И весь путь по большому шоссе и по горным тропкам — все идут, и едут, и идут, словно паломники, на серные ванны: это те, что лечатся помимо санаториев. Ползут из ближних и дальних дач, из домов отдыха, из отдельных квартир, из глухих аулов, с гор,— спускаются в черных мохнатых папахах, черных бурках горцы, сверкают спелыми маслинами глаз, то на конях, то пешие пробираются на Мацесту и там, где-нибудь в тени, выстаивают часами, ждут свою очередь. Далеко кругом знают целебную силу мацестинских вод. Уж давным-давно дикие горцы почитали как священные эти серные источники и ходили на поклон неведомому духу, что в этих вот серых скалах и темных пещерах, где бегут серные струи,— оплодотворял живительной силой священные воды Мацесты.

Бежит, все бежит авто, минуя дачи, санатории, мелкие домишки поселян, обгоняет путников, кружит по скатанным излучинам шоссе, а шоссе и гнется и вьется, срезается нежданными срывами на морскую зыбь, всекается в стойкие стены чащи, то вдруг затеряется в темной пасти лесов, то вспыхнет сквозь зелень глянцами, как обнаженная прелесть загорелой здровой груди — в зеленых глазах тихого моря.

За тупым углом скалы — дорога круто вверх. Справа — в зелени горы, слева — бесшумная голубоглазая Мацестинка. Не верьте кротким заводям светлых девичьих глаз — горские девушки знают страсть, которая испепеляет сердце.

Не верьте голубой тихоструйной Мацестинке — в горные ливни сносит она мосты, сцапывает, как муху, грузного, тупого, могучего быка, крутит его в пу-

чине. Напруженная страстью и силами, мчится она, победоносная и гордая, смело и щедро плещет мутные волны на скалы, на эти скалы, что смотрятся гордо теперь в ее покорные, чуть звенящие голубые глаза.

В запахи гор, лесов и трав вдруг ворвалась чужая, острая волна. Вмиг в ладонях скрылись лица, веселым невысмеянным смехом вспыхнули глаза. Мы глянули вниз. В светлые воды Мацестинки впивались серные струи, и ложе реки было бледно: выела едучая сера замшелую покатость дна.

Улыбнулись приветливо сквозь иглы колючих сосен белые, легкие стройки, вскрикнул приветно авто на последней аллее и с бурлящим, сдержанным ревом вплыл в распахнутые ворота Мацестинского парка: стоп!

Недоверчиво, сомкнуто держимся кучкой в чужом потоке «курболов» — курортных больных; назавтра мы сами, влившись в этот поток, станем глазеть на приехавший новый авто, откуда сползет так же подозрительно новая горстка людей.

Тащат вещи санитары, как белые кошечки, обнюхивают нас ласковые сестры; глядят в упор спокойными серьезными глазами молодые врачи. Мы смелеем.

В приемной держат мало, разводят по белым кельям-комнаткам: начинается санаторное житье.

День за днем — новые люди, день за днем крепнут силы, врастаешь, как дерево в землю,— в эту новую жизнь, и в ней, как во всякой жизни, свои тревоги, свои радости: жизни бесстрастной нет нигде, про нее только зря говорят врачи Санупра. В этих радостях-тревогах обрастаешь друзьями, а то и недругами; какою-то неведомой силой расшибаются или сплачиваются в грудки люди, и каждая грудка живет своей особой жизнью: смыкаются в целом потоке только на общих походах, да и тут не всегда.

В Мацесте два санаторных корпуса: главный на горе — этот стоит, как белый замок, и в вечеру, когда горит в огнях, виден издалека; второй корпус — на речке, внизу, зовется Кулешевкой, а прозывается

Лягушевкой — вечерами там стоном стоит лягушечий кряк.

День санаторный, что деньги в купецкой мошне,— сосчитан точно: каждому часу свое назначенье, каждый час на ответе. Утром, в семь, на ногах. А дальше — весь день, через час, через два — трамбуешь шипящий протестом живот: кормежка на зиму. В семь — на ногах и — опрометью к ваннам. Там висит заповедный листочек: очередь на купанье. Были молодцы, страдавшие бессонницей, прибегали сюда чуть не с солнцем, чтоб только побить рекорд, записаться первому. Бывали и споры, бывало и чуть не в драку: нервные — один ответ! Рассыпались по зелени парка, ютились по скамейкам, отсиживались по ступенькам — ждали сестрицу с карандашом, с билетиками. А когда приходила, штурмовали лихо.

— Мне деревянную. Ой, сестрица, мне врач прописал деревянную!

Происходили споры, скандальчики, и тут сестрицу всячески околпачивали, устраивали всевозможные шахер-махеры, надували, ласкали, припугивали. А всего и спору из-за того, что ванна деревянная подлиннее других на пару-другую вершков. Чудны, господи, дела твои на этом свете — не знаю, как на том!

В ванне сидишь — чистая лафа. Из ванны вылезешь — багров, как свекла. После ванны два часа отдыхать (плоховато на этот счет — первый из сотни, каюсь, грешник: редко отдыхал).

Сказать надо правду: многое к концу переменилось, нравы ушли вперед, пропал и заповедный листочек, крепко вправили и нас, сердешных, в санаторную оправу. И мы не то что браниться — благодарили, курболу всегда приятна плетка, и чем она жестче, тем он ее больше хвалит.

Посиди вот тут на приступках — посмотри, кто идет по ваннам, что за народ.

Эти вот шестеро — донцы из рудников, они полжизни живут под землей, они в восемнадцатом били Каледина, в девятнадцатом отбивали Деникина, теперь они бьются за высокую продукцию. Прислепы в щелках мутные глаза, сух хруст в трескучих коленях,

бледно-серы, словно заспаны, истомленные лица: думают месяцем вытравить то, что копилось десятками лет — недуги.

Вот этот, что на костылях, еще вовсе молод: тридцать четыре года! Ты дал ему пятьдесят? Ну что ж: посиди и ты восемь лет в сырой одиночке, вынеси эти тупые жандармские побои, голодай пятнадцать дней и снова, все снова целые годы распинайся на скользком полу тюрьмы... Посмотри на эту сморщенную, как гриб, клохчущую глухо старушку: ткачиха, кажется, с Орехово-Зуева, сорок лет журчит на производстве! А эти, видишь: вон бьется в вечной судороге рука, после ран и контузий она в параличе; вон голова мотается словно игрушечная,— над ней в бою грохнул снаряд; или этот, с блуждающим дико, опустошенным взором: его по горло зарыло землей; или вот что в кресле, у него иссыхают ноги: он потерял их в мокрых окопах, в осеннюю стужу. Встань и поклонись им: это мученики, чьими силами и чьей кровью жива советская земля! То на полях Украины сражались с немцем, с Махно, то на Белом море брали на мушку английское коршунье, то по Сибири гнали Колчака. И куда ни глянь — все это рать бойцов — ткачи, горняки, литейщики, батраки из деревень, мученики польских застенков: что человек — то целая книга!

И дивные совершаются дела: на глазах у тебя выползают калеки из кресел, костыльники бросают свои костыли, наливаются жизнью, здоровьем хилые человеческие скелеты.

Не разгадана еще сила мацестинских вод, бьется над этой тайной много больших заботных голов, но и то, что добыто острой мыслью,— служит великую службу человеку.

Мацеста кругом в горах — потому в ней так тихи, безветрены дни, величавы покорные горные ночи. Здесь ни удушья, ни зноя — здесь над ущельем ходят легкие волны горных дыханий, целомудренно чистых, как дыхание младенца.

По голубому, глубокому небу любят легкие пушинки облаков сплетаться в кружевные хороводы,

и те хороводы низко парят над горами, целуя влажным поцелуем густые зеленые кудри лесов.

— Ишь денек какой выдался осторожный...

Метко сказано: эту сонную прохладу как же назвать иначе?

— Товарищи, а ну на Орлиную гору!

— Как на Орлиную? Мы же после обеда... мертвый час...

Над чудаком-новичком посмеялись, объяснили ему, что послеобеденные часы потому и мертвыми зовутся, что в санатории мертво, нет ни души по кроватям.

(Ох, ушло и это времечко: дознались врачи, нарушили нашу волю!)

Долги ли сборы, мы через пять минут на ходу. Как только из дверей санаторных — в гору, в лес. И поплывет, развиваясь, дорожка, то собачонкой подобострастной визжит и юлит под ногами, то строгой стрелой взлетает вверх: сухая, точная, неразговорчивая. Густы леса Мацесты, много в них тени и влаги, соком густым исходит тучная зелень. Слева, совсем бы, казалось, рядом — гора Ахун: она владычица всех вершин, она лесистым скатом держит крен до самого моря.

Вверх, вверх, все вверх тонкой и легкой ладьей уплывает тропа. Уж потны груди, дыханье часто, сердце колотится: чит-чит-чит! А так бы хотелось скорей до цели. Лежит по пути сваленный в бурю гигантский бук: ранила молния в самое сердце красавца гор, и он повалился, ударом сраженный, ударился оземь хребтом, пропаленным насквозь, и вот все хилеет, хилеет, гниет на глазах у цветущих собратьев, проеденный червями в сердце, иссохший в труху.

На этом покойнике мы отдыхаем, копим силы, смиряем сердца и снова, теперь уж до самой горы, шагаем, подобны паломникам, настойчивым, медленным ходом. И вот на скале: за этот ствол возьмись руками, голову в пропасть чуть запрокинь и увидишь там где-то, в черном зияющем дне — темно-зеленый просвет дикого озера.

Из острых расщелин скал водопад гневно срывается в пропасть, и шум его горным раскатным эхом доносится к нам наверх, на скалу. Слеты и срывы гор

заросли одичалой хвоей; хвойная заросль темным пятном пропадает в глушь бездонной пропасти, без птиц — молчаливая.

Мы вырываем булыжник, дружным усильем толкаем вниз, затаим вздох и долго, долго слышим, как мчит он на дно и скачет, минуя уступ за уступом, все тише, тише, тише — пока не замрет гул, пропавший в песнях водопада. Потом мы на каменных плитах и на этих стволах, что над пропастью свисли, чертим каждый любимое имя. И когда насытится сердце красотой — благодарные, счастливые, усталые,— той же горной тропой возвращаемся к дому.

Уж вечер. Пало лиловыми тенями небо на зеленый шатер. Остывает медленно жизнь, прилипают к ветвям птицы, ложится зверь: один ложится, другой, полуночник, точит тонкие когти о звонкие зубы. Наливаются сонным туманом небесные очи — скроются скоро они за темные своды ночных ресниц, а на высоком и ясном челе небесном проступит в мерцанье золото звезд, окропится янтарными брызгами строгий, холодный свод.

За большими столами стучит домино, щелкают карты, чмокают шашки, и тихо опасным шахматным полем пробирается глупая, тупая тура.

У рояля густо сбились певцы, хор собирали наспех, пели не очень складно, но сердце измучено было немало в печальных мелодиях песен Украины, много попорчено крови на буйстве наурской лезгинки, выпито много истомы в русской раздольной песне.

Нежно и ласково байковой темной шалью укутала ночь обнаженное тело земли.

Спит Мацеста. А над ней, в высоте, над вершинами спящих гор, под янтарным шатром небес проплывала с открытым взором южная ночь.

Адлер

Такая рань· только три. В комнате тишь. По стенам и по полу татью крадутся бледные робкие руки рассвета. Мы освежили лица студеной водой и легонько, на

цыпках, коридором проплыли к дверям, отомкнули бесшумно и вышли на холодный благоуханный воздух горного утра.

Ароматная, густая и пряная отстоялась за ночь тишина.

Молчали легионы лягушек, откричав полуночные песни. Молчали птицы, омытые росным холодом. Молчали люди, скованные сном. Солнце дремало в синих лесах, за горами. И мы молчим, словно словом боимся разрушить этот прозрачный покой. По влажной зеленой тропе, по потной дороге, по берегу грустной речки — идем к морю. И когда подошли — по спокойной зыби, как по лугу зеленому, дрожало радостью за ночь иззябшее солнце. На безлюдном песчаном берегу светло и пусто. Море чуть слышно глубоко вздыхает набухшей зелеными соками грудью.

Далек и строго прочерчен овал горизонта. Сиротливо в водной пустыне застыло на якоре одинокое серое судно.

Восходит солнце. Пунцовая дрожь кинулась в небо и, отраженная, опала в волны: море вспыхнуло алой рябью. По берегу моря на Хосту проложена ветка — ходит по ветке легкий открытый вагончик. Сегодня праздничный день, и народу на Хосту торопится много. Вагончик этот — словно резиновый, то сжимается, то раздается,— весь секрет, как видно, в настроенье вожака. Сегодня вожатый весел — и народу набито в два раза против обычного. Ах, лучше бы не был ты весел, вожатый: негде сесть!

Дорога до Хосты — по берегу моря, в зелени, около гор. В Хосте, как слезешь, надо протопать целую версту до станции — там остановка авто, идущих на Адлер, на Гагры, на тихие горы Красной Поляны.

Держим мы здесь и свою столовку-чайнушку для приезжающих. Казалось бы, что ж: только кланяться надо, спасибо сказать за такую заботу? Нет, вы лучше зайдите, нюхните да гляньте: холодная, скользкая грязь и мрак, словно в забытом, насквозь, до щелей прокопченном сарае.

— Чаю можно?

— Нет, через час.

— Хлеба можно?

— Нет, через час.

Друг за дружкой, очередь в очередь, подходили приезжие, задавали буфетному тот же вопрос, получали один ответ. И вспыхнул, как фейерверк, гнев: какого же черта к сроку нет?

Рядом, в двадцати шагах, чуточное частное заведение: чисто, приютно, светло. Там достали — и чай, и хлеб, и яйца! Мы от едкой обиды, от гневной, бессильной злости, от стыда — готовы были впрах разнести гнусную чайнушку: э-эх, преступное ротозейство! Так-то — долго не вырасти, долго не выкузмить частную торговлю!

Облизавшись от вкусного «частного» завтрака и сплюнув зло на частную торговлю, побежали на пункт, где в гневном рычанье дрожал отходивший авто — он торопился на Адлер.

Рядом сидит, смугл и строг, юноша горец. Юношу звать Айба. Переплавило солнце кровь у Айбы в потоки расплавленной бронзы. Вместо глаз природа Айбе подарила пару маслин из афонских садов. Мелкие дружные кольца кудрей на лоб бежали, словно черные струи густых сосновых смол. На груди у Айбы увидал я кимовский знак. Я узнал, что раньше Айба жил в Сухуме,— теперь он живет в горах,— что отец у Айбы был муша (он разорвал себе сердце под кладью и умер в трюме), в Сухуме Айба обучился русской речи.

— Трудно здесь, в горах, комсомолу,— сказал Айба.— Уж не говорить про обычаи дедов, про старый устой — сама природа мешает: попробуй ты на собранье куда-нибудь крыть через горы, эв-ва, концов не видать! Наши поселки один от другого, что тучка от тучки, раскиданы врозь. Места эти трудные, темные, глухие. Кругом по горам и тишь и мрак, а в той тишине чернеют наши гнезда. И нельзя нам оттого собраться вместе — работаем всяк по себе, на глаз. А где работа, среди кого? Как поглуше ущелья взять — там совсем дикари, не тронуты там вековые суеверья, там за малую обиду — пускают в ход кинжалы и ножи. Смотрят на нас не то что врагами, этого нет, но просто не могут понять, как надо (темны, темны горные люди!), что мы

такое, комсомол и партия, зачем и о чем собираемся мы говорить, какие наши цели... Объяснить? Нет, тут объяснять не надо, это почти бесполезно. Вот *делом* себя показать — это да! И это, пожалуй, единственная здесь дорога, пока народ так темен и дик...

Спокойно и строго глядели черные глаза Айбы. Не было в словах у него ни ребячьего задора, ни игры в таинственные россказни про горные чудеса, не было и затверженной, мертвой схемки, которую где-то вычитал, где-то узнал случайно. Нет, Айба смотрел таким умным и понимающим взором, что ясно было: накрепко знает парень, что говорит!

— Вон, посмотри,— и он обернулся легко назад,— дойди-ка до Хосты, посиди на собранье!

Мы обернулись за ним и увидели далеко под город разбросанные домики Хосты. Дорога все время в горы и чертит такие тут кренделя, что какую-нибудь небольшую вершинку видишь и сяк и так, со всех сторон, словно вертишь ее, как шарик, у себя перед глазами.

Первые версты дорога тряска — Айба пояснил нам, что скоро станут править ее и здесь, как уже правят по разным иным местам. Но лишь только развернется чистое и ровное гагринское шоссе: очарованье! Без встрясок — легко и плавно шуршит авто тугими шинами, глотает аппетитно версту за верстой. Сумрачно-прекрасны, крепки богатырской силой — стоят кудрявые гигантские дубы; оловом отливают гладкие стволы чистого, прочного бука; зеленит, смеется, шелестит со всех сторон, как девушка-хохотушка, бузина,— на глазах у солнца, у моря — обнимается, бесстыдная, с веселым гибким кизилом. Недвижны и важны, словно затянуты в тонкий изящный костюм, остроглавые кипарисы; откуда-то с гор, может, вот с этих мелькающих дачных садов, доносятся чуткому обонянию ароматные нежные вздохи магнолий. Воздух насыщен то чуть уловимыми, то густыми и терпкими запахами трав и цветов. А тут еще — соленое крепкое дыхание моря; вон оно, море, глянь-ка: то и дело провертывается темно-зелеными шумящими полянами сквозь побережную стену кизиловых-бузиновых зарослей!

— Слушай, Айба: ты вот сказал, что не словом, а

делом тут надо работать с горцами... Ну, а какие, к примеру, дела ты мог бы нам рассказать?

Айба ответил не сразу. Он осторожно в памяти отбирал такое, что надо сказать.

— Никаких особых дел и нет,— ответил он, подумав.— Наши дела те самые, что с утра до ночи малыми заботками тревожат горца. Были такие поселки, где ставили на собраньях большущие вопросы,— и на те собранья никто не приходил. А те, что были там,— спали. Большие вопросы надо, видно, по-большому и рассказывать. В нашем селенье мы — по-другому. Всего на поселке нас семь человек. А народу находит двести, а то и больше. Отчего? Да все потому, что говорим про такое, что каждому близко и знакомо: как ходить за скотом, как за кукурузой, говорим про табак, насчет посеву, роста и сборов, говорим про хлеб, про домашнее хозяйство,— на эти речи ползет народ, как муравей на мед. А тут, промеж этих речей, говорим про совхозы, про ученье, о кооперации — что к слову выйдет. И за то нас горцы приходят слушать...

Или вот был случай: засорилась травами, забилась западью разной рядом с поселком река — малая речка. И никак не поймут, отчего так народ на болезни стал падок, отчего так много на поселок стало комарья-мошкары лететь. Обошли мы, ребята, речку, оглядели, объяснили, что надо очистить русло, вытащить что там набилось, и пропадет комарье. Долго не верили, слушать не хотели, мы сами тогда в работу пошли, семь человек. И глядь, тишком — один подступил, другой подступил, пособлять стали: очистили начисто ловко речку. И увидели все, что правда наша была. С той поры — что ни день — в комсомол за советом идут, даже хворать зачнут — и то к нам.

Когда по горам ливни идут — сами знаете, какая беда: уносит скот, размывает поля, пропадают табачные плантации, посевы кукурузы — все погубит, что встретит вода на пути. В одну из таких-то бед попала горка-вдова с троими ребятами: у нее дотла погибло за ночь хозяйство, все унесли волны; несчастная женщина за ночь стала нищая, потеряла с горя разум — стоял впереди страшный голодный год. Тогда взялись

за дело комсомольцы: на сходе выпросили ей какую-то чуточную помощь на первый раз, а дальше, как время пришло,— посеяли ей кукурузу. И, можете поверить, сами горцы плакали, когда видели нашу работу...

Вот это и есть главные наши дела,— закончил Айба.— Они небольшие, дела эти, а нужные: через них мы того добились, что горцы в комсомол да в ячейку за советом ныне идут...

И мы чувствовали все, что Айба говорит про настоящее дело, что только этой дорогой можно там, в горах,— да, пожалуй, и везде — проложить путь от партии, от комсомола — в темную толщу.

Влево скользнула дорога: а это что ж, куда?

— Это на Гагры пошла... Там же и на Красную Поляну... видишь, туда, к вершинам вьется...

Наша дорога прямо: осталось всего тут две версты. Скоро въезжаем в праздничный, шумный Адлер. По улицам пыль замирает сизыми тучами. По улицам песни и пьяненький гвалт: по случаю праздника весь городок под градусом. Улиц, собственно, тут немного, а вся гулянка сбилась на главной, на одной — той, что идет от базара к морю. Море, что магнит: сколько б ни шатался, ни шумел гуляка — все равно попадет на море, а раз на море попал — штаны долой, купаться. И выходит так, что весь город целый день купается посменно: к морю не разрывается ни на минуту плясовая, пьяненькая вереница. Прошлись и мы, огляделись: со стен комсомольский клуб извещал о собранье; упоминалась какая-то труппа, какая-то пьеса...

Обнявшись, грудно-крикливые и веселые, кучками, толклись на площади. Женщин мало, почти вовсе нет: одиночки только у лавчонок, у кооператива, у домиков. Зашли в столовку, в другую — все подчистую поели гуляки, нет для нас ничего. Выпучив живот под черной масленой рубашкой, пьяный буфетчик скалил зубы, кричал:

— Мяса весь съел... Хлеба весь съел — хошь вина? Вина можно многа пить, вина еси...

Мы поспешно ушли от столиков, где в смрадной гони бледнели сквозь завесы табачного дыма испитые осклизлые лица завзятых питоков.

Потом приютил нас какой-то сердобольный грек, стал из чуточных чашечек поить ароматным тяжелым турецким кофе: пригубь — и запей холодной водой, пригубь и снова... Пили и важничали — вовсе по-турецки. Вдруг барабанный бой! Да это же идут пионеры! Отряд красношеих ребят действительно показался с угла и быстро колыхал на площадь: это детишки откуда-то из дома отдыха, к ним влилась и местная ребятня. И нам показалось, что пьяный гул по улице смолк, толпы тихо сдвинулись по бокам, раздались надвое, обнажили улицу — быстро, легко подходившему отряду.

Какой восторг! Какой это был восторг! И какая вдруг перемена! И какой контраст с этой пьяной толпой! Отряд, словно победитель сквозь ряды своих пленников, прошел к морю сквозь беспокойные шпалеры сгрудившихся к лавкам гуляк.

И через пять минут, когда мы вышли на пляж, сотни детских головенок чернели на море, плеск и звон и крик над пляжем стоял веселейший.

Дети, дети, знаете ли вы, какой дорогой ценою досталось вам это право: вместо гнилых и вонючих подвалов — прыгать летами вот тут, по солнечному пляжу, вместо луж, где смачно ворочаются жирные свиньи,— купаться в этом голубом и теплом море!

Гагры

Гагры — это частичка Абхазской республики. Нам еще где-то в пути сероглазый и шустрый парнишка всучил о Гаграх малую книжонку,— читаем ее, знакомимся:

«...Курорт Гагры обладает теплым, мягким морским климатом, средняя температура года 15° С., зимы — 8°. Курорт благоустроен, полное отсутствие пыли, инфекционных заболеваний и малярии, обилие солнца, масса озона, чистый морской и горный воздух, морское купанье с прекрасным пляжем... Экскурсии и прогулки: пешком, на лошадях и осликах в горы

(альпийские пастбища), на гору Дзытра, Мамздышха, озеро Рица, на водопады, Бзыбское ущелье, историческую Пицунду и в дальнейшие окрестности Гагр, где расположены тысячелетние древние храмы и замки византийского периода... Охота на всякого рода зверей (медведи, кабаны, серны, дикие козы, джейраны, туры, куницы, барсуки и проч.), пернатую дичь... всевозможные кафе, рог изобилия лучших кавказских вин...»

Потом говорится о прекрасных гостиницах, в том числе о Доме отдыха, расположенном в бывшем дворце принца Ольденбургского, о кефире, о фруктах, о кухне «под наблюдением и руководством первоклассных кулинаров».

Говорилось в книжице кой о чем и прочем — всего не перескажешь. Мы ехали в Гагры полные надежд — тех смутных и милых надежд, что волнуют, когда подступаешь к новому месту.

Автопромторговский ковчег высадил нас на базарной площадке, там, где рядами теснятся одна на другую легкие дощатые лавчушки. На глаз прикинуть — никто, казалось бы, ничего и не покупает,— трется, толчется впустую народ, а шуму столько, что хватит на Смоленский рынок! Из товаров — выбор не ахти богат: груши, яблоки, длинные палочки, слепленные из орехов, скользкие рыжие финики, подернутые плесенью, копченые колбаски, хлебная часть да вино по полкам... Встали посреди — ротозеем. Куда нам идти — не ведаем. Уцепились за первого встречного, вверили судьбу незнакомому дяде: видим, прахом пошла вся наша подготовка — гостиниц под теми названьями, что указаны в книжице, никто не знал, все толковали как-то по-иному.

— Ладно, дядя: веди куда знаешь!

И он повел — сквозь старинные крепостные ворота, мимо каменной пустой часовенки, которой насчитывают полтыщи лет, мимо пионерского лагеря (как вздрогнуло радостное сердце!), повел мимо магазинчиков, где вино, вино и вино по витринам — и довел: из длинного пустынного коридора нырнула к нам юркая фигурка номерщика, сгоняла фигурка нас этажом выше, потом обратно вниз:

— Пожалуйте!

Жалуем: при нас же метелкой начали спешно выметать разный мусор, заходила пыль облаками.

— Да вы что же, черт подери, раньше не могли?!

— Как угодно: можете так оставаться...

И метелку под мышку, хотел уходить.

Поскрипел я зубами, подошел к лиловому умывальнику, подергал рыжий кран — он мне ответно заскрипел ржавым зудом.

— Работает?

— Нет... в ведерке будем носить...

Смолчал я насчет ведерка — наклонился к размочаленной, ободранной кровати, дружелюбно пощипал матрац: глядь — встревоженные клопы сердито побежали в стороны.

— Эй, земляк, не трудись: мы уходим!

И, захватив пожитки,— вон.

Рядом нашлось чистое жилье: ну, что ж, первый блин всегда комочком!

Гагры под самыми горами. Горы здесь тучные и черные от густых лесов. Горы здесь высочайшие и хранят от холодных, от гневных бурь селенье, только теплые тихие ветры дышат с моря.

Вечером по взморью фланирует много красивых, отлично одетых ленивых жеребчиков — это бездельники, каких очень много всегда по курортам. Наутро вы их увидите по кафе, у столиков, по садам — они пьют вино, потом играют в нард, в домино, слоняются от лавки к лавке, нехотя побалтывают, вяло отходят, снова подходят — и так толкаются до тех пор, пока не умостятся где-нибудь для праздного и длительного разговора. Это не дачники, не курбольные, это просто куржеребчики.

Вы здесь и тени не сыщете от трудовой Абхазии, она, настоящая, где-то там — по табачным плантациям, у кукурузных полей, на лугах, где пасутся стада, по виноградникам, по мастерским.

Над Гаграми, на скале — прекрасен и грозен — высится замок, он был когда-то собственностью принца Ольденбургского. Теперь там малярийная станция, а наверху живут одиночки-жильцы. Чудесное зданье

вовсе не использовано, содержится в позорно грязном виде, никому до него нет дела. Как только спустился с лесенок замка — прямо в садок. В садике — круглый серый фонтан, в фонтане плавают черные миноги, трутся о холодеющие черные бутыли вина.

За столиком в саду всегда людно.

Сидели — гуторили,— тишь да гладь, воздух легок, чист и пахуч. И вдруг застлался понизу густой, едучий дым; все всполошилось,— в чем дело? Оказалось, на площади, в центре Гагр, свалены были навозные кучи, отвезти их подальше никто не хотел, тут же торжественно началось и сожжение. Через десять минут Гагры сплошь были в дыму — он набился не только по садам, он задушил все комнаты, стлался до самых гор.

То-то курортнички подышали, сердечные! Помнится, мы заявили протест по начальству, да вряд ли вышло что: ухмыльнулось начальство лукаво.

Есть Старые Гагры, а есть и Новые — до Новых недалеко, что-то верст пяток. Прежде тут ходила конка, путь остался и до сей поры. Конка теперь забедняла, не работает — в Новые Гагры гоняют извозцы. Умостились мы на бархатную, в лоск просиженную пролетку, свесили ножки,— двое к двоим, в разные стороны, сомкнувшись плотно спинами,— покатили жарчайшей, пыльнейшей дорогой: приехали в Новые Гагры, седые от пыли!

Там шум и суета — все движенье собрано у базара. Важны и чинны, прохаживаются красноголовые милиционеры — отношение к ним отменно почтительное, да и сами они цену себе, видимо, знают: держатся с сочным достоинством.

Идем мы вдоль по говорливому базару — любуемся «картинкой с натуры»: стоит какой-то дядя на дороге, балакает с извозцом,— а высоко на облучке и с высоты, через голову собеседника отшлепывает возница здоровеннейшие, смачные плевки — тот хоть бы сморщился. На эту милую пару, кроме нас, никто, конечно, не обращал вниманья.

В воздухе гам и звон от крика торговцев, от конских бубенцов, пробы кинжалов... Солнце, пыль, жара,

человеческий гомон. Новые Гагры победней Старых, главный жизненный нерв не здесь, а там.

И вспомнилась нам эта книжица, где так ладно да гладко рассказано все про Гагры. Вспомнился сероглазый и шустрый парнишка, как бежал он мимо и кликал привычным зычным голосишком:

— Вот они, Гагры, лучший курорт... Всего пятялтынный... Возьми, товарищ!

Батум

Когда я в детстве слышал: «Ба-тум!» — в воображенье моем дрожали волны светлого пахучего эфира, и тот эфир насквозь прозолочен был тающим южным солнцем; мне рисовалось странное непуганое царство горных покоев, тепла, тишины — забаюканной сказками южной неги; рябило глаза от набухшей в соках ароматной зелени пальм, златошкурых садов апельсиновых, лимоновых ласковых рощ, от янтарного моря... Мне Батум был как люлька младенцу... только бы в ней и качался, закрыв от жизни глаза!

Теперь я вживе, с глазу на глаз, увидел Батум. Был глух и мрачен вечер. Безлунное тучное небо — словно засыпали сажей. В море тьма и шум. Над морем внятное ржанье тревожных волн, по морю гулкий носится свист: ветер море, как плетью, сечет звонким резким дождем. Скука на палубе дохлая, как вымытый жизнью мутный взор старика, люди от сыри жмутся в глухие сухие углы. Пусто. Тоска! Ночь не в ночь, и сон не в сон. В душной дремоте дремлют каюты. По коридорам, у палубы, в рубках придушенно мигают бледно-зеленые лампы полночных огней.

Тянется скучно, тошнотно к рассвету беспутное время.

И когда проползли, словно серые стаи вшей, бесконечные ленты унылых, вялых минут, сказал кто-то голосом, сшитым бессонницей, глядя по-рыбьи из рубки в потную пасть окна:

— Батум!

Я вышел на мокрую людную палубу. Я увидел сквозь мутную сеть дождя робкие, желтые в сумраках утра, не погасшие за ночь огни, увидел черные туши разбухших домов, а на рейде — в туманах — бледные контуры спящих пароходов. Наш истомленный «Игнатий Сергеев» — ржавый сопливый старик — пыхтел и ворочался с шумом по воде, слюняво плевался грязною, серою пеной, щупал в глубинах моря, где бы ладнее стать, кинуть когтистый якорь.

— Так это и есть Батум, тот сказочный город, что плавает в солнечном золоте юга, как легкая мошка в лисьей ржаной шерсти?

И разбитая детская мечта моя пролилась по сердцу, как этот дождь, грязными мутными струйками, собралась и застыла в серых лагунах тоски.

Мимо меня, как шустрый зверенок, шмыгнул юрко Шурка Кержанский. Он быстро и хлопотно в мокреть прошлепал босыми ногами. Я видел вслед, как плотно пристала к костлявому телу Шурки серая дырявая рубашка, чуть скрывая сползшие грузко гнилые штаны.

Шурку Кержанского знает все побережье — он целое лето снует с одного парохода на другой, живя подачками за вольные песни, за трельную музыку на ложках; он не охотник до кратких прогулок — рейсы морские у Шурки не шутка: ныне он треплет в Батум из Одессы.

Вижу по палубе спешно кому-то тащит он вещи. Унес и снова бежит, торопливо волчком провернулся сквозь цепь завистливых, злых носильщиков, съел, что положено было, пинков и тычков с подзатыльниками — глядь, волочит уж кому-то тугую рябую корзину. Ну, и паренек, молодец! Ловкий добытчик, такому нигде не пропасть. Позже я видел его не раз — и в толпе пароходной, и в толпе городской, по шоссе, по вагонам железных дорог: он всюду мостился, ютился, как клоп, повисал на авто, шаркался мышью летучей по палубе,— значило это, что близок контроль,— пел недоспелым блажным голосишком песни у входов кафе, подтаскивал вещи на пристань, но с ручкой, как нищий, нигде не стоял.

Он взялся и нам отыскать номерок.

— Сухо и дешево, будет что надо, первый сорт! — бросил он на ходу с небрежным кивком знатока.

Пошли. Заискали. Винтили и так и не так по мокрым панелям, под скул дождя. Казалось, не только Батум, целый мир исхлестали взад и вперед: и «Франция» там, и «Европа», и верный Америки сын — «Нью-Йорк»; выбор — куда там: весь мир под тобой, но — боже мой, боже! — как крепко везде обдирают с приезжего тонкую шкурку... Какой-то чудак толстячок — содержатель гнилых номеров — завел в комнатищу пустую, в хламную, и молвил, улыбчиво тыкая пальцем в углы:

— Здеси угалок будим ти жэна, здеси угалок будем ми жэна, а другой кравать, другой жэна давать приходитти будим...

Мы со скорбью посмотрели ему в лицо, молча и вежливо поклонились, спешно ушли.

И приютились где-то случаем у хлопотливой чистоплотной немочки: она из захламленных грязных конюшен сумела выкроить чистые комнатки: по нашим временам — золото, не женщина! Утерла она ловко чванный нос всем этим заносчивым странам и державам!

Когда мы рыскали по мокрым улицам Батума, видели на каждом углу кучку нуждою обглоданных, лохмотьями прикрытых людей: это муши. Они от ранней зари весь день напролет ловят-ждут случайную работу. Горящими голодными глазами с безмолвным вопросом смотрят вам в лицо, с надеждой следят ваш близкий ход.

И серый липкий дождь, тучное мутное небо, и скорбные муши на перекрестках дорог, и наши первые житейские неудачи — все говорило против Батума.

— Он не тот, не тот, как грезилось в детстве, он вовсе не высветлен золотом южного солнца, и в нем такая же серая мокреть, как в нашей Пензе, в Елатьме, в Щиграх!

Ввечеру, когда дождь смолк, когда сбивались толпами тени, а солнце никло за морем, глянул Батум своим настоящим, смугло-загарным волнующим лицом.

Зловеще и четко чернел совсем близкий в сумраке Зеленый мыс. За Зеленым мысом в горах — целому миру знакомый ботанический сад. Около сада на Чакве — сазис чайных плантаций.

То ли там снежные горы, облака ли молочные пунцовеют над водной чешуей, на сизом горизонте? По морю ветер вечерний, легкий, как вздох, гонит и плеск и звон, а над бескрайной чернильной ровенью волн — ткутся за мигом миг гуще, плотней — тонкотканные тенета тьмы.

Над дремлющим городом, над лентами черных аллей, к пепельным дальним горам уплывают, прозрачны и легки, благоуханные волны вечерних струй.

С нетемных улиц — к морю, на пляж и обратно, снует неторопливая шелестящая толпа. Глянь по ней, по этим загорелым, здоровым смеющимся лицам, и будешь верить, что в Батуме только свежие, сильные люди.

В этот же час, какой-то иной, не гуляющий у пляжа, Батум засыпает по глухим переулкам, по темным чуланчикам, по безоконным сараишкам, по клетушкам-комнаткам, где свалено за день в угол лохмотье, где под долгий голый стол заброшен мешок табаку, а к стенке прислонено деревянное корыто — иного убранства нет. Сюда идут спать усталые муши, здесь ночуют газетчики-мальчишки, здесь живут грошевики-торговцы, с рук продающие полфунта табаку; здесь собираются кучно горластые, крикливые детишки, что за день прудят базары, на плечах таскают бутыли воды, громко и резко кричат:

— Соок-су, холодный вода!.. Холод вада — соок-су!

И продают воду по копейке стакан.

Сюда собираются оборвыши, нищие дети, с широкими печальными глазами — они вас за день встречают и провожают на улицах, следуют за вами неотступно и настойчиво, приклеиваются липко, назойливо — как умеют приклеиваться ребятишки только здесь, под этим солнцем: в Батуме, в Баку, в Эривани, в Тифлисе...

Все покроет южная глухая ночь, и вылудит все под сказку бледный лунный полумрак.

Остынут, таинственны и странны, и одинаково пре-

красны в сонном трауре ночи — каменные дома центральных улиц и разрушенные хибарки глухих окраин. Тишь над городом — южная. Сны над городом — восточные. Благоуханна и сыта дарами — тихо в горы уходит безмолвная ночь, шурша вуальными шалями, оставляя в асфальтах улиц ароматный влажный след.

Восток просыпается рано — рано встает и юг.

Чуть вздрогнуло солнце за сонной далью — уж звонкой россыпью раскатились улицы-переулки Батума.

Визжат засовчики мелких лавчонок — магазины откроют позже,— хлопают ставни, хлопают двери, греются с посвистом крошки жаровни, где шашлычники с песней мурлычной, крутя вертел на огне, как грешники бесы в господнем аду, станут пропаливать мясо в шашлык; торговцы снуют торопливо-заботно у своих магазинов-лавчонок; осматривают, ошаривают, гладят их с отеческой лаской; по базарным площадям — у лотков, у палаток своя суета предбазарная. Скоро улицами вроссыпь кинутся, словно спущенные с цепи, голосистые мальчишки — звонкие вестники нового дня.

— Газит, газит! «Масковски Правда»! «Заря Васток»! Турецки, русски, армянски, грузински... гази-и-ит!

И тут хоть намертво спи — подымут.

Подымается выше солнце, по светлым беспыльным улицам ширится, никнет зной — его, как ранний дар с голубого неба, глотают зеленые жадные сады Батума, и вместо зноя плывет золотая теплынь.

Пробуждается порт. В порту на рейде маячат пароходы: свои и чужие, из дальних стран.

Скоро жизнь из порта свяжется с уличной жизнью, и целый день, до сумерек вечера — станут грузить, увозить и привозить товары, встречать, провожать пароходы...

По глухо вымощенным улицам заухают тяжкие грузовики, и пригнется, застонет под ними земля; легкокрылые авто помчат работников к советским корпусам.

В учрежденьях советских гул загудит, как в пчельнике дружном на первый приветный луч: турки и русские, аджарцы и гурийцы, армяне и грузины, евреи и абхазцы. От этой мятежной конницы языков, говоров, наречий вдруг тебе и жутко и радостно крепкой, ядреной радостью.

Со стен лукаво щурятся и дружески смеются раскосые восточные глаза Ильича... на широком картонном полотнище — портреты членов Аджарского Совнаркома, вождей аджарского народа.

Красными сочными буквами — лозунги:

«Крепче держи знамя советской власти!»

«Чем крепче хозяйство, тем легче жизнь!»

«Больше хозяйских забот, молочнее будет скот!»

И слева и справа, со всех сторон, огнями загораются нужные большие слова про жизнь-борьбу. Вон лозунги ячейки МОПР; дальше о клубной работе; о том, что нельзя выбивать редчайших горных туров; о том, как избежать и как бороться с бичом — малярией; о том, как опасна, вредна хозяйству народному самовольная рубка лесов...

Вся горская жизнь, весь труд человеческий смотрит живыми умными глазами со стен советских корпусов... Присядь, незаметный, в углу и послушай молву людскую, сумей ее понять; говор идет все по тем же дорожкам: про стада, про сады-огороды, про кукурузные поля; кто-то серьезный и строгий лицом стрижет и чешет молодую кредитную кооперацию, кто-то в пушной седой бороде учит, как по полям мышьяком надо травить вредителей, как управляться с дранью в своем хозяйском деле, как на шпагат ловчей и быстрей нанизывать табачные листья...

Женщина, умная, смуглая, как лыко, ищет заступный, родной женотдел, чтоб поведать ему, как по горным углам, на табачных плантациях, где обилен и дешев женский труд, как ширится там голодная проституция, как оскаленной пастью обнажились угрозы зловонной, гнойной венерической мерзости... Куда пойти? Прежде всех и раньше всех — к себе, в женотдел: туда принесет она нерасплесканную обиду и острую боль свою, там начистоту расскажет она про женскую

долю. Жизнь — многообразная, суровая, густая, как горные смолы, собралась она здесь, при совете, налилась до краев, а потом, как насытит и насытится сама,— шумным, торжествующим потоком понесется в горах и ущельях Аджаристана, спадая живою влагой в нищие поселки горцев.

Батум — богатый город. В Батуме по главным улицам жизнь такая же пестрая, шумная, как везде по большим городам. Только манер иной — свой, особенный, южный. Шум — всегда гнездит у торговли. А торговля идет — нейдет, будто она и не главная тут, а подсыпка, шебарша между делом: легко катит навеселе. И вовсе уже особая, ни с чем не схожая полоса в торговле — контрабанда. В Батуме, говорили знатоки, ремеслом этим кормятся... десять тысяч душ! Идите улицами, базарами, площадями батумскими — вас словят, вас станут на каждом шагу окликать какие-то шустрые, ловкие, быстро снующие тени,— людей как будто совсем и нет. Они сторожат у харчевни-столовой, в вагонах железных дорог, по гостиницам, вползают в номер, торчат у всех и всегда на пути, в перекрестках улиц, у витрин магазинных, шнырят-ныряют, как мыши, склизнут, как тати во тьме, шуршат вам на ухо вкрадчивым, хитрым, святым шепотком:

— Контрабанда есть... оч-чень дешево: чулки, шелка, джерсе...

И лишь залучили в сети,— повлекут за собой, завинтят, заюлят переулочками: плут впереди как вожатый, вы — в сотне шагов позади. Входите в комнату контрабандиста; тут отменный советский порядок, на стенах Ленин... все чин чином. И висят не какие-нибудь по грошу портретишки — первой статьи дорогие работы, в дорогих и тяжелых рамах. Вас встречают учтиво, разговоры ведут дружелюбно, обзывают не иначе как «уважаемый товарищ», а про себя, жулье, небрежно и будто случайно: «Мы, дескать, советские работники»... ух, и дошлый же, тертый народ! Вас оставят чуть-чуть обождать; хозяин, знаете ль, должен сбегать к какому-то Аршаку, Мадани, Хре-

нопуло, там он «займет» товары, которые любы вам: сам спец «не торгует», он вовсе не контрабандист, он делает только по дружбе вам одолженье, не хочет «своему товарищу» отказать. Через пять минут, сверкая вокруг воровато зрачками, бежит: за пазухой, в пухлых карманах, в голенищах сапог чего-чего не натискано! Дверь запирают оглядчиво, добро рядами кладут по столу, ласково гладят-гладят-гладят, сладенько чмокают, хвалят, жужжат, как шмели.

Когда «не сошлись» вы в цене — уж поведут обратно другими дворами, по иным переулкам, чтобы спутать с пути и след замести. И все священное действо плутни ползет тишком, шепотком...

Контрабандное дело — опасно и скользко, как глиняный мокрый скат: можно червонцами вспучить мошну, можно за клеть угодить, можно посеять и голову в горных походах — раз не приходит на раз. Сеть контрабандная тонко, сложно вита — истоки ее в пограничной турецкой полосе. Там гнезда крупных скупщиков. Они готовят партии тончайших дорогих товаров, пакуют их в мешки и гонят караван горами, глухими тропками, которые знакомы только мастерам таинственных походов. Оптовики товаров не везут: их миссия окончена тогда, когда в мешках с рук на руки сбывается товар. Везут груженые мешки горцы — они на этот случай носят при себе не только боевой кинжал — за поясом чернеет дуло пистолета, за плечом дрожит винтовка. В горах советская стража,— она сторожит контрабанду. И часто ночью там совершаются жуткие драмы: контрабандисты народ отчаянный и ловкий, даром в руки не даются. Обмануть недремлющую стражу, хитро и смело провести через трудный путь свой тайный караван — эта опасная игра увлекает контрабандиста, дает ему острое наслажденье, как всякий азартный матч. И вот — караван пришел под Батум — здесь встречают его ловкачи-скупщики, укрыватели, сбытчики, они уж заботиться станут о том, чтобы вся контрабанда попала в липкие лапки тучам мелкой торговой мошкары, что вьется, жужжит по городу. Бывает и так (на первый взгляд совсем потеха!): тот, кто привез товар, сам выдает себя властям, по закону берет

полцены советской — мирится на малом доходе. И снова едет, играет жизнью, снова везет и снова сбывает, пока не получит крепкий удар. Когда уж несносно мучит легкая выгода и нет сил отразить соблазн — выдают один другого: продажный народишко, жаден на грош, за деньги друг дружке режут походя глотку. Рассказывал как-то мне Муджа — дедка-рыбак, будто артель турецких дельцов отправила раз горами большой караван дорогих товаров и вручила все дело одному из своих, именем Бен-Оглы. Он был старый контрабандист. Но он был и старый плут — это знала артель и за Бен-Оглы дослала свой верный глаз. Оглы товар провез без лиха, сбыл его дорого и быстро, а сам себе смастерил документ, будто товар у Оглы отобрала казна. Поехал он, сытый обманом, к своим в артель. Но зоркий глаз следопыта все уследил в игре Бен-Оглы и ранее донес в артель плутам про коварство старого плута Оглы. Седобородые, хитрые, гнев в глубину вогнав, встретили горестно и виду не дали, что знают тайну. А потом повязали веревками накрест, увели побелевшего Бена в горы, скрепили туго с кобыльным хвостом, завязали дикой кобылице глаза и гнали горами к пропасти, хлестали бичами, кололи Оглы — пока не спугнули потную кобылицу в бездонный обрыв.

Мне рассказывал про жизнь контрабандную старый Муджа, когда мы вдвоем с ним были в море.

— Как был и я помоложе,— говорил Муджа,— сам я займался тем делом, да слепнуть стал, отстал... А бедовая она, эта жизнь: так и гляди, что пулю словишь... Мы раньше морем больше ходили, здесь работу вели,— и Муджа обвел кругом костлявой тощей рукою.— А теперь по морю строг стал дозор — горами больше наш брат идет... Э-эх, житье!

И не поймешь — отчего так глубоко и грустно он вздохнул, старина: то ль жаль ему стало, что слеп и теперь не с руки вести опасную старую жизнь, то ли обида брала, что в море пропала совсем контрабанда,— горами, в сухую пошла...

Старик сидел, сухой и прямой, за длинными веслами легкого ялика, глядел бесстрастно мутными, подслеповатыми глазами в море и молчал.

А море — тихое, гладкое, словно остывшая зеленая лава. Качались на якоре медленно и скучно две огромные серые фелюги. Где-то далеко-далеко, за многие версты, по ровени волн черной точкой, как в поднебесье птица, обозначился пароход. Чайки ныряли над морем, гладкой грудью касаясь светлой волны. Город с моря казался мал и тих. Мы сидели молча — я и Муджа, каждый думал свое, каждый по-своему понимал и любил, что было кругом.

Афон

Афон теперь по-туземному зовется Псырцха, но жители все еще кличут по старой памяти Псырцху Афоном. Звать — как ни зови — это только полдела, а живое, настоящее *дело* в том, что нет больше в Афоне притона святошеского, а на месте притона — огромный цветущий совхоз.

Это уж да, это уж бесспорное дело!

Когда-то на эти места, к монастырским «святыням», со всех сторон и плыли, и шли, и съезжались богомольцы, несли с собою и малые и немалые дары, крепили могущество Афона. Жили в Афоне сотни монахов, кормились щедрым подаянием. Правду сказать — нижайшее монашество и работало вдосталь: сливки спивали только «святые верхи».

Так десятки лет цвел-расцветал Афон. Вырос из жертв богомольческих белый красавец храм: с моря далеко маячит он взору, как белый голубь, запутанный в темных тенетах лесов. И так он построен искусно, что виден открыто и явственно разом со всех сторон — играет на солнце, как нежная дорогая игрушка, что взору на отдых вырезал мудрый строитель в дебрях глухой горы. Богомольцев сходились сотни,— они размещались внизу, у моря — там стоит осанистый белый корпус. И каждый пришелец мог жить и кормиться бесплатных четыре дня — на пятый ему говорили добром, на шестой приходил полицейский чин и встряхивал молельщику забывчивую память.

Те, которых кормили бесплатно, грошишки свои растрясывали иным путем: на свечки, лампадки, молебны, акафисты, на целованье икон, на сборы — поборы монашеские.

И потом, когда уходили, им на память вручался адрес афонский — по этой торной тропе надо было и впредь не лениться слать свои гроши, чтобы воистину связь держать духовную со святым местом.

Главная сила Афона была не в грошах богомольческих — эти гроши лишь на ходу, по привычке сдирались, было зазорно монаху с путника мзду не принять: так и докрасна кровью сытый паук навсегда за стыд для себя почтет живою оставить, нетронутой легкую мошку, дрожащую робко в липких его паутинах. Главная сила Афона была в щедрых дарах богачей-толстосумов, им после чадных ночей по «Стрельням» любо было бесследно пропасть, затеряться на краткий срок в бесшумных и кротких и ласковых тихостью жизни покоях Афона. Они приезжали сюда в покаянных слезах, они проводили здесь ночи и дни, как безвинные агнцы, которых во имя чьих-то чужих и черных грехов ведут на закланье: вставали во тьме, пред зарей, и покорные, трудные клали поклоны, потом монастырскую службу стояли с начала до конца — безмолвные, смирные духом. И так отбывали господнюю барщину днями, неделями, а там, зарядившись, уезжали к столичным особнякам и, будто из клетей спущенные звери, яростно кидались утолить голодное терпенье.

Эти каяльщики были щедрой сумой, которая сытно питала ненасытную афонскую мошну.

И вот — вдруг и все перевернулось: на месте святейшего притона буйно расцвел совхоз. Сотни рабочих дружно взялись за работу по маслинным садам, в виноградниках, в мастерских. У рабочих вырос свой местком, у месткома — большая веселая работа. В совхозе абхазские большевики, в совхозе ребята-комсомольцы,— их знают далеко в горах, к ним за нуждой идут, за советом, за помощью горцы. В совхозе клуб, и вечерами — посмотри, сколько сидит там

народу, липнет к библиотеке или на открытой террасе, за большим столом, за газетами.

Афонский совхоз — культурный центр на широкую горную округу. В Афоне своя отличная мельница, у Афона своя электростанция; совхоз афонский как маленькое царство в советской абхазской стране. Монашью рать распустили по белу свету. Многие осели тут же, по ближним местам, занялись кто чем, иные, говорят, морем уехали на древний Афон, десятка три живет при совхозе, заняты делом, как и все, а сорок человек укрылись от мира в лесную чащу, на дикую Псху-реку, что где-то горами протекает за восемь десятков верст от Афона.

Слышно, там они построили домишки и молятся, постятся в одиночестве, питаясь скудным огородным добром и тем, что достанут в горных поселках, что разбросаны в побережьях Псхи.

Был вечер, когда мы приехали в Афон. На морском берегу длинный белый корпус — номера приезжающих (здесь-то и жили ходоки, приходившие в монастырь на богомолье). Подобрали вещишки — вошли в номерной коридор. По коридору медленно и косолапо двигался монах — его можно было опознать издалека по соломенной несуразной и широченнейшей шляпе, по кислому, постному выражению оскопленного лица. Подошел, встал боком, словно осердясь, и спросил, глядя в сторону, будто и не нам говорил, стене:

— Номер, што ли?

— Номер, отец...

Он скрипуче перевернулся на подошвах и пошел, не сказав ни слова; мы догадались, что надо идти вслед. Монах достал из глубокого кармана тяжелую связку ключей, приоткрыл дверь пустой комнатки, только что насвеже выбеленной, и молвил:

— Тут!

Мы переулыбнулись, глянули внутрь — там чернела голая железная кровать: ни матраца на ней, ни белья, ни подушек, а в комнатке ни стула, ни табуретки.

— Отец?

— Чего?

— А матрац-то где?

— Какой матрац?

— То есть как же это? Спать то на чем будем?

— На кровати,— пояснил монах и невозмутимо почесал под шляпой грязную голову.

Но у нас, усталых с пути, нервы были не так покойны, как у этого святого привратника.

— Брось шутки, дядя, шутить! Даешь матрац!

— Жалуйтесь! — шикнул монашек смиренно.— Уполномоченному надо, а я что: нет и нет...

— Так номер тогда зачем сдавать?

— Жалуйтесь! — повторил он еще тише и заковылял косолапо назад по коридору.

Гостиницей заведует «отец» Авенир — косолапого монаха зовут Полиевктом. Авенир — высоченный дебелый мужчина, до седых волос сохранивший свежесть свою и красоту. Мы к нему.

— Слушайте, как же матрац?

— Жалуйтесь...

— Да что вы тут все, черт вас заешь: жалуйтесь да жалуйтесь...

— А так и есть,— молвил со змеиной кротостью Авенир,— назвались курортом, напустили народу приезжего, а сготовить всего не сумели. На себя пенять надо — мы што?

Старик злорадствовал, но отпирался недолго: матрац нашли. Больше того. Когда мы друг дружку признали «де-факто» — нашлась и подушка и даже пара стульев: великое дело эта дипломатия!

Афон — молодой курорт, только в этом году оперяться стал. Житье в номерах — удобное, тихое и покойное. Окна распахнуты прямо в море. Море целый день и целую ночь шумит неуемным гулом, гонит в сон.

Все бы ладно, только с монахами в точку разом никак не попасть. Работают они словно бы и много, заняты накругло целый день, а все как-то нехотя, нудно это у них получается, легкости, радости нет в труде, словно и не дело делают — мочало жуют.

— Слушай,— говорю я раз Полиевкту,— как бы мне это звать ладнее тебя: товарищем звать — обидишься поди, отцом назвать — мне не с руки.

— Ни мне, ни тебе! — ответил монах.— Зови Полиевктом!

— А грубовато словно выходит? А?

— Ништо... Только «товарищем» звать не надо — какой я есть товарищ?

Я поглядел ему сочувственно в серое лицо и в самом деле понял, что звать монаха товарищем — что селезня волом.

— Так вот бы что,— говорю ему,— жил я тут четыре дня, мусору, пыли — ба! Номер убрать бы пора.

— Не буду,— мрачно резнул Полиевкт.

— Как же, совсем не будешь?

— Совсем не буду,— оттяпнул монах.— Уедешь, тогда уберу.

— Да мне-то тогда на что?

— Ну-к что ж: вон веник в углу.

И он указательно пальцем ткнул в угол коридора.

Впрочем, у нас с Полиевктом отношения были на ять — нас подружил лукавый случай. Стою я у двери его комнатки, заглянул в нутро, говорю:

— А хорошо, брат, в келье твоей, Полиевкт.

— Не больно хорошо,— криво усмехнулся.

— А что?

— Икон много.

Он, видимо, ждал удара от слов моих, и то мое оскорбленье доставило б монаху неизъяснимую боль и наслажденье: «Терзай, мол, мучь, а я вот — терплю!»

Но я сказал другое:

— Что ж иконы: коли веришь — держи, а я вот не верю — на што мне они, даром не надо.

Как лист на ветру, встрепенулся монах, радость пробилась в глазах:

— Это ты хорошо сказал,— похвалил он громко мои слова. Помолчал, махнул рукой и, в дверь уходя, еще раз повторил: — Оч-чень ты хорошо сказал: на что они тебе?

С тех пор Полиевкт был со мною ласков и прост в обращении. Он мне кое-что рассказал и о старых

годах Афона, он мне поведал о том, как спутался разум монаший в этой нежданной диковинной жизни.

— Что же, и мы в свои годы жили, потрудились,— вел рассказ Полиевкт,— мы даром хлеб не ели, но вся та жизнь — с краев и до дна — была иная. А теперь живешь — не живешь, будто захожий путник в чужом дому... Вроде, оно выходит, муравейник здесь разорен, и на том месте сарай построен. Муравьи, что дым в облака — пропали. А десятка два жить тут осталось, в сарай сползли. Живут — не живут, и что им сарай пустой: сарай не муравейник. Так и мы — жизни той не воротишь, а в эту жизнь — чужие мы...

Много в миру чужого народу теперь живет. Съежился он, иззябся от крепких морозов жизни, темной пеленой глаза ему заволокло, куда идти — не видит и не знает.

Ну что же, так в мире испокон заведено: кто путь свой до предела изойдет — тому в беспутице туманной пропадать.

В Афоне народу мало. Тишина кругом — первобытная. Красота в горах — несравнимая,— такой красоты не встретишь нигде по берегу Черного моря. В Афоне, в центре совхоза, на площади — шегутится торговля: тут кооперативные лавки, тут и базарчик, торгующий ходкой снедью. Возле базара, у моря — лавчушка ютится в бывшей часовне, и в просветах стен, где черно от древних икон, гордо и бодро зовут за собой слова про абхазскую волю, про радостный труд, призывы читать «Зарю Востока», а рядом — смешная густая афиша, ее мастерили сплеча — афиша зовет на праздник:

«Состоицца буфэт... торгует лафка... Будит большая дикломация...»

Видимо, как диктовал себе в мыслях писака-горец, как шевелил словами,— так и врезал их в афишу, мало робея перед скучной грамматикой.

И вот подошло торжество. С гор собрался народ. В клубе шел туземный спектакль. Резвились на воле

туземные игры. Медлительные, важные абхазцы чинно прохаживались берегом, толпились на базарной площади, толкались по аллеям. Женщин мало — почти не видать,— одеты в черное, словно в трауре. Абхазцы смуглы и стройны. Одеты в серые плотные рубашки, тонко, в рюмку стянуты ремнями, ремни повиты серебряным узором; штаны заправлены глухо в легкие сапожки, у других завиты в цветные обмотки. На головах искусно смотаны и за плечи ловко, легко перекинуты мохнатые серые башлыки. У пояса острый зоркий кинжал, за поясом черный зловещий револьвер. Гулянье сжалось на узких зеленых прудах, у самого берега моря; рассыпались малые кучки по склонам горы, в кипарисных аллеях, заползли по крутому шоссе, по тропинкам туда, где стоит монастырь, где гигантские тянутся ввысь корпуса для наезжих больных — это бывшие кельи-норы монашьи и жилье высоких особ, монастырских чинов.

Праздники любят бутыли вина, южные праздники любят вино в бочонках. Северный пьяница хмелен стаканами, горец ведром только щекочет свой хмель: горцу вино что крестьянину квас. И ныне, на праздневстве, попито много, но хмель не берет, только в туманах пропали глаза. Негромкие кучки сидят по траве, под звон инструментов — и звонких и грустных, как горные речки, что путь пробивают в чащах,— горцы поют любимые песни. И песни те столь же прекрасны и стройны, как этот зеленый покров на горах, как этот сиреневый неба простор, как сам монастырь, белогривый красавец, что сказочным скоком мчался в горах и вдруг во мгновенье остыл в скаку и замер навеки над сонным бескрайним покоем. Тихо по склонам, тихо и в море — море сковал глубокий штиль.

Высохли хрустко на жарком морском берегу густые зеленые мхи — их со дна во время прибоя гонит на берег волна.

Высохли алые, черно-смолевые, желтые, белые камешки пляжа — их не достанет море, когда успокоит его в летаргической зыби тяжелый штиль. Тишь кругом. И говор людской, и горные песни, и спящее море в песне баючной — тонко звенят умирающим рокотом.

На серебряную нежную морскую грудь, на тулупы зеленые вечных лесов, по горам, по влажному низовью — мягко и плавно, как птица в гнездо, опускаются в звонах и шелестах вечерние сумерки.

На заре, морозким холодком, любо взбираться на Иверскую гору. Иверская вышка — владычица кругом, царит она над афонским простором.

Крут и труден путь — легок отдых на вершине. Иверскую вершину венчает древняя башня — седая старина от римских веков. Бродим мы в развалинах храма, щупаем, шарим замшелые стены, дышим далеким быльем, уходим памятью к тем временам, о которых остались одни вековые преданья. Вот и проталины серого камня — здесь крылись когда-то иконы, вот башня, где воины жили, подвал, где хранилось оружие, а вот — за стеклом — повалена груда костей. И над теми костями краткая запись:

Любовию просим Вас—
Посмотрите вы на нас:
Мы были как вы,
И вы будете как мы.

Эти надписи сделали, верно, монахи, этим словам недолог век. Но дышат глубочайшей стариной каменные плиты, гигантские камни осевших стен, колонны и вышки, откуда бессонный глаз схватывал зорко окрестности. В этой глуши семнадцать лет живет отшельник монах Сомон. Живет один — со своими молитвами, кормится овощью да изредка спускается с гор к греческим поселкам, добывает там кукурузу, печет из нее лепешки. Жили с ним раньше другие монахи, ушли — остался Сомон один. Когда приходят к развалинам крепости, к древнему храму путники, Сомон их водит по мертвым владеньям, повествует смиренно святые и безгрешные сказки. Потом на огне сготовит чай, накормит путников кукурузными лепешками. В свободные от молитв часы он ходит по окрестным лесам, собирает ягоды, грибы. Во время походов встречался не раз с медведями, ланями, видел волков, диких коз, кабанов — встречи сходили счастливо, зверь уходил прочь.

— А как же,— говорим,— коли хворать приходилось: как одному тогда?

— Хворать? А я никогда не хворал: семнадцать годов тут живу и болезней не знаю. Разве что утром недужно — так к вечеру встал, в этом и вся болезнь. Тут воздух чистый и легкий — с чего мне хворать?

Сомону полсотни лет. Он крепок и свеж, как буковый кряж,— видно, что веку хватит ему на целую сотню. Теперь затеял Сомон новое дело — рубит в лесу кизил, строгает тонкие палки, эти палки он продает приходящим путникам. На кизиловое дело Сомона толкнул горестный случай: на гору вдруг взобрались два ловкача, открыли там близ развалин пьяный притон, сами взялись водить приходящих по храму, в развалинах башни — и спьяна городят бог знает что о древних римских веках.

Шинкарщики сбили Сомону работу, отняли последнюю мзду, что он добывал на чаю, на россказнях вольных о древних веках,— так зачался для Сомона новый, кизиловый век.

Мы забрались на башенную вышку — там открывался бескрайный простор, взор терял горизонты.

Чернели, серели, синели горные хребты, за ними, не видима взору, крылась хлебная Кубань; по берегу морскому млечными точками мережат дальние города; в погожие дни, рассказывал Сомон, видны Сухум и Батум, из кружев зеленых чуть проступает бледная тень Трапезунда.

Леса и леса, кругом леса, склеились они по мохнатым горам в густую зеленую пену. Море словно смолой залито — черным и тяжким грузом припало к земле. Не оценит глаз простора кругом: небо, море, горы и леса — крепко слились без концов и начал. Дремлет природа, как в сказке богатырь, нижет сквозь сон невнятную речь, ровно и легко дышит крутой, высокой грудью.

[*1925*]

ФРУНЗЕ

Первая встреча

Помню я — Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, неисходную безработицу, армию раздетых, голодных ткачей. А наряду с тем — кипучая работа в фабзавкомах, закреп советской власти, строительство новой, красноткацкой Иваново-Вознесенской губернии: из кусочков Владимирской, Ярославской и Костромской надо было сшить свою, текстильную. Фрунзе в те дни работал председателем Шуйского совета. И его вызвали в Иваново — на это новое, большое дело. В конце года были съезды — на этих съездах и решали вопросы организации губернии, в работах съездов первая роль принадлежала Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темно-русые волосы, откинутые назад густою волнистой шевелюрой. Движенья Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и положенье тела както органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движенья ровны, плавны и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспых-

нут огнями серые глаза, выскочит по лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро переметывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волненье — и вошли в берега передрожавшие страсти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны движенья, только редко-редко вздрогнет в голосе струнка недавнего бурного прилива. Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного первого заседанья в семнадцатом году, и сколько потом ни встречался с ним в работе, на фронтах ли — я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органически цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара,— и теперь ходили к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, шли к своему старинному подпольному другу, к Мише, которого еще по давним-давним дням знали и помнили как ласкового, доброго сероглазого юношу.

Весть об его смерти

В начале этого года погиб драматической смертью старый большевик, иваново-вознесенский ткач, Семен Балашов, «Странник», как звали его в подполье. И мы тогда, иваново-вознесенцы, живущие в Москве, собирались, обсуждали, как отозваться на эту смерть, как хоронить. Прошло почти полгода — и снова собираемся за тем же столом, те же, что тогда, но обсуждаем иной вопрос: как отозваться на смерть дорогого земляка, Михаила Васильевича *Фрунзе.* Тот раз и сам Фрунзе ходил к Балашовскому гробу, теперь надо его хоронить.

У каждого так много-много есть что вспомнить и что сказать, но больше молчим, не вяжутся речи, обрывками слов толкуем про делегацию из Иваново-Вознесенска в пятьсот человек, про комиссию по увековеченью памяти, про сборник, что-то еще...

Вот сидит — поникшая, печальная — старая когорта подпольщиков. Они помнят мальчика Мишу, совсем безусого юнца, когда держал он пламенные речи на людных рабочих митингах, знают его по каторжным централам, где юный большевик «Арсений» воодушевлял, заражал товарищей своей бодростью, свежестью, непоборимой верой в победу,— победу великого дела борьбы.

Они его помнят по тюрьмам, по ссылке, знают, как он спокойно, мужественно ожидал виселицу... Летучие мысли, памятки, воспоминанья...

Потом пошли в Колонный зал.

Там траурной сетью обвиты стены, там в тысячах огней горит зал, но невесело его сиянье, тускл этот похоронный свет пустых огромных комнат. Склонились знамена, в черных лентах замер портрет красного полководца. Тихи разговоры, задушены горечью, болью стиснуты речи — так тихо бывает только в комнате труднобольного, когда близка смерть.

Уж полночь — скоро из больницы привезут гроб. Мы выстроились в ряды, ждем — скоро принесут. И вот — заплакал оркестр похоронным маршем, вздрогнули наши ряды, головы обернулись туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул, и новый, и новый — бессменные караулы у гроба полководца...

Вот Надежда Константиновна — скоро два года как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как мучительно должно быть теперь ее состояние,— не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно много вобрало в себя страданья, что остыло в сосредоточенном, недвижном выраженье — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

Мы дежурим в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль. Но об этом не теперь, будет время — вспомним.

Проходят вереницы в почетные караулы — до утра не редеет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом,— идет Москва к праху славного воина.

Как собирался отряд

Иваново-Вознесенск. Конец 1918 года. Заседает бюро губкома — обсуждают вопрос о необходимости создать спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский фронт. Говорит Фрунзе:

— Положение совершенно исключительное. Так трудно на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем порядке сделать армии впрыскиванье живой рабочей силы, надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, мобилизовать партийных ребят — ЦК проводит партийную мобилизацию...

А нам, иваново-вознесенцам, колчаковский фронт важен вдвойне — там пробьем дорогу в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса...

Я помню — все мы, верно до последнего человека, заявили о готовности своей идти на фронт. Но нельзя же отпустить целый губком — стали делать отбор.

И какое было жадное соревнованье: вперебой каждый рвался, чтоб отпустили именно его́, высказывал доводы, соображенья... В личной беседе, еще раньше, Фрунзе говорил мне, что берет с собой; он уже назначался командовать IV армией. И каков же был удар, когда я узнал, что вместо меня едет Валерьян Наумов. Я устроил сцену и Валерьяну и Фрунзе.

— Ну, как-нибудь там устройте... может, и отпустят...— посоветовал Михаил Васильевич.

Переборол. Согласились. Уже много позже дали бумагу в том, что являюсь: «...уполномоченным Иваново-Вознесенского Губернского Комитета Российской Коммунистической Партии по препровождению Отряда Особого Назначения при IV армии в район действий этой армии.

За председателя *А. Воронский*
Секретарь *Калашников*».

На этом же заседании постановили и про отряд. У меня сохранился самый документ. Вот он:

«Выписка из журнала заседания Бюро Губернского Иваново-Вознесенского Комитета Российской Коммунистической Партии от 26 декабря 1918 года.

1. Ввиду особой важности для нашего промышленного текстильного района скорейшего завоевания *Оренбург*-Ташкентского направления;

2. Ввиду необходимости поднять настроение стоящих там красноармейских частей и

3. Принимая во внимание отъезд на этот участок фронта председателя Губернского Комитета партии товарища Фрунзе — постановляется:

Организовать Отряд Особого Назначения из рабочих Иваново-Вознесенского текстильного района и отослать его в район действия IV армии.

За председателя *А. Воронский*
Секретарь *Калашников.*

№ 89.
25 января 1919 года.
Иваново-Вознесенск».

Мы горячо взялись за отряд — рабочие шли охотно, в короткий срок набралось как надо. Приодели из последнего, добыли с трудом оружие — кажется, сносились с Москвой, свезли оттуда.

Натащили литературу, в Гарелинских казармах, где стояла часть отряда, вечерами занимались культработой, готовились к фронтовой борьбе,— понимали, что придется действовать не только штыком, но и дельным, нужным словом. Особенно помнится мне в эти дни близкий друг Фрунзе — Павел Степанович Батурин. Он в те дни заведывал губернским отделом народного хозяйства. Но при организации отряда он все время возился с оружием, отовсюду собирал его, раздавал отряду.

Позже, в конце 1919 года, прислал его Фрунзе вместо меня, отозванного на другую работу,— комиссаром Чапаевской дивизии. Но недолго проработал он на этом посту — казацкий налет изрубил штаб, изрубил политический отдел, погиб тогда в жестокой сече и славный комиссар Павел Батурин.

Мне помнится, он все рассказывал про Фрунзе, как тот сидел во Владимирском централе, как ему Павел Степанович переправлял туда книги, рассказывал диковинные вещи про смертника Фрунзе: в заключенье он не потерял бодрость настроения, много занимался собою, изучал что было можно, для товарищей являлся лучшим образцом, подбадривал их своим примером.

Отряд был готов. Погрузились. Проводили нас тысячные толпы рабочих, наказывали не посрамить красную губернию ткачей, клялись не забывать наши семьи, помогать им в трудные дни.

Мы приехали в Самару, там ждал приказ Фрунзе — направляться немедленно в Уральск.

Так началась боевая история славного Иваново-Вознесенского полка — он бился с Колчаком, потом ходил на Польский фронт — в рядах героической Чапаевской дивизии.

И в самые тяжкие минуты помнили бойцы своего командира Фрунзе, воодушевлялись одною мыслью, что он где-то здесь, около них, что он руководит борьбою...

Последний вечер

В конце восемнадцатого года, когда решен был вопрос об отправке на фронт из Иваново-Вознесенска рабочего отряда, мы, группа партийных тамошних работников, собрались на разлуку: многие из нас уезжали вместе с отрядом.

Собрались запросто посидеть, потолковать, обсудить обстановку, создавшуюся в губернии в связи с отъездом такой массы ответственных партийцев. Были тут: Любимов, Андреев, Игнатий Волков, Калашников, Шорохов Дмитрий Иванович, Валерьян Наумов, всего что-то человек двадцать — двадцать пять. Мы понимали, что собираемся, может быть, последний раз, что больше в таком составе не собраться уже никогда — открывалась перед нами новая полоса жизни. Вот мы рассыплемся по фронту, вот перекинемся на окраины, зацепимся на боевых, командных, на комиссарских постах, может быть, застрянем где и по гражданской работе в прифронтовой полосе.

Так думали, так оно и случилось — мы уже потом, через годы, совсем неожиданно сталкивались друг с дружкой где-нибудь на Урале, в Сибири, в Поволжье, даже в далекой окраине Туркестана, в Джетысуйской области. Иные уж и совсем не воротились назад: в первых же боях с уральскими казаками погиб старейший большевик Мякишев; потом зарубили казаки же под Лбищенском Павла Батурина, а где-то под Пугачевом, окружив и скрошив наш полк, озверевший враг надругался над трупом рассеченного в бою незабываемого бойца и комиссара Андреева.

Да, мы знали тогда, в этот прощальный вечер, что собираемся в последний раз. С нами был и Фрунзе — он вскоре принимал командование армией, уезжал в Самару. Сколько там выхлеснуто было пламенных речей, сколько было пролито дружеских настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная уверенность в счастливом исходе боевой страды!

Помню, Фрунзе говорил все про свое, про заветное:

— Ну, что ж тяжело — может быть и тяжелее... Нам бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом,— там прямая дорога к туркестанскому хлопку...

Эх, хлопок, хлопок, как бы ты разом на ноги встряхнул наши притушенные корпуса...

И когда мы потом очутились на фронте — казалось: самая острая мысль, самое светлое желанье Фрунзе устремлены были именно к Туркестану.

Лишь только «откупорили оренбургскую пробку»— Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщал тогда всем о первых хлопковых эшелонах, тронутых на север: видно, в этот момент осуществлялась лучшая, желаннейшая его мечта...

Сидели и толковали мы тогда, в Иванове, про разное, говорили много и про голод рабочего района.

— Будем оттуда помогать,— сказал уверенно Фрунзе.— Как только малейшая возможность — глядишь, десяток-другой вагонов хлеба можно и дослать!

И помню, уже с фронта — сколько раз отсылал он голодным ткачам хлебные составы, сколько положил он тут забот, сколько выдержал осад из Наркомпрода, сколько крови попортил на спорах, на уговорах, на всей этой сложнейшей возне с заготовками и самостоятельной переправой эшелонов к Иваново-Вознесенску: в те дни задача эта была исключительно трудна.

И вот о чем, о чем только не говорили мы в тот памятный вечер — все зарубал Фрунзе в своей памяти, все осуществлял потом среди адской работы, несмотря ни на какую сложную обстановку.

Он свой северный край, Иваново-Вознесенский край, любил какой-то особенной, нежной любовью. Даже и теперь, в эти вот дни перед смертью, перед операцией, он наказывал кому-то из ближайших друзей — не то Любимову, не то Воронскому:

— А помру — похоронить меня в Шуе... там,— знаешь, что на Осиновой горке...

И все-все припомнилось мне теперь из того незабываемого, прощального вечера.

Мы пели песни — запевал Любимов любимую свою:

Уж ты сад, ты мой сад.
Сад зеленый мой...

Мы хором подхватывали, дружно вели мелодию прекрасной печальной песни. Пел и Фрунзе. Он положил голову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые умные глаза были свежи и трезвы, видно было, что и за песней все работает-работает без перебоя его мысль, не оставляют его какие-то тревожные думы.

Уж давно и далеко вглубь ушел тот вечер, ему восемь диковинных и великих годов. Уж многих нет из тех, что пели тогда про зеленый сад, а теперь вот ушел и лучший, первый между нами, нет любимого Михаила Васильевича, нет прекрасного и редкостного человека с мудрой головой и с нежным, с детским сердцем.

Встреча в Уральске

Иваново-вознесенский рабочий отряд временно задержали в Самаре. Нас четверых: Игнатия Волкова, Андреева, Шарапаева, меня — Фрунзе спешно вызывал в Уральск. Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта была под самым Уральском, что-то в верстах двадцати — тридцати. Мы ехали степями на перекладных и дивились на сытую жизнь степных богатых сел-деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели взасос и на закуску, нам после этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которою жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была, как вооруженный лагерь — она полна была и

людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казачьи сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь.

Приехали в Уральск. Уральск — просторный степной город, в нем сгрудилось в те дни огромное количество войск: отсюда уходили полки на позицию, сюда приходили со смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, не то учебная, не то случайная, на удаль, как здесь в то время говорили,— «огонь по богу!» Помнится, встретились с одним из ближайших помощников Фрунзе, с Новицким Федор Федоровичем, он с ужасом заявил:

— Черт знает чего палят. И поверите ли, за сутки больше двух миллионов патрон ухлопают... Не взять еще сразу нам в руки... ну, да осмотримся, остепеним...

И в самом деле — остепенили: пальбу и весь этот вольный разгул утишили скоро,— особенно же когда влились сюда иваново-вознесенские ткачи.

Мы как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказывал тот же Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все время выскакивает вперед... Мы уже спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все придерживали около себя... да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в кашу не попали...

Мы входили в комнату Фрунзе, он сидел склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки... Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты — обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда окончится совещание. И потом, когда



Д. А. Фурманов и М. В. Фрунзе.
1920 г.

спецы ушли и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся из командующего — старым милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут устроились в Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать... Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.

Прожелтел...

Мы не видели его всего-навсего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого доставалась ему боевая работа.

Скоро мы все разъехались к действующим частям, утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.

Примиритель

Близкие друзья когда поспорят, так крепко: наотмашь, сплеча, не жалея самого дорогого — свою дружбу.

Как-то злые и нервные до предела ехали мы в степи с Чапаевым. Он слово — я слово, он два — я четыре. Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано,— одумались, смолкли. И ни слова не говорили весь путь — до штаба кутяковской бригады. Отношенья переменились как-то вдруг, и мы ничего не могли поделать с собой. Экспансивный и решительный, мало думая над тем, что делает,— Чапаев написал рапорт об отставке. Дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. А я знал, о чем будет этот доклад,— Чапаев вгорячах может наделать всяких бед. И я послал Фрунзе поперечную телеграмму: не разрешайте, мол, Чапаеву выезжать на доклад, скоро приедем вместе, тогда выясним дело.

Фрунзе Чапаеву воспретил приезд. Прошли дни горячих боев — мы собрались, поехали в Самару.

Звоним из штаба на квартиру:

— Михаил Васильевич дома?

У телефона жена Фрунзе, Софья Алексеевна:

— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только, пожалуйста, недолго, не утомляйте его...

Приехали. Входим. Михаил Васильевич бледный, замученный лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать. Говорит о положенье на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, справляется о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит-говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то и дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказал что хотел, выговорился до дна — кинул нам, улыбаясь:

— А вы еще тут скандалить собрались? Да разве время, ну-ка подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети, а он еще шутил — напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!

Мы с Чапаевым уходили опять друзьями —мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух.

Десять минут

Иной летучий, крошечный фактик так врезается в память, что не забыть его во всю жизнь. Это значит, что фактик этот по существу своему был не мелочью,

что действие его было глубокое, что смысл его был серьезен и только внешняя форма — летучесть, краткость, внезапность — отпечатлели его как мелочь.

Как-то в 1919 году, в апреле — мае, полки кутяковской бригады расколотили колчаковскую часть. Уж не помню, насколько значительна и важна была эта победа, не помню, были ли какие трофеи, выигрывалось ли особо серьезно положение. Но после удручающих весенних неудач и этот выигранный бой был на виду. Штаб бригады стоял в какой-то татарской деревушке. Маленькая закуренная комнатка, телефоны, аппараты на столе, склоненные чирикающие телеграфисты, Кутяков сидит в углу, шепчется с начштабригом. То и дело взвизгивает дверь в избу — командиры ли, вестовые входят, иной раз в латаной шапке, в ватном балахоне прорвется житель-татарин с жалобой за теленка, за хлеб, за утащенные неведомо кем и когда лопату, бадью, оглоблю...

В штабе шум и гул, в штабе чирикающий беспрерывный говор аппарата... И вдруг тихо:

— Фрунзе приехал...

— Как Фрунзе, где?

— Сюда не смог — машина стала в грязи... Подходит пешком... С ним какой-то усатый... Ну уж, конечно, усатый этот — верный его боевой соратник, Федор Федорович Новицкий.

И в штабе вмиг все подтянулось, встало и село на свои места — словно и комната стала просторней, и аппарат заработал отчетливей, и взгляды у всех посвежели, забодрились, засветились.

Короткой и крепкой походью, как всегда, чеканно отстукивая каблуками, — Фрунзе вошел в штаб. Ему было хотели рассказать про удачу, а он уже все знал; ему хотели рассказать про общее положенье, настроенье татар-сельчан, про трудности с перевозкой артиллерии по этакой глинистой вязкой дороге, про медленный подвоз патронов, про нехватку, а он сам, прежде чем ему скажут, подсказывает то же самое: видно, сводки и отчеты не соскальзывали у него с памяти, а зацеплялись там какими-то крючочками и цепко держались до нужной минуты. Он пробыл

недолго. Тут же, за этим штабным столом, наметил благодарственный приказ и передал его Кутякову:

— Распространить... Прочесть... Молодцы, ребята!..

Он пробыл всего, может быть, десяток минут — заглянул только по пути, торопился в другое место.

И после этого короткого визита — отчего же стало всем так легко, словно набрали полной грудью свежего воздуха и дышат — не могут надышаться.

Простые, нужные слова, этот освежающий, бодрящий приказ, эта весть по полкам, что Фрунзе тут, около, и сказал спасибо ребятам за удачу — все это освежающей волной прокатилось по полкам, и полки помолодели, повеселели. Кажется, и крошечный фактик, а, видимо, важен, нужен был он в те дни и часы. Только весть о приезде и только дружеское слово любимого командира, а сколько от этого жизни, сколько заново уверенности в себе, какой подъем!

Фрунзе под Уфой

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей повис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугуруслан — в панике красные части россыпью катились на волжские берега. У Бузулука, под Самарой, у Кинеля взад и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, упавшие духом полки.

Казалось — ничто уж не может теперь вдунуть дух живой этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые разъезды Колчака рыскали в сорока верстах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили наши части. Близились дни драматической развязки.

Накругло сутки — в кабинете Фрунзе, в оперативном отделе, в штабе наших войск — кипела страстная работа. Быстро снимались и сгонялись в глубокий тыл те красные полки, у которых наглухо схлопнулись боевые крылья; туда, где теплилась чуточная надежда, вливали здоровые, свежие роты, ставили новых, крепких командиров, гнали из тыла в строй отряды большевиков, целительным бальзамом оздоровляли

недужный организм армии; с других участков, с других фронтов перекидывали ядреные, испытанные части, в лоб Колчаку поставили стальную дивизию чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские резервы, гнали ящики патронов, винтовки, пулеметы, динамит, гнали продовольствие хозяйственным частям: тыл в эти дни фронту служил как никогда. «Все для фронта» — и железной рукой проводили в жизнь этот мужественный и страшный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанье, Фрунзе в штабе диктует приказы, Фрунзе в бессонные ночи никнет над прямыми проводами, Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цветниках узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек, перекидывается по горному горошку, идет шоссейными путями, тонкой палочкой скачет по селам-деревням, задержится на мгновенье над черным пятном большого города и снова стучит-стучит-стучит по широкому простору красочной, причудливой, многоцветной карты...

Около — Куйбышев, чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решенья, гонят по фронту, по тылу, в Москву — гонят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними — неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал и знал и любил Фрунзе,— Федор Федорович Новицкий, Каратыгин... Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история: это они ночи насквозь корпели над мучительно-вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупицы правды, отметали паническую или восторженную ложь, из этих крупиц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду, это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, Баранову, Элиаве, чтоб из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов свивали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел неугомонной, пламенной работой штаб.

Все понимали, какой момент, какая ответственность:

здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая была дорога, здесь ставилась на карту сама Советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через края творческая энергия этих удивительных людей: Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал — тот помнит и знает, с какой мукой и с какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего отдавал — и мысль, и чувство, энергию — в такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку чугунный кулак Красной Армии.

Фронт почувствовал дыханье свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в неожиданной радости. Вдруг и неведомо как перестроились смятенные мысли,— полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки в наступленье...

Как, неужели вперед? Неужели конец позорному бегству, неужто Красная Армия кинулась к новым победам?!

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к врагу — вдохновенные, строгие, выросшие на целую голову и не узнавшие себя,— бурной лавиной тронули вперед наши войска...

Вот сошлись с передовыми отрядами врага — легко и уверенно сбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот снова ударилась с грудью грудь — и снова отшибли вспять. Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, первые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприятельский полк, что дрогнул враг по всему фронту...

Вот они, первые вестники побед. О, какой радостью прокатились по красным полкам эти громовые раскаты первых победных дней! Все настойчивей, стремительней мчит вперед неудержимая красная

лава. Уже за нами Бугуруслан, за нами Белебей, Чишма — мы выходим на берег бурной Белой, перед нами высоко по горе раскинулась красавица Уфа. Вот он, ключ к сибирским просторам, вот он город, который открывает широкую дорогу новым победам:

— Уфа должна быть во что бы то ни стало взята!

Колчак ушел за реку, он на нашем пути взорвал переправы, сжег запасы хлебов, фуража, изуродовал селенья — красные полки неслись пепелищами, голой ровенью уфимских просторов. Враг ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами английских батарей, офицерскими полками, стальной изгородью крепких, надежных войск.

Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву въехать в Москву: две клятвы скрестились на уфимской горе. Уфу стремительно надо вырвать из цепких лап врага. Но как перейти эту бурную Белую, когда нет ни баржей, ни плотов, ни пароходов? Что эти лодочки, что эти бревнышки, стащенные нами к берегам против уфимского моста? Нет, главным ударом надо бить не здесь!

Где-то у Красного Яра, верстах в двадцати повыше Уфы, наша кавалерия остановила в пути два пароходишка, груженных офицерами: пароходы взяли, офицеров утопили в Белой. Эти пароходишки и должны были сыграть невиданную роль. Живо построили плоты, стянули к Яру дивизии: первой пойдет Чапаевская, первым полком из Чапаевской пойдет на тот берег Иваново-Вознесенский.

Вечером в Красном Яру совещанье всех командиров-комиссаров из стянутых к берегу частей. На совещании Фрунзе. Он тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской ночи, когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря, сколько можно бойцов вбить битком на пароходы и плоты, во сколько минут перебросят они на тот берег один, другой, третий полк... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как на ладони весь план, как на ладони наши силы, наши возможности, выверены тонко и точно силы врага, предусмотрены жуткие случайности.

— Ну, ребята: разговорам конец, час пришел решительному делу!

И ночью, в напряженной, сердитой тишине, когда белесым оловом отливали рокотные волны Белой, погрузили первую роту иваново-вознесенских ткачей... По берегу в нервном молчанье шныряли смутные тени бойцов, толпились грудными черными массами у зыбких, скользких плотов, у вздыхающих мерно и задушенно пароходов, таяли и пропадали в мглистую муть реки и снова грудились к берегу, и снова медленно, жутко исчезали во тьму...

Отошла полночь — тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. Полк уж был на том берегу.

Полк перебрался неслышим врагом — торопливо бойцы полегли цепями: с первой дрожью сизого мутного рассвета они, нежданные, грохнут на вражьи окопы.

Здесь, по берегу, всю команду вел Чапаев,— командовать полками за рекой услал Чапаев любимого комбрига Ивана Кутякова. За ивановцами вслед должны были плыть пугачевцы, разинцы, Домашкинский полк...

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу,— они по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям расчистят путь... Время сжало свой ход, каждый миг долог, как час. Расплетались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По заре тишина. Редеющий сумрак ночи ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжко гигантские жерла, взвизгнула страшным визгом предзорная тишина: над рекой и звеня, и свистя, и стоная шарахались в бешеном лёте смертоносные чудища, рвалась в глубокой небесной тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпалась в жидкую тьму.

О-х... Ох...х... Ох...х — били орудия.

У... у... з... з... и... и... и...— взбешенным звериным табуном рыдали снаряды.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.

Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом заколыхал вперед. Артиллерия перенесла огонь — била дальнюю линию, куда отступали колчаковские войска. Потом смолкла — орудия снимали к переправе, торопили на тот берег.

Переправляли Пугачевский полк — он берегом шел по реке, огибал крутой дугой неприятельский фланг. Иваново-вознесенцы стремительно, без останову гнали перед собою вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок Новые Турбаслы. И здесь встали,— безоглядно зарваться вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уж переправили и четыре громады-броневика — запыхтели тяжко, зарычали, грузно поползли они вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рыхлом песке побережья сразу три кувырнулись,— лежали бессильные, вздернув вверх чугунные лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны — и, сверкая штыками, дрожа пулеметами,— пошел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас патронов, новых не было, с берега свозили туго: пароходики грузили туши броневиков, артиллерию, перекидывали другие полки.

Иван Кутяков отдал приказ:

— Ни шагу назад. Помнить бойцам: надеяться не на што — сзади река, в резерве только... штык!

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Турбаслы от пулеметной дроби — не выдержали цепи, сдали, попятились назад. Скачут с фланга на фланг на взмыленных конях командир, комиссар, гневно и хрипло мечут команду:

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку! Ложись до команды! Жди патронов!!

Видит враг растерянность в наших рядах — вот он мчится, близкий и страшный, цепями к цепям... Вот

нахлынет, затопит в огне, сгубит в штыковой расправе...

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в цепь...

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ур-ра!!

И близкие узнали и кликнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись слепо, дико вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в атаке Тронин, начальник Поарма. И первая пуля сразу пробила смелому воину грудь: теперь в том месте, где черная ранка,— золотой звездой горит на груди у него орден Красного Знамени.

Иван Кутяков Фрунзе вослед послал гонцов, наказал под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патронов — их, ползком волоча в траве, разносили к цепям, как только полегли они за Турбаслами. И когда осмелели, окрепли наши роты — скакал возвратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня — наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли сговорить-совладать, чтоб справить к пароходу — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя — пуля пробила голову. Взял командованье Иван Кутяков. Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага Каппелевский полк. Утром грозно вступали в Уфу.

Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настежь.

Много ли вас осталось, бойцы уфимских боев? Я знаю — в страшном тифу, на безводье, в кольце казацких войск — вы долго бились на Урале, ходили вы и на панскую шляхту.

Не раз освежали заново ваши боевые ряды — сотни ткачей и пахарей полегли по степным просторам, полегли под губительным польским огнем.

Но те, что остались,— над свежей могилой помяните теперь прощальным словом своего боевого командира.

[*1925*]

МАРУСЯ РЯБИНИНА

Городской совет помещался в доме фабриканта Полушина. Дом просторный, удобный, комнат хватало на всех — нашлась внизу, под каменной лестницей, малая каморка и штабу Красной гвардии. В семнадцатом году мы вовсе забывали, где живем на постоянном житье: там ли, где осталась семья, здесь ли, в совете, где надо быть начеку и ночь и день. И больше времени проводили в совете: день, от зари до полуночи,— по заседаньям, в приемах, по митингам — мало ли что! От полуночи до рассвета дремали мы на широких дубовых столах, по лавкам, на притоптанном смачном полу — кто где наугад умостится. В штабе гвардии — круглые сутки содом: приходили рабочие с фабрик, отмечались, давали сведенья о своих отрядах, получали оружие, подписывались на разных обещаниях, правилах, брали инструкции, уходили. Была бессменная возня с учетом, много хлопот было и с оружием — оно частью хранилось тут же в комнатке, частью во дворе, в сарае — автомобилями возили его сюда из военкомата.

В штабе гвардии впервые я встретил Марусю Рябинину. Была она девушка вовсе ранняя, годов семнадцати. Лицом кругла, в щеках румяна, носик торчал красной шишечкой, светло-зеленые шустрые глаза просверкивали через темную изгородь ресниц.

Русые гладкие волосы Маруси отхвачены коротко и неровно; из-под платочка торчали они за ушами и на затылке будто жесткие оборванные пучочки мочала. Ходила Маруся в кожаной тужурке, в плотной черной юбке — так ходила и лето и зиму, другого костюма не знала.

Первый раз я увидел Марусю в штабе гвардии. Она сидела, пригнувшись круто над столом, опрашивала грудку рабочих, записывала то, что рассказывали.

Прошел восемнадцатый год. В январе девятнадцатого мы уходили на Колчака. Иваново-вознесенские ткачи посылали тогда свой первый тысячный отряд. Этот отряд развернулся на фронте в полк, и прошел тот полк — Иваново-Вознесенский полк прошел страдный путь по Уралу, по самарским степям, был на Украине, с конницей Буденного. Ходил на белую Польшу.

С первым отрядом ушла и Маруся Рябинина.

Горели пожары весенних боев — Колчак наступал на Волгу. То были дни колчаковских побед, дни, когда по югу раздольными полями в Москву развивал свой ход Деникин, когда по северу рыскали хищным зверьем английские добытчики. Советская Россия нервно дрожала в когтистом капкане упорного, лютого, смелого врага. Надо было резким усильем разжать капканью цепь, вырвать мускулы из тесных пут, врага ударить с отвагой, с размаху, в лоб. И первым же крепким ударом надо было вышибить дух Колчаку. Мы скликали против победного адмирала со всех концов советские полки.

Округлилась крутой железной грудью и встала в упор и глянула дерзко, не мигая, врагу в лицо дивизия чугунных чапаевских полков. В той дивизии был полк иваново-вознесенских ткачей, в том полку шла бойцом Маруся Рябинина.

С переломных апрельских дней врага повернули вспять. В апреле от Бузулука в Бугуруслан гнали мы с присвистом и гиком белое вражье войско.

Есть такое село в просторах от Волги к Уфе —

Пилюгино — его не забудешь целую жизнь. Был под Пилюгиным бой. Ревели и выли орудия. Шрапнель целовала огненным поцелуем голубой небесный овал. Как злые цепные псы — рвали, визжали пулеметы. Ссеченным колосом падали бойцы — птицами бились в подсолнечных зарослях. Враг смолк. Враг пропал. И сразу остановилась страшная, испуганная тишина: мы мертвыми цепями молча шли по гумнам к затихшим избам села, шли и не знали, как встретят? Неужто роковая засада припряталась здесь по углам? Неужто эти глухие овины, эти молчащие избы стерегут нас страшной тишью? Мы робко ступали, как в погреб, чиненный динамитом. Крался Иваново-Вознесенский полк, скрипела под ногами непокорная жухлая трава. Шла в цепи Маруся Рябинина, устало свисла в нервных руках тяжелая каштановая винтовка, глаза горели страстным возбужденьем, но улыбалось открытое чистое девичье лицо. Полк вкрался в село, тихо вполз в улицы. Село молчало. Враг через гору скрылся в лес.

Прошло недолгое время, и снова уж бьется полк у Заглядина, на берегу Кинеля. Был по цепям приказ: приступом взять вражьи окопы. Окопы на том, на крутом берегу, до окопов вброд, сквозь волны, волнам вперерез, надо внезапно, срыву прорваться бойцам. Берег рыхл и крут, плотно укрыт в нем враг — врагу наши цепи открыты на удар. Как только метнулась команда — кинулись в волны,— в первой цепи Маруся Рябинина. Вмиг, лишь в воду скакнули бойцы,— грохнула дробь пулемета из крытых песчаных дыр.

И первая пуля — в лоб Марусе. Выскользнула скользкой рыбкой винтовка из рук, вздрогнула Маруся, припала к волне, вспорхнула кожаными крыльями комиссарки и грузно тиснулась в волны, а волны дружно подхватили, всколыхнули теплый девичий труп и помчали весело на зыбких зеленых хребтах.

За Марусей, за черной мелькающей тенью, в воде вьющимся алым шнурочком дрожала изумрудная, кровавая струя...

Полк прорвался на берег. Полк выбил цепи врага, занял глубокую ленту недоступных нор.

Теперь — далеко позади те годы. И нет больше звонкой круглолицей красноармейки Маруси Рябининой. Но не остудишь сердце, как с болью и с гордостью в памяти встанет прекрасный образ. Сколько, Маруся, таких, как ты, верных до последней жизненной черты, ушло в дни кровавой сечи!

Москва, 12 ноября 1925 г.

ТАЛКА

Первые выходили — бакулинские ткачи. Шершавой и шумной толпой выхлестнули они из корпусных коридоров на фабричный двор. И раскатился от стен и до стен по каменному простору ревучий гул.

У ворот, под стеной, оскалившись злобой, в строгой готовности вздрагивали астраханские казаки. На кучку железных обрезков, стружья, укомканной грязи выскочила хрупкая тощая фигурка рабочего. И вдруг зашуршало по рядам:

— Дунаев... Дунаев... Евлампий Дунаев...

Дунаев вскрикнул что-то и взмахнул повелительно над головой короткими руками. И было видно, как торопливо юркнула к затылку черная кепка, сползли в подмышки рукава рабочей блузы и ворот отскочил с крутого кадыка.

По восковому рябому лицу Дунаева проступили горячие пятна, черные глаза захлебнулись волненьем, вспыхнули, как жало — впились в толпу. Остро прыгала короткая бородка, как клееные — трепетали черные усики. Он весь дрожал, словно птица в петле, а высоко вскинутая тонкая рука приказывала мужественно и властно:

— Товарищи, внимание!

И все, что гремело, стучало, кричало, визжало — вмиг встало. Вмиг — тишина. Только чеканным клекотом чмокнули по камням казацкие кони. Казаки

ерзко шаркнули в седлах шершавыми штанами. Подались назад, хрустнули нагайками, но остались под стеной. Толпа могуче зевнула в казачью сторону, тяжело обернула к Дунаеву сухое решительное желтое лицо — и замолчала.

— Товарищи! Мы бросили работу, мы вышли на волю — зачем? Затем, чтобы крикнуть этим псам,— он дернул пальцем на каменный корпус,— крикнуть, что дальше так жить и работать нельзя! Верно али нет?

И казалось — подпрыгнул каменный двор от страшного вскрика толпы, а стены медленно, жутко покачнулись.

— Но не будет успеха, товарищи,— покрыл Дунаев утихавшие голоса,— не будет успеха, ежели мы в одиночку. Всем рабочим горькая жизнь одна — вместе с нами пойдут все фабрики, все заодно,— так али нет?

И снова крякнул в мгновенной встряске каменный двор. Охнула толпа, заволновалась тревожная, словно кто-то по рядам перебирал ее, как струны,— крепкими, цепкими пальцами.

Со стружьей кучки кратки были гневные речи.

С шипом кто-то шамкнул в толпе:

— Среди нас шпионы...

— Шпионы!.. Шпионы!.. Шпионы!..

Словно против шерсти пошарили зверя: взлохматилась, ощетинилась сердито толпа.

— Где шпионы? Взять шпионов в бока!

И кто-то выкрикнул резко и внятно:

— Шпионы метят спины мелом...

Тогда вмиг поверили все, что у шпионов — мел в руках, и тысячи глаз заскакали по соседским ладоням, шарили по саленым спинам, но не находили мела, не видели предательских спинных крестов.

— Про-во-ка-ция!

И так же быстро, уверенно побежало это новое:

— Провокация, провокация, провокация!..

— Товарищи, нет ничего: круглый обман. Торопись выходить за ворота!

И толпа снялась, как с якоря огромный пароход,— забила лопастями, заухала, расплескалась звонкими

вскриками, выравняла путь и вперила в ворота прямой, неколебимый взор.

Тогда кони казацкие враз куснули удила — подались казаки в сторону, лава вылудила улицу.

И неслась густая темноблузая масса по недоуменному городу, обрастала, вырастала, с фабрики перехлестывала на фабрику, заливала корпуса, откатывалась прочь — окрепшая, освеженная, густая и черная, как волны в ветру.

Недоступны каменные стены вкруг корпусов; стиснуты плотно жадные челюсти железных ворот; пусты жандармские кобуры — готовы наганы в руках; отменно вооружены полицейские наряды; по городу свищут желтолампасые эскадроны астраханцев...

Ямы, заставы, капканы, засады — смерть, как горные тучи, низко повисла кругом.

Но широк и волен шумный бег масс — разжимаются перед ними пасти ворот, пропускают высокие стены, скрежещут, но молчат жандармы, мимо скачут разъезды казаков.

У Кампанских ворот враз не далось — тогда просочились с тыла, прорвались во двор и оттуда вместе уходили через главные ворота.

Кампанских вели двое — Федор Самойлов и Семен Балашов.

На городской площади, на главной — перед управой — собрались невиданным множеством и забили приуправские улицы, как патроны бекасинником.

Над толпой, на плечах у сильных, как малая рыбка на солнце, выплескалась вверх хрупкая фигура Евлампия Дунаева:

— Тш...ш...ш... Та...ава... рищи! Тихо!

Да, тихо: все тише... тише и — тихо! Остановилось.

Евлампий Дунав пронзительно, гневно выпалил короткое слово:

— Товарищи! Фабрики побросали работы. Десятки тысяч голодных рабочих пришли сюда — вон, погляди!

И он над головой быстрым кругом перекинул руку.

— Мы предъявим фабрикантам требования и до тех пор не встанем на работу, пока требования наши не удовлетворят.

— Правильно! Верно, Евлампий!!

— Забастовку, товарищи, доведем до конца,— вскрикнул Дунаев,— до конца, до самой точки — али нет?

Тысячегрудым эхом гикнуло по площади согласье.

Дунаев сполз с плеч. Дунаеву первому поручил говорить партийный комитет. Комитет заседал накануне в лесу, ночью,— там и решили утром подымать забастовку. Теперь комитет большевиков на площади сомкнулся в центре, где выступал Евлампий,— одного за другим выпускал своих ораторов. Партийные ораторы перемежались рабочими, что стояли ближе: всяк говорил только одно, всяк своим гневом, словно расплавленным свинцом, оплескивал гигантскую дрожащую толпу.

Только одно, одно, одно:

— Нет исхода нужде! Больше не можем так жить! Лучше разом сдохнуть с голоду, чем доживать в нищете!

— Хлеба, хлеба! Работы и хлеба!

И в острую голодуху, в неисходную нужду большевики вгоняли стальные клинья.

— Товарищи, голод — голодом, нищета — нищетой, надо бороться за надбавку оклада, за восьмичасовой день, но это не все... Не все это, товарищи! Выходя на забастовку, обрекая себя на долгие, может быть, страдания, мы заявляем сразу обо всем, что думаем, чего добиваемся, за что боролись и станем бороться до конца: учредительное собрание! Свобода слова! Свобода собраний! Печати!.. Без этого некрепки, недостаточны все наши завоевания: сегодня мы отвоевали, а назавтра отымут вновь... Так ли, товарищи?..

И теперь крепким, насыщенным гудом изнывала толпа, но еще густы темные тучи, велик еще страх перед тем, что стоит веками,— рабочая рать только пробуждалась в те дни на борьбу с царизмом.

Один за другим, друг дружку сменяя, повторяя,

выплескивая гнев свой и горе, призывая на борьбу, выступали рабочие.

А в открытые окна управы свешивались на мясистых масленых шеях брюхатые головы, поблескивали жалко и кичливо позументы чиновничьих сюртуков, улыбались сахарно чьи-то подобострастные острые мордочки — управа наблюдала, управа была оживлена необычным зрелищем, управа всерьез борьбу не принимала, не хотела верить, что это начало настоящему гигантскому делу. Когда на площади прозвучали набатные речи, когда потребовали хозяев к ответу,— они по-мышиному спрятались в норы, высылали своих ищеек и дебелых цепных псов. Те улыбчиво и радушно, как истые друзья рабочих, уверяли маслено и пряно:

— Товарищи рабочие! Вы собрались сюда, чтобы добиться законных своих требований. Но криком и скопом никогда ничего не добьешься. Вам необходимо разойтись, разбиться по грудкам,— пусть каждая грудка идет к себе на фабрику и там договаривается со своей администрацией,— так или нет, товарищи?

Один только миг тихо-тихо промолчала толпа. Казалось, она обдумывает. Но вдруг взвилось негодующее слово:

— Никаких грудок — говори со всеми. Рабочие разбиваться по фабрикам не станут. Нужда у всех одна — со всеми надо и разговор вести!

— Но так же удобнее...

— Кому удобнее?

— Так удобнее для обеих сторон,— вкрадывается маслено-мягкий голосок.

И бухает кувалдой рабочее слово:

— Никаких отдельных выступлений, никаких разговоров — так и передайте. Рабочие изберут своих представителей — говорить можно только с ними, а через них — со всеми рабочими — разом...

Уплетались, как в кнуты отхлестанные псы, к себе, в управу.

— Мы завтра, товарищи, вновь соберемся сюда, к управе, а пока — айда на Талку!

— На Талку, на Талку, на Талку!

Разбуженным зверем заворочалась площадь, раздвинулись улицы, разомкнулись переулки — как волны в половодье, закружили блузные валы. В те исторические дни на Талке совершилось великое дело: каждая фабрика выбрала своих представителей, те представители образовали первый в России совет рабочих депутатов.

Совет выработал требования рабочих. Совет предъявил их фабрикантам. Все переговоры фабриканты отныне вели только с советом. Совет был в то время рабочим правительством.

Был председателем раклист Авенир Ноздрин, секретарем выставили большевика Грачева. Был в совете Отец — Федор Афанасьев, был его лучший соратник — Семен Балашов, Федор Самойлов, Николай Жиделев, что ходил то и дело на разговоры с фабрикантами, с управляющими, директорами; были Марта Сармантова, Евлампий Дунаев — было всего в совете сто десять человек.

Рабочие наказали своему совету:

— Будь у нас головой в борьбе. Слушать станем только тебя. Действовать станем только по твоему приказу. Смотри зорко, чтобы не рассыпалась наша рать, чтобы действовали фабрики дружно, чтобы ни одна не вступала в разговор со врагом одиночкой.

Совет мужественной, надежной рукой повел на приступ стачечные полки.

— Мы избрали своих делегатов,— утром говорили на площади.— Делегаты предъявили фабрикантам требования. Мы свое дело сделали. Ответ теперь не за нами...

И снова речи. Снова призывы к борьбе — корявые, обжигающие слова:

— Лучше всего за нас скажет сама нужда — нам ни свидетелей не надо, ни адвокатов. Велика нужда, но мы же не разбойники — чего эти торгаши с перепугу закрыли свои лавки, чего дрожите, окаянные?

Кругом на лавках, по торговым рядам на схлопнутых дверях чернели пудовые замки.

— Мы голодны, но не грабители мы, не тронем, не бойтесь...

По площади прогудело гордое сочувствие. Торгаши суетились у запоров, открывали витрины и двери. Площадь улыбалась, довольная.

— Сколько нам времени вести борьбу, того никто не знает,— снова говорил перед управой кто-то от партийного комитета.— Может, очень долго, товарищи. А ежели долго — значит, и трудно. Надо видеть вперед. Надо знать, что нужда может ухватить клещами. От имени комитета предлагаю теперь же выбрать пятнадцать человек, пусть они собирают гроши наши в фонд забастовки,— надо али нет, товарищи?

— Как же не надо? Знамо, надо! — тысячи криков скрепили предложенье. И пятнадцать избранников — с шапками, с кепками — пошло по рядам. Кидали рабочие просаленные семитки, бережно отыскивали монетки, глухо завязанные в узелочки платков. Проходили сборщики и по торговым рядам. Кидали в шапку торгаши, приговаривали:

— Целковый отдашь, только бы кончили, сатаны, заваруху дьяволову.

Когда воротились, вытряхнули шапки — насчитали полтыщи рублей. Эк, какой капиталище на полсотни тысяч забастовщиков! Забастовочный фонд был создан, он хоть крохами, но все эти трудные недели и месяцы кормил голодную массу. Деньги в подмогу приходили и из Москвы.

Пока собирали, пока ходили шапочники, выступала Марта Сармантова — она работала на Бакулинской вместе с Дунаевым.

На ящик, на бочку ли — взгромоздилась голиафского росту женщина: тонкая, как жердь, высоченная, как осина. Впала тощая, высохшая грудь у Марты; как нос покойничий, заострились высокие плечи, и оттого она казалась еще выше. Как ветряная мельница машет в бурю тонкими лопастями, вдруг замахала Марта Сармантова длиннущими руками над толпой и голосом острым, как точеное лезвие, полоснула площадь:

— Товарищи! Дайте слово сказать!

Как увидели ее — ветряную мельницу — весело заржали ближние, клекотом раскатили по рядам:

— Марта! Глянь-ка, Мартушка-то Сармантова!

— Она и есть — во баба!

— Я, ребяты,— сказала Марта громко,— я всю жизнь свою то и знала, что ютилась по углам. Этака бабища, да по углам — у-ух, тесно!.. То-то и вольно мне тут, на ящике,— маши, что хочешь, за угол, не бойсь, не завезешь. Первый раз без сгибу говорю...

Вся площадь сочувственной радостью подхрапывала словам Сармантовой. Она подхватила смешки, усмехнулась сама просторной улыбкой, говорила дальше:

— И вошла я здесь, товарищи, сказать вам про одно — про бабу-работницу, про горестное наше положенье,— как есть у всех мы на последнем счету. Что такое баба, коли нет правов и мужику,— ноль совершенный и пустой. Какую мы замечаем радость в жизни женской? Да совсем никакую, а жмут ее, бабу, со всех сторон, и труд свой она повсегда отдает дешевле, чем мужик, потому как баба почитается глупый человек. И притом — неумелый. То-то неумелый, а ты сперва обучи, тогда и спрашивай. Вся жизнь проходит, как онуча в навозе гниет. Утресь беги по свистку, весь день голова как чужая, а в дому пришла — запрягайся до ночи в хомут, хлещи-полощи, детей тащи, а где их, силы-то, возьмешь, когда по корпусу их осыпала. Эти, што ли, подмогут?

И всем диковинным корпусом перевернулась она на управу, вскинула страдальческие руки и другим голосом — расстановочно, с жутью прибавила:

— Этим што баба, што сука — один разговор. Таких кобелей словом не проскоблишь — с ними в дело надо браться. Товарки! Бабы! Ткачихи! Ладно хлопать ушами — и нам надо дело делать, неча зевать, то-то...

Марта Сармантова переступила на землю, а толпа восторженно ревела ей вслед. С того дня особо запомнили и особо полюбили Марту Сармантову.

Выступали потом на площади всяк со своим горем: приходили каменщики, плотники — жаловались на подрядчиков-живоглотов, говорили про авансы, про удавную петлю, в которую захлестывал хозяин,

говорили про каторжную работу и грошовый заработок; выступали сапожники, били в грудь себя смоляными кулаками, плакали над пьяным своим понедельником, поясняли горестную жизнь.

— Каждый понедельник вдрызг сапожник пьян. Хорошо, пьян. А почему он пьян, от радости? Да с того же все горя разнесчастного... с той же все жизни серой, словно дратва сапожная... Не то запьешь — в веревку полезешь...

Говорили кухарки, господские прислуги, оповещали, как измываются над ними капризные барыни, держат ночь и день на цепи...

Стояли и слушали. Стояли и думали:

«Что это, как жизнь рабочая устроилась — работы, кажись, никто не боится, а всяк рабочий в нужде потонул, как пень в болоте?»

Тогда выступали большевики и рассказывали, как, отчего это все выходит, как надо бороться с врагом...

Из Владимира приехал губернатор. Вкруг губернатора сучкой перевивался Шлегель, жандармский ротмистр, служилый пес,— докладывал своему господину:

— Не извольте верить, ваше превосходительство, будто волнения происходят из-за заработной платы,— один предлог, ваше превосходительство. Все основание дела состоит в злостной агитации неблагонамеренного и вредного элемента,— вообще сказать, социалистов, вашество. И смею предложить свое слово вашему превосходительству: всю силу нам полезно употребить именно в эту точку, следует изничтожить злокозненный элемент, причину всякого волнения, ваше превосходительство.

Губернатор раздумчиво мял усы, сочувственно хмыкал словам холопа, кивал доверчиво головой:

— Так-так... Это так... Это как есть так...

У губернатора готов был план помощи забастовщикам: в город стягивалась пехота, драгуны, на подмогу желтолампасым астраханцам откуда-то пригнали донских казаков: власти готовились обычным порядком.

Рабочие делегаты говорили с губернатором:

— Отчего молчат фабриканты? Ваше дело — на них подействовать!

Губернатор уверял, губернатор обещал. Губернатор пояснял через день:

— Поделать ничего нельзя: хозяева вольны отвечать и не отвечать, это ихнее право... Вот по гривенничку на рубль — они согласны...

Негодуя — отбросили подачку. Забастовку было решено продолжать.

Высылали фабриканты в разведку слуг своих — фабричных инспекторов. Старший губернский инспектор просил собраться обе стороны в мещанской управе и даже сам предложил совету рабочему выбрать на том заседании председателя — ишь ты, куда заметал. А потом — лисой... лисой... лисой...

— Вам, товарищи рабочие, самое удобное — это разобраться по фабрикам и вразбивку отстаивать свои требования.

— Мы же вам заявили на площади,— оборвали резко инспектора,— на то выбран совет, чтобы действовать дружно. Не бывать тому, чего хотите, и думать забудьте, господин инспектор...

Закусил инспектор удила — промолчал. Обсуждались требования, выработанные советом,— несколько десятков пунктов. Разбирали, поясняли, принимали. Среди заседанья прибежал кто-то от фабрикантов.

— В типографии требуется срочно отпечатать бумагу хозяину...

— Нельзя печатать!

— Но ему необходимо...

— Нам вот тоже тут необходимо: совет не разрешает печатать.

Масленой лисицей засластил было снова инспектор, хотел уговорить, убедить, но его и тут посадили:

— Обсуждайте пункты, господин инспектор, а насчет работы совет один справится: нельзя печатать!

Вспыхнул гневом инспектор, лязгнул в бессилье зубами и опять смолчал. Два его сопомощника тихо попыхивали глубоко припрятанным гневом.

Что б там ни было, пункты приняли. И политические приняли и фабрикантам всучили, а те похахалились:

— Учредительное собрание? Что же, можно, пожалуйста... Мы не возражаем, хоть завтра... А впрочем, с царем поговорите сначала,— может, он и не захочет. Ха-ха-ха!.. Что же нас касается по существу,— гривенник на рубль и — боле ни гроша!

А Бурылин, Гарелин ли Мефодка, треснул по дубовому столу кулачищем:

— В Уводи все деньги стоплю... По миру сам пойду, а не дам ни гроша подлецам: пущай дохнут, лучше работу не кидают. Против своего хозяйского слова — шагу не ступлю. Што сказано — свято!

Дикие речи сумасбродного толстосума доходили до рабочих, и в гневной ярости слушали они те слова.

— Забастовку продолжать! На работу не вступать! Врут, гады,— сдадут!

Обе стороны крепки были — каждая по-своему.

Совет собирался в мещанской управе, открытые митинги каждый день собирались на городской управской площади. Скоро объявили власти, что митинги по городу одна помеха — собранья вынесли на Талку.

Скоро власти заявили, что протоколы советских заседаний надо им присылать на просмотр. Посмеялись, плюнули на полицейскую бумажонку — и заседания совета перекинули на Талку.

И стала Талка словно рабочий университет: от зари и до ночи обучались на Талке рабочие мужественной, дружной борьбе. Талка — малая речка — стала желанным, любимым пристанищем ткачей. Рано-рано собирался каждодневно совет — он заседал у соснового бора, на том берегу речушки, возле сторожевой будки. На заседанья совета приходили только его члены — сторонних не пускали; заседанья были спешные, строгие, деловые. Надо было взвесить и учесть все до прихода массы, каждый день давать ей отчет о своей работе, намечать дальше путь борьбы. На том берегу, по откосу — все гуще, гуще, гуще — со всех сторон: и с Ям, и от станции, от ближних залесных деревень, с Хуторова — грудками собирались рабочие,

Заполняли весь приречный луг, десятки тысяч теснились на побережье. Тут же прилипли мелкие торговцы — с хлебом, с квасом, с папиросами,— людное поле шумит, ожидает начала.

И вот — представитель совета. Он рассказывает положенье дел к сегодняшнему утру, докладывает, что пришлось узнать-услыхать, что нового в обстановке, как дальше намерен действовать совет. Предложенья обсуждаются, голосуются, записываются на месте.

Выступают рабочие — кто о чем; так в течение нескольких часов обсуждалось положенье. Потом кто-нибудь выступал с политическим докладом, рассказывал о положенье, о борьбе рабочего класса, о международной солидарности... Часы проходили за часами. Уже свечереет, а десятитысячные толпы рабочих все стоят и слушают-слушают...

В конце — революционные песни; с песнями уходили по домам, чтобы завтра утром снова прийти и снова быть здесь до темного вечера. Иные оставались целую ночь — уходили в лес, зажигали костры, вкруг костров — ночи напролет сидели, толковали, слушали, учились: Талка и в ночь была рабочим университетом...

Выступали здесь те же — знакомые и любимые: Евлампий Дунаев, Отец, Семен Балашов, Бубнов, Миша Фрунзе, Шорохов, Самойлов, Жиделев, Марта Сармантова... С докладами выступали наезжие — Станислав Вольский, Николай Подвойский... На ночь все скрывались как могли — уж зорко выслеживали вожаков полицейские ищейки...

Часто переодевался Евлампий Дунаев, скрывался то в лесу, то по городским кладбищам,— как-то вместо него даже выловили сыщики схожего рабочего, трое суток проморили в каталажке, пока не расчухали ошибку.

Талка и ночь и день жила своей жизнью — днем гудела тысячными толпами, ночью золотилась кострами...

В городе — строг стоял революционный порядок, в городе ни шуму, ни драк, ни скандалов. По требо-

ванию совета закрыли «казенки» — винные лавки. Создал на Талке совет свою милицию. Ходили рабочие-милиционеры в черных ластиковых рубахах, опоясанные черными широкими поясами, в руках — палка, окрашенная в черный цвет. Милиция поддерживала в городе порядок. То, что не давалось полицейским, легко удавалось рабочей охране. Стояли рабочие патрули и у фабрик, зорко смотрели: не пришел бы кто работать, но не было никого у фабричных стен, только дутым, ощеренным индюком прохаживался господский сторож. Стояли наглухо замкнуты фабричные чугунные ворота.

Забастовка из Иванова перекинулась по окрестности: уж встали фабрики Тейкова, Вичуги, Шуи, Кохмы... Отовсюду на Талку съезжались представители, получали советы-указанья, захватывали кипки листовок и воззваний, возвращались крепко заряженные...

Типография советская спрятана была где-то по Лежневскому тракту; заведовал ею Николай Дианов; краску, бумагу, шрифты ему возили Отец, Федор Самойлов и другие ребята. Типография работала куда как лихо: выбрасывала то и знай десятки тысяч листовок, в тех листовках поясняла пути борьбы, поясняла каждый свой и вражеский шаг, рассказывала о том, что происходило на Талке. Листовки на время заменили газеты. Более близкого в эти дни не было ничего: листовки говорили про борьбу, листовки учили побеждать. Читались они нарасхват.

Фабриканты молчали, на требования рабочих ответа не давали. Снова и снова говорили рабочие делегаты с фабричными инспекторами — эти уверяли, что сделают все,— и не делали ничего; говорили с губернатором — этот руки разводил недоуменно, голову вжимая в жирные плечи, присмеивался:

— Не из кармана я выну эту надбавку. Не хотят фабриканты,— что поделаешь,— на то они полное право имеют, да-с.

Ходили делегаты и по фабрикам, говорили с директорами-управителями.

— Ничего-с, ничего-с не можем. Хозяева уехали в Москву, пишут, что за жизнь свою беспокоятся здесь. А указаний нет, никаких нет-с: гривенничек на рубль, как говорили-с...

И они хихикали злорадно и слюняво.

А голод крепчал, рабочие распродавали барахлишко, иные на время уходили по деревням, многосемейные выбивались последними усилиями, в толщу рабочую вкрадывалась тревога, цепко хватала она материнские сердца,— матери дальше не могли смотреть без слез на ребят, оставшихся без хлеба, истомившихся в голодухе.

Тревога росла, проникала к самому сердцу массы, и те, что дрогнули раз, на другой раз боль свою прорывали ропотом, в третий раз горе свое развевали угрозами и проклятьями.

Шпики, ищейки, переодетые жандармы шныряли и следили повороты, замечали, как лютой ржавчиной разъедает голод самую сердцевину, доносили о том ищейковым главарям, и те подсчитывали сроки, когда можно будет выступить в открытую.

Совет выделил комиссию, эта комиссия выделяла самые голодные семьи, выдавала из грошового фонда чеки, по чекам шли рабочие в кооператив. Хоть сколько ни есть, а поддержка была. И на время притихало ропотное сердце, смолкали протесты, пропадала тревога тех, что дрогнули в безысходности.

И как-то раз стало слышно на Талке:

— Фабриканты ответили, фабриканты прислали письмо...

В самом деле, перед собравшимися массами выступил представитель совета и распечатал не одно — целую груду писем. Фабриканты отвечали, каждый свое.

Но что ни писали там по-разному,— у всех было одно: надбавки не будет никакой, кроме того, что сказано: гривенник на рубль! Кое-где говорили про кухню фабричную, про бани, про страховку рабочих...

И как ни крепко голод глотку сцепил когтями — постановили грозно:

— Забастовку продолжать!

И с утра до ночи, ночь напролет жила, дышала Талка, делал свое дело рабочий университет. Бывало вначале — попробуй крикнуть: «Долой царя!» Эк как распалялись рабочие, как галдели:

— Неча царя трогать... Царь ни при чем — дело больше давай, надбавку...

Так было вначале, а теперь, всего через недели, те же смелые призывы против царской тирании встречаются восторженным и гневным криком: рабочий университет, как крот, прокапывал невидные пути в рабочем сознании, добирался до самого сокровенного, перестраивал все на новый, невиданный лад.

Видели власти, как разрушает талочный крот вековые устои, понимали царские служаки, что не в шутку затеялось дело.

Второго июня губернатор повесил бумагу:

«Ни в городе, ни на Талке собранья отныне не разрешаю!»

Тогда спешно собрался совет рабочих депутатов в бору и постановил свое:

«Приказу губернатора не подчиняться. Собранья на Талке продолжать!»

Схлестнулись лицом к лицу два суровых решенья: эта стычка даром пройти не могла.

Раннее утро 3 июня. Теплы и тихи июньские дни. Хорошо на талочном зеленом берегу. Хорошо у бора, где густы и пряны запахи высоких трав. Хорошо в бору, где расплылась над травами, над хвоей щекотная прохлада леса. На этот раз собирались под самым бором: с высокого берега, с луга мостиком перебирались над журчливой Талкой к опушке. И рассаживались грудками по траве. Митинг не открывали — ждали, когда подойдут новые тысячи. С Хуторова, с Ям, от вокзала шли рабочие, примыкали к тем, что ждали у бора, все новыми кучками засыпали поляну, снижались к реке.

Что-то дрогнуло вдалеке и заколыхалось черной широкой тенью. Вот она ближе, строже тень, вот из

облачка изумрудной пыли выскочила отчетливая казацкая кавалькада: казаки путь держали к Талке.

Рабочие, как были, остались сидеть на полянке. Около самого бора члены совета сбились крепкой взволнованной кучкой.

На берегу, переливаясь желчью, пестрели, суматошились лампасы астраханцев. С астраханцами впереди Кожеловский — полицмейстер. Казаки чуть замялись над речкою, но, видимо, все было сговорено ранее: торопливо спустили коней вниз, перемахнули мелководную тихоструйную Талку, вырвались на поляну к рабочим; те сидели и стояли, чуть оторопелые. Да и что в этом казачьем визите опасного, когда на управской площади все собранья проходили в казачьем и в драгунском кольце?

Вдруг Кожеловский высоко и резко крикнул три раза взапал:

— Разойдись!

И не успели понять рабочие, что кричит полицмейстер, как выхватил он шашку, блеснул над головой и кинулся к грудкам безоружных. Казаки гикнули, кинулись вослед.

Тогда только и рабочие повскакали, кинулись врассыпную. Те, что были у самого бора, юркнули меж деревьев, помчали по лесу,— их не могли достичь казацкие шашки, им вослед казаки открыли огонь.

Но главная драма там — у насыпи, на открытом песчаном взгорье, куда побежала масса рабочих. Казаки, как дьяволы, метались по всем направлениям, стреляли прямо в густую толпу, наскакивали и мяли бегущих под конями, махали шашками, резко свистели смолеными нагайками.

Тех, что падали убитые и раненые, никто не собирал — и через них и по ним скакали озверелые от крови казаки.

Часть отбитых с насыпи окружили и загнали вновь на поляну; скоро их прогнали в тюрьму.

В ужасе неслись рабочие через насыпь на город. Страданьем и гневом искажены лица. Страстная месть загоралась в глазах. Бешеным потоком хлестали они

по улицам, вырывали, сбивали телеграфные столбы, рвали провода, а потом, ввечеру, стреляли на постах в городовых и по жандармам, зажгли на Ямах Гандуринскую ситцевую, склад фабриканта Гарелина... Скоро запылали в окрестностях фабрикантские дачи — Бурылинская, Фокина, Дербенева.

Рабочие в грозной мести проливали свой гнев.

Совет наутро десятками тысяч пустил листовку, где рассказал про вчерашний расстрел, где призывал рабочих стоять на своем, держать мужественно знамя борьбы: пусть порют, пусть расстреливают,— придет черед и нашей победе!

И снова шли мучительно голодные дни. Только уж на Талке больше не собирались — ночами уходили в лес, далеко выставляли дозоры, собирались в глуши, обдумывали там, как дальше вести борьбу.

И как-то раз, через неделю после расстрела, загудели вдруг фабричные гудки: хозяева верили и ждали, что измученные, перепуганные рабочие сами придут на работу. Но никто не пришел. Повыли-повыли холостые гудки и смолкли. Пождали-пождали распахнутые голодные ворота — и захлопнулись. Угрюмы и гневны сидели по избам рабочие — без приказа совета на работу не вступали.

Тогда поняли и расстрельщики, что так дело кончиться не может: собранья на Талке разрешили вновь, даже сместили, перевели куда-то полицмейстера Кожеловского.

И снова, как прежде, оживали с утра талочьи берега, и снова на Талке — рабочий университет. Только и речи и все выступленья, разговоры, будто черной вуалью, подернуты траурными воспоминаньями о недавней потере.

Уж иссякали последние крохи стачечного фонда, выдавали последние билетики на хлеб в кооператив. Дальше надеяться было не на что, стачку надо было подводить к концу.

23 июня собрались, как раньше, перед управой. Евлампий Дунаев говорил:

— Больше мы не можем смотреть на страданья измученных матерей, на голодных детей. Мы требуем,

чтобы наши условия были приняты. Мы требуем работы, мы требуем хлеба. Дальше продолжаться так не может. Или мы складываем с себя ответственность — пусть изголодавшиеся рабочие массы действуют сами по себе. Ежели что случится, помните! — И Дунаев ткнул в управские окна.— Помните, что мы сняли с себя ответственность: она падает только на вас!

Бурно шел и бурно окончился этот голодный митинг. Гневом и местью дрожали речи. В накаленном воздухе чувствовалась близкая гроза. Тесно сомкнуто вкруг управской площади казачье и драгунское кольцо.

Ночью грохнули погромы. Разбивались торговые лавки, тащили изголодавшиеся всякую снедь.

Тогда были спущены казаки, но казаки сами, почуяв добычу, кинулись в грабеж. Только грабили они не хлеб, не муку: казаки голода не знали никогда.

На фабричных воротах скоро развесили призывное:

«Ежели в июле рабочие не встанут на работу — фабрики закроются до сентября».

Говорилось там о десятипроцентной надбавке и о том, что день рабочий снижается от одиннадцати с половиной до... десяти часов!

А рядом другая рука писала негодующее:

«Товарищи, держитесь крепче, не поддавайтесь подлецам!»

«Потерпим, товарищи, победа за нами!»

Видел совет рабочих депутатов, что стачку пора вести к концу: безысходный голод может толкнуть не только на погромы,— всему своя мера, свой предел.

Рабочий совет все учел, видел вперед и понимал, что, не кончи стачку теперь же организованно, она может распылиться сама по себе: глубочайшая нужда достигла предельной грани.

Тогда последний раз собрались на Талке десятки тысяч измученных ткачей и выслушали от своего боевого совета прощальную речь:

— Средства наши иссякли. Помощи неоткуда ждать. Мы с лишком два месяца боролись, товарищи,— неплохо боролись! Не напрасно голодали. Пусть добились не всего, что хотели с бою взять, но мы окрепли и выросли в этой борьбе. Наша следующая схватка с капиталом будет уж не такая. В той схватке, надо думать, одержим мы уж не такую победу. А теперь — на работу, товарищи!

И 27 июля вновь загудели фабричные гудки, радостно задымили соскучившиеся трубы, вздрогнули каменные корпуса — рабочие пошли на работу.

18 декабря 1925

КАК УБИЛИ ОТЦА

Над фабричными корпусами, над лабазами, над сизыми колокольнями Воздвиженья, Вознесенья, Покрова встала грузная темень. Гонимые ветрами, мчатся по облачному небу кавалькады набухших дождями туч. Осень-осень... Поздняя, знобкая, переветренная осень...

Отчего же в эту хмурую хлябь, в гнилую октябрьскую пасмурь так неистово ликует город, черный город Иваново-Вознесенск? Откуда эти праздничные толпы, куда они, ткачи, устремили взволнованный песенный бег?

Просторные улицы, щели-переулки, корявые ладони площадей затонули людскими потоками.

Под топот тысяч ног, в такт, выбивают марш:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

И откуда-то с дальних улиц раздольными раскатами рокочут бесповоротные клятвы «Варшавянки»:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Толпы вмываются в толпы, факелы — в факелы, смешались знамена в багровом плеске, катит валами густая черная людская волна...

Против воздвиженской бледной колокольни, вниз под горку, каменный белый дом: клуб господ приказчиков!

В этот вечер все переулочки тянут тонкие лапки только сюда: в этот вечер у клуба приказчиков людный митинг, городское торжество. Кто-то неведомый скажет и расскажет, как над городами российскими, над полями сермяжными выплыл царский дар:

— Конституция.

— Манифест семнадцатого октября.

Вот откуда и пенная радость города, вот почему и в хмурь и в ветреную непогодь, перекликаясь победными песнями, сомкнулось к клубу людское множество.

Собирался комитет большевиков. Он чуял цену государеву манифесту. Звонкие побрякушки обетов царских ему не застлали чуткий слух. Расцвеченные паникадила поповских клятв не заслепили зоркого взора.

Комитет большевиков стоял на посту: сторожил многоголосую детскую радость.

Но даже и в сердца большевистские тонким хрустальным звоном стучала надежда.

Чуялась тревога под строгой мыслью, но радостью звенело жаркое сердце:

«Да-да-да: и манифест — шаг вперед!!»

Недаром сегодня о манифесте — какой митинг!

Сегодня все речи — только о свободе!

— Да здравствует свобода!

И эти тысячи, десятки тысяч горожан все в один крик:

— Ура!.. Ура!.. Да здравствует свобода!

Кому теперь какое дело, кто и какую хочет свободу: в эти склизлые октябрьские дни всяк по-своему видит весну.

— Председателя! Выбрать председателя!

И толпа заухала желанные имена. Помчали, заметались, зааукались они меж каменных стен домов, колоколен, заборов. Казалось, и колокол древний что-то смутное гудел в густой вышине, казалось, что-то вскликнуть рвались хлеставшие по ветру знамена; захлопали факелы судорожными кровавыми языками.

Билась площадь перед белым домом в страстной охоте.

И вдруг на факельную розовую тень всунулось круглое лицо Странника в сивой щетине усов.

По-зверьи сверкнул зеленый взор, остро в тьму всекся вскрик:

— От-ца!

И как заслышали теперь накаленные толпы факельников это родное, жданное имя,— где ты, имя-пушинка, в тысячеглотном гудном реве:

— Отца... Отца... Отца...

Вышел Отец на факельный свет — Федор Афанасьевич Афанасьев, старый ткач.

Знает его весь рабочий люд. Знает и бережно любит. Знает, что был и бился Отец в рабочем Питере, что вступил он на этот путь еще в те далекие дни, когда шли в боевой шеренге незабываемые Петр Алексеев, Степан Халтурин.

Эк куда, в какую глубь уходят Отцовы дни!

А в первый — первый! — майский в России день были сказаны четыре речи.

Одну из четырех говорил Отец.

Вот он вышел на розовый отсвет огней в черном пиджачке, пальтишко поверх,— в черных штанах, сдвинута кепка на лоб. Высушили долгие годы нужды и борьбы: худ, сух и высок Отец, как изъеденный ветрами сухостойный клен.

Хилое, старое тело опер на костыль — бодрится и держится прямо, а немочь клонит к земле.

Вот он левой рукой огладил в ожиданье черную в проседи бородищу, подергал широко заросшие усы, потрогал старческие, шнуром чиненные очки на крутом носу,— все ревела в радости бескрайной толпа:

— Отца... Отца...

Ссохлось в глубоких морщинах изжитое лицо; казалось, остыло оно в молчаливом, в укрытом горе, но посмотрите, вы гляньте в этот миг на Отца: из впалых, глубоких орбит совсем по-молодому, как у раннего юнца, загорелись чистые глаза старика... Да и полно, какой он старик: Федору Афанасьевичу нет и полсотни лет.

— Ти-шше! — зычно и резко сорвал Павел Павлыч гам. Павел Павлыч — рядом с Отцом, близкий друг, большевичище: сутул, кряжист и против Отца — как дедушкин внук.

— Ш... ш... ш... Тш... ш... Цс... с... с...

По горке, на Панскую улицу, в переулки зашипело, засвистело в темноте. И вдруг тихо встало.

Тогда медленно переложил Отец из правой в левую костыль, молодо вскинул голову, поднял высоко тощую руку,— толпа вздрогнула, услышав родное:

— Та...ва...рищи!

Красным ситцем обернут клубный фонарь, трепетно бьются красные знамена, плещутся факелы в багровой полутьме, словно цветы полевые здесь и там, здесь и там красноплатые головы ткачих.

У Отца на груди — и у множества — красные ленточки вшиты в самое сердце...

— Товарищи!

И треснутым счастливым рокотом держал Отец свою предсмертную речь:

— У меня нет слов... чтобы сказать, как рад... такая великая честь: вы избрали меня председателем первого свободного митинга: свободного митинга свободных граждан.

Товарищи! Спасибо вам за эту честь.

Долгие десятки лет ждал я такого момента... Свободу ждал... И вот — дождался наконец, мы с вами теперь свободны...

В сердце старика тонким хрустальным звоном стучалась надежда:

«И этот манифест — шаг вперед».

Вспомнились Отцу долгие годы непросветной маяты, светлым лучом полоснули по сердцу эти октябрьские дни. Он стоял теперь под знаменами и верил, верил, что победа близка.

Оттого и дрожал, срывался старческий голос, оттого под чиненными шнурочком очками скатывались в щели морщин слезы.

Вдруг показались казаки. Цокали по камням подковы. Плети готовы в руках. За плечами винтовки в заряде.

Сомкнулась толпа, зарычала, загрозила каменьями. Кожеловский — полицмейстер — казаков увел в казармы.

Говорил Павел Павлыч. Потом говорил Одиссей: косматый, голосистый, любимый. Говорил Странник, Семен Балашов, покрывал он площадь сердитым, режущим криком, не верил царским свободам, неверьем пронизал, насторожил притихшие толпы. Около стоял и рвался к слову пламенный Арсений — юноша Миша Фрунзе; с Мишей о бок — Бубнов Андрей, Химик, с Химиком — Станко, беззаветный Станко, вождь боевых дружин; Шорохов Дмитрий Иваныч — ткач, большевик; Федор Самойлов, что в царскую думу ходил потом от рабочих, Маша Труба — все они здесь, бойцы подполья, кольцом сомкнулись вокруг Отца.

И в полночь, когда росой заиндевели крыши, а острый ветер стих,— потушили красный фонарь у клуба, и торжественные толпы потекли по улицам и переулкам: рдяные факелы отмечали их путь.

«Марсельеза» и «Варшавянка» грохотали над городом.

Поодаль сторожили казацкие сотни.

Это было двадцатого октября.

Двадцать первого целый день город захлебывался в праздничной радости: по улицам ходили с красными флагами; ораторы на перекрестках держали речи:

— Права́... Свобода... Конституция...

Двадцать второго на главной площади, перед управой, с утра собирался город: большевики готовили митинг — здесь холодно и строго надо было вспороть живот манифесту.

И снова в центре, вкруг трибунной бочки — большевики. Веют весело легкие знамена. И словно дуб в кустарной поросли — раскинулось над площадью огромное черное полотнище:

«Слава павшим борцам за свободу».

Это поминают рабочие тех, что недавно, в июньские дни, на Талке погибли в казачьем налете.

И сразу на площади — тихо.

Вырос на бочке Странник:

— Товарищи! Прежде чем открыть — почтим память наших лучших... расстрелянных на Талке...

Встрепенулась густая площадь, сняты рабочие кепки, вмиг остыли веселые лица. Тихо и грустно, все вырастая слезами и скорбью, мужая гневом,— поплыл над мертвой площадью похоронный гимн:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу...

Вспоминали павших. Вспоминали близких... Вспоминали любимых. Женщины плакали, красным платом утирая слезы.

А гимн, как волны в шторм,— все мчал вперед, крепчал в борьбе, раскатывался клятвами в неотмщенных колоннах ткачей:

Настанет пора, и проснется народ,
Могучий, великий, свободный!

Когда оборвали последнее слово — долго недвижная, страшная стояла молча блузная рать.

Митинг открывался. Был полдень — двенадцать часов. Ночь напролет лил зычный ливень — дороги взмешаны, как тесто в квашне. Мокры асфальты, в поту мостовые, после ночного ливня нервно сечет толпу колючий наследыш-дождь. Небо в табачных мутных тучах. То сгущаясь, то бледнея,— трудно повисли они в моросящей мгле. Сиверко. Зябко. Изморось дрожью бежит по рядам. Осень-осень: глухи октябрьские дни.

Сжались большевики у трибунной бочки. Ночью заседал комитет, распределял — кому что говорить: о политическом режиме, об экономике рабочего, о безработице, вспомнить 9 января — связать его с царским манифестом...

Каждому точно, коротко сказана роль; каждому место — кто за кем. Говорил Странник — Семен Балашов, говорил Одиссей, вырвался на бочку Фрунзе и площадь покрыл негодующим, резким словом:

— Не верьте, не верьте, не верьте царю... Это только ловушка. Рабочие должны продолжать борьбу...

И дружно в ответ гудел синеблузый улей, загорались глаза боевым запалом, билось сердце в ответном крике.

— Долой! — крикнул кто-то сдалека.

— Долой... долой!..— загалдели с Торговых рядов, и эхом перекатились крики в Крестовоздвиженских переулках. Шевелилось казацкое кольцо зловещим шелестом, нагайки треплют по бедрам коней.

Мужественный Станко рассыпал в толпе боевиков — сжали боевики в карманах браунинги. Над площадью свисли грозовые тучи.

На площади против управы, под навесом — торговый пассаж. Сюда стянулись торговцы, мясники, огородники, городские чистоплотники — расползлись они по переулкам, густели, обрастали, смелели. Но лишь только огромным шерстатым зверем начинала рычать рабочая рать — смолкали пассажники, ныряли в гущу, понимали бессилье перед этой безмерной силой. Крики — вскриками, но идет митинг неумолимым ходом, говорят свое большевики — и снова безмолвна площадь.

Встал на бочку Отец: сухи и строги выцветшие глаза, тих усталый, ломкий голос:

— Товарищи. Мы на свободе здесь говорим про свои дела, а рядом, в тюрьме, томятся наши товарищи... Мы обязаны их освободить...

И лишь только сказал — колыхнулась площадь, вскричала крепким, радостным криком:

— На тюрьму! На тюрьму!

Вполз на бочку Добротворский, полицейский чин, заявил, что «беспорядков власть не потерпит», но потонули жалкие слова в тысячеустых криках:

— Освободить! На тюрьму!

И лава тронула — мимо Воздвиженской церкви, по Приказному мосту, к городской тюрьме.

У тюрьмы взвод солдат мрачнел винтовками.

Солдатам не было приказа стрелять. Перепуганные тюремщики отдали грозной толпе томившегося большевика — в городской был только один заключенный.

— На Ямы! В Ямскую тюрьму!

И снова тронулась масса — мимо Колбасного угла по широкой Соковской улице...

Ямы — рабочий квартал. На Ямах нет ни асфальтов, ни мостовых. Ямы, как скотное стойло, затонули в смраде, в грязи, в нищете. Что ж, в самом деле: чистой публике города незачем быть в этих трущобах, чистая публика города ходит окольными путями.

Октябрьские ненастные дни, густые октябрьские ливни взмесили непролазным месивом ямские колеи — ни пешему, ни конному ходу нет,— жили, как на острове, ямские ткачи.

Катилась по Соковской митинговая рать. У церкви Александра Невского, на перепутье, выскочили казаки:

— Разз-зойдись!

Но жалки и бессильны над головами повисшие нагайки. Взрыкнула толпа, заворочала булыжники, станковские боевики сверкнули оружием.

Подались казаки с пути — лава катилась вниз, на мост. И когда окунулись в аршинное месиво — кучка за кучкой отлипала в пути, жалась к палисадникам, оставалась на мостовой: обернулись грудками митинговые массы, зоредели горестные ряды, к тюрьме Ямской подступали не тысячи — сотни.

Сотни вели большевики.

У Ямской тюрьмы — казацкие заслоны. Сотням не взять заслоны с бою. Говорить с казаками пошел Отец, вместе с Отцом — Павел Павлыч.

Что было казаку рабочее слово? Бились в глухую тюремную стену отцовские слова. Из тюрьмы казаки никого не отдали. Уходили рабочие вспять — путь держали на Талку, на речку, где летом бурно собирались бастовавшие фабрики.

Когда миновали Ямы, на Шереметьевской путь пересекла черносотенная гуща. Эту гущу, как ушли рабочие, поили водкой на Управской площади, кадили кадилами попы, купцы натаскали к ней икон и царских портретов, раздобыла черная сотня трехцветные знамена, шла теперь хмельная и буйная, пела «Боже, царя храни».

Поодаль, мерно колыхаясь, желтели широкими лампасами астраханские казаки, охраняли черную

стаю. И лишь завидели с Ям полыхавшие красные знамена остервенелые мясники, торговцы, огородники, пьяное отребье, кинулись с визгом и уханьем, скакнули вперед казаки, в сочном месиве ямских переулков избивали рабочих.

Уцелевшие перебежали Шереметьевское шоссе, с оставшимися знаменами побежали на Талку. Ковылял измученный Отец, ворчал сердито:

— А знамя где?

— Взяли, Отец,— ответил скорбно чей-то голос.

— Взяли? Без бою взяли!

И он сурово глядел через очки сухими печальными глазами.

Уж сумерками наливался октябрьский день, когда прибежали на Талку. Вечерние туманы спадали на тихое пустое поле. Ямские сотни обернулись десятками. В горе стояли у мостика, тихо, словно в покойницкой, говорили о шереметьевской бойне, считали редкие ряды, свертывали знамена. На пустынном лбище приречного луга застыли крошечной кучкой. Струилась Талка жалобными тихими струями. Стоял немой и черной стеной молчаливый бор. Мерно вздрагивали в шелестах густые мохнатые лапы сосен.

В это время издалека прояснилось смутное пятно черной сотни — она валила на Талку. Позади, как там, на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.

Решили отойти за мостик — встали около будки, у бора. И когда ревущая пьяная ватага сомкнулась на берегу — заорала к будке:

— Высылай делегатов... Давай переговоры!

Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. Их никто не вздумал удержать — двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу — их в тот же миг окружила гудущая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачищи, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:

— Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!

Николай Дианов крепко Фрунзе схватил за рукав:

— Куда побежишь, безумный,— или не видишь казаков.

Дрожали в бессильном гневе, но все остались у будки... Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, спрыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...

И видно, как поднял окровавленную голову Отец, но вмиг его сбили наземь и снова бешено замолотили глухими, тупыми ударами...

Когда окончена была расправа — повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотней весело ускакали желтые казаки.

В пустом и тихом поле лежал одиноко кровавый труп Отца.

Тогда подошли товарищи и увидели смятое тело друга. Вкруг по земле студенистой слизью дрожали мозги. Кровью и грязью кровавой было излеплено лицо. В комьях спуталась серебристая черная шершавая борода; обвисли мокрые тяжелые усы. Переломанные, свернулись в дугу ноги. Сквозь разодранную черную рубаху густела синяя, страшная грудь.

Подняли молча труп на руках, несли через речку, вступили в лес, спрятали в глухой чаще.

Из кольев и мешков сладили носилки, положили на них Павла Павлыча, унесли к какому-то ближнему фельдшеру, сдали в надежные руки.

Поздней ночью во тьме уходили из лесу.

Это было 22 октября.

23-го на Управской площади монархисты собрали тысячи народу, разжигали страсти погромными речами:

— Жиды бунтуют Россию.

— Врагов народных — уничтожать, как вшей.

— За нашего государя... за нашего государя.

Попы кадили на площади:

— За веру святую... за господнюю церковь.

И, возбужденные, тронули тысячи к собору.

Попы святили, попы кропили водой, служили молебны, кадили на погром. И вот с иконами, с портре-

тами, с хоругвями — хлынула по городу черная сотня. Два дня громили город. Рыскали по фабрикам, по домам — вытаскивали на расправу «депутатов», рабочих вождей, мучили их, убивали на глазах в смертной дрожи дрожавших ребятишек. Город осатанел в кровавом чаду, в терпком ужасе остыли рабочие корпуса.

И когда, пресытившись буйством, отошла погромная череда,— решили ночью большевики схоронить Отца,— труп его долгие дни таили от всех. И в глухую ноябрьскую ночь, в ночь на шестое, крались темными переулками к бору.

Привезли на Талку сосновый плотный гроб — гроб обили в багровый кумач. Качались у гроба с концов золотые кисточки, играли в колеблемом факельном зареве. Голову Отца обернули в красное знамя, оправили черный отцовский пинжачок — с него не вытравишь кровавые следы! Пригнули тощие надломленные ноги — втянули в сосновую раму гроба. Шрамами черные полосы расползлись в чесучовом лице, упали глубоко внутрь пустые широкие глазницы.

В два аршина, неглубоко, взрыли тугую могилу — стояли с заступами на рыхлых бугорках похоронной земли.

Молчала сырая ноябрьская ночь. Пропали звезды в каштановую темень. Плакал сосновый бор похоронным гудом. Плакала тихоструйная Талка, как девочка — робким заливчатым звоном. Трещали жестким хрустом оранжевые факелы. Большевики стояли над гробом, словно в забытьи, и глядели в безжизненное лунное лицо Отца.

— Пора,— шепнул кто-то тихо и страшно.

Скрыли под крышку родное лицо. Всколыхнулся в руках кумачовый гроб, сдвинулись факелы, словно засматривая в останный раз на своего факелоносца, и мерно, колеблемый жутью, гроб пропал на дно. И был единый миг, когда над гробом встало гробовое молчание. Кто-то рыдал из тьмы, скрытый факельной тенью. Кто-то взял с бугорка влажную горсть земли и, осыпав ее в багровую чернь могилы, продышал:

— Эх, Отец, Отец...

И тогда застучали навзрыд слежалые комья, заржали лопаты о стоптанный бугор.

Угрюмы и немы стояли вкруг большевики...

И кто-то, схваченный слезами, протяжно и глухо вывел первое слово гимна.

Над черным полем, над талочьими берегами, по гулкому сосновому бору уходила гулами далеко-далеко песня борьбы и горя. Стояли и пели. Стояли и плакали. Не глядели друг другу в глаза.

Потом встал над могилой Странник,— в зыбком голосе колотились слезы:

— Отец! Прощай, Отец! Прощай, товарищ! Ткачи станут ходить на твою могилу, крепче стеснят колонны, пойдут по пути, проторенному тобой. Спи, Отец... Теперь уж прощай навсегда!

В черной ноябрьской ночи уходили скорбно от свежей могилы. Смолкали голоса. Потухали факелы. Над талочьими берегами опустилась глухая тишина.

Москва, 3 декабря 1925 г.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

I

ЗАВЯДШИЙ БУКЕТ

Перед нами букет литературных течений: неоклассики, неоромантики, символисты, неоакмеисты, футуристы, имажинисты, экспрессионисты, презантисты, эклектики и ничевоки.

Представители этих школ, течений и групп продемонстрировали недавно в Политехническом музее свои литературные «кредо». На литературу мы привыкли смотреть как на отражение жизни; в литературных произведениях за словами и образами мы привыкли видеть идеи и настроения, которые волновали творцов, а вместе с ними и общество, их породившее, воспитавшее и питающее своими соками. От литературных произведений мы привыкли ждать и бодрых призывов и смелых дерзаний, ярких надежд и веры, веры, веры в победу! Пусть душно и тесно было прежде; пусть живые образы Щедрина, Чернышевского, Успенского, Горького были одинокими (а еще более одинокими и гонимыми были песни пролетарских поэтов). Но там была идея, чувство, стремление и глубокая вера.

Эти идеи, чувства и образы помогали общественному движению, дополняли его, питали живительной влагой. Они сыграли огромную прогрессивную роль как художественные стимулы по пути раскрепощения труда и человеческой личности. Родства с жизнью,

дополнения к ней, соответствия ее требованиям и общим тенденциям — мы вправе требовать от каждого значительного художественного произведения.

Речь идет отнюдь не об утилитаризме в искусстве, не о приспособлении его к узко практическим целям — мы говорим лишь о необходимом соответствии искусства основным тенденциям жизни. Есть ли это соответствие в том душистом букете, про который упомянули мы вначале? Судите сами.

Основной тенденцией нашего исторического периода является борьба с неправдами старого мира.

В это понятие борьбы вмещается необъятное содержание, которое и должно послужить источником художественного творчества. Эта центральная тенденция эпохи — борьба — должна пронизывать все художественные произведения; только тогда они могут иметь какую-либо ценность как произведения общественно-необходимые и только тогда они будут представлять собою не балагурство и самоуслаждение, а поистине ценные и общественно полезные произведения.

Трудно, конечно, говорить обо всех школах разом — у каждой есть кое-что свое, но, кажется, уж обо всех безошибочно можно сказать, что: 1) общественно полезных элементов в них нет, 2) что тенденции эпохи они не схватили, 3) что все они являются не прогрессивно-динамическими, а застойно-затхлыми, и 4) совершенно не отражают идеологии борющихся и идущих вперед. То течение, которое все эти четыре элемента в себя включило,— течение пролетарской художественной мысли и слова — на заседании литературных школ представлено не было. Это и хорошо: его присутствие внесло бы сюда дисгармонию и нарушило бы некоторое внутреннее единство.

Характерной и симптоматичной фигурой был Гальперин, представитель «неоклассицизма». Он прочел свое произведение «Особняком» — произведение, которому бурно хлопала почти безраздельно вся аудитория, включая и поэтов, представителей других школ и течений. А содержание у «Особняка» самое незамысловатое: поэт, видите ли, идет сам по себе, не со-

прикасаясь с жизнью, не замечая ее, не чувствуя и не принимая. То, что совершилось в России, что бродит в целом мире, что является альфой и омегой не только российского, но и общечеловеческого прогресса — борьба со старым миром — его не занимает: он идет один, «особняком». В этом он видит свою поэтическую миссию, свое историческое оправдание. Здесь сказалось все: брезгливый индивидуализм проклятого старого мира, привычка играть в «величие», поразительная общественная неразвитость и тупость, филистерство и мещанство, не видящее дальше своего носа, и тоска, тоска по разбитому корыту.

Аудитория бурно приветствовала «смелого» поэта, выставляющего так откровенно свое реакционное, обывательское «credo».

(Надо сказать, что заявить себя открыто реакционером сделалось в известных кругах своеобразной модой.

Так, например, недавно в той же аудитории небезызвестный христианин Булгаков, проехавшись по поводу большевистского «патриарха» Маркса, высказал несколько громких протестов растревоженного обывателя).

Аудитория, видимо, стоила «своего» идеолога-поэта.

Погоня за новыми словами, оригинальным выражением, охота до пафоса и причудливых поз является отличительной чертой большинства этих разрозненных группочек. Насколько они мелки, можно судить по заявлению Адалис (неоакмеистка): «Нас было трое: Антокольский, я и еще один». Или по выступлению двух «презантистов», пытавшихся прочесть только что изобретенный ими «свод законов презантизма». Некоторые группочки насчитывают своих членов и последователей единицами и уповают, что «все великое начиналось с малого». Это стремление к дроблению и самостийности также является характерным для скептически настроенных мелкобуржуазных идеологов обывателя. Общее впечатление — словно от расстроенной гитары: тошно и безнадежно. И это теперь, когда так много мыслей, красок, образов.

Оторванность от живой жизни, отчужденность старых школ и течений от борьбы ведет их совершенно естественно туда же, куда и породившее их старое общество,— в могилу.

Еще нетверды шаги нового боевого искусства, но чувствуется уже в нем могучая сила, укрепляющая его на месте погибающих течений и школ.

18 октября 1921

«ЧИСТКА ПОЭТОВ»

Владимир Маяковский проводил «чистку поэтов». Аудитория Политехнического музея набита сверху донизу. Интерес у публики выявляется колоссальный. Да и как не интересоваться: в хаосе литературных течений, школ, направлений и групп, которые плодятся с невероятной быстротой,— разобраться одному не под силу, а «чистка» — эта оригинальная форма коллективного труда,— она может многое вывести наружу, объяснить, опровергнуть, доказать.

Теперь кто же не считает себя поэтом, раз он посещает какое-нибудь литературное «кафе» и раза три-четыре тиснет в журнал или в газету свои вымученные стишки? Да и не только назовется поэтом — он ни мало ни много претендует на «школу», гремит о себе как о новаторе, родоначальнике, чуть ли не гении. Вывести на чистую воду таких примазавшихся к поэзии «гениев» — задача и интересная и благодарная. Задача в высокой степени и серьезная, если понимать ее в смысле строгой критики, в смысле вдумчивого коллективного анализа всего строя мыслей, взглядов и убеждений пишущей гвардии, литературных приемов и форм — под углом зрения революционной эпохи. Не так важно, конечно, будет или нет вычищен какой-нибудь отдельный поэт: вычищать его по существу неоткуда, ибо «не существует даже и профсоюза поэтов», как доложил Маяковский. Да и невозможное дело заставить отойти от писания того, кто пишет.

Дело не в этом. Важно творчеству поэта дать общественную оценку, определить его место в современности вообще и в поэзии в частности: нужен ли он новому времени, новому классу, совершенно новому строю мыслей, которым живет Советская Россия.

Поэтому нас не интересует судьба отдельных поэтов, говорить о ней мы не будем — важны лишь общие результаты и выводы, к которым пришла аудитория.

Маяковский положил в основу «чистки» три самостоятельных критерия:

1) работу поэтов над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова;

2) современность поэта переживаемым событиям;

3) его поэтический стаж, верность своему призванию, постоянство в выполнении высокой миссии художника жизни.

За последние годы работа над совершенствованием художественного слова шагнула далеко вперед: в этом отношении не малая заслуга падает на долю футуристов. Избитые, привычные слова и их сочетания уже бессильны выразить богатейшую гармонию новых мыслей и чувств. Надо изобрести новые, еще не сказанные слова, надо оригинальным их соединением зажечь старые, вложить в них новый смысл, новое содержание.

Завядшие рифмы и мертвые размеры должны уступить место каким-то новым, органическим формам, как неизбежно вытекающим из суммы новых идей, запросов и чувств. С этой точки зрения не выдерживают критики даже большие мастера художественного слова, которые ушли корнями в старый мир и никак не хотят (а может быть, и не могут) понять и принять того нового, что несет с собой и чего требует настоятельно наша эпоха.

Уж если в области практической повседневной жизни мы то и дело творим слова, какие-нибудь «Главтекстили», «Упвосо», «Чусоснабармы» — слова, порожденные исключительно данными условиями и новыми потребностями,— как же оставаться с одними старыми словами в поэзии, рождающейся из глубин

современного, нового человека, отражающего в своем творчестве не только эту конкретную действительность, которой живем, но прозревающего и ту жизнь, за которую боремся, за которую стоит перенести страдания, вести самую тяжкую борьбу. Истинный поэт должен найти эти новые слова: они художественно осветят путь, они нужны современному человеку, они необходимы самому поэту.

Итак, первым требованием предъявляется: усиленная и плодотворная работа над словом, над его обновлением, оживлением, мастерским объединением его с другими — и старыми и новыми словами.

Второй критерий, пожалуй, еще более серьезен, еще легче поможет нам разобраться в истинных и «примазавшихся поэтах»: это их современность. Вот тема, которая вызывает бесконечные споры, вот дорожка, на которой схватываются в мертвой хватке поэты старого и нового мира. В сущности, вопрос этот есть коренной вопрос о содержании и об основе самой поэзии — для нас, революционеров, такой ясный, самоочевидный вопрос.

Сломлены устои буржуазного мира: новое рабочее государство выводит на широкий и светлый путь не только Россию, но и все человечество. Решаются мировые исторические вопросы. И решаются не только заседаниями и конференциями, а кровью, железом, опустошительными эпидемиями, поволжскими драмами, невероятным голодом борющегося класса, целым сонмом суровых лишений, ужасов и бедствий.

Таково содержание современности, стоящей на грани двух миров. Хочешь или не хочешь принять эту современность — вопрос иной, но отмахнуться от нее нельзя, не замечать ее невозможно. И ставился вопрос: достойно ли художника в эти трагические дни отойти от современности и погрузиться в пучину сторонних, далеких, чуждых вопросов? Можно ли и теперь воспевать «коринфские стрелы» за счет целого вихря вопросов, кружащихся около нас? Часть аудитории, правда небольшая, стояла, видимо, за «коринфские стрелы» — это зрители жизни, люди, от которых не было и никогда не будет никакого толку. Но

властно господствовала и торжествовала совсем иная идея — о подлинной задаче художника: жить живой жизнью современности, давать эту современность в художественных образах; помогать своим творчеством мучительному революционному процессу, участвовать активно в созидании нового, свободного царства. И когда с этим критерием мы подходим к поэтам современности — многие остаются за бортом, поэтами во всем объеме этого слова названы быть не могут: комнатная интимность Анны Ахматовой, мистические стихотворения Вячеслава Иванова и его эллинские мотивы — что они значат для суровой, железной нашей поры?

Но как же это так: счесть вдруг ненужными таких писателей, как Иванов и Ахматова? Разумеется, как литературные вехи, как последыши рухнувшего строя они найдут свое место на страницах литературной истории, но для нас, для нашей эпохи — это никчемные, жалкие и смешные анахронизмы.

Третьим критерием было определение поэтического стажа. По нашему мнению, этот критерий является мало существенным, так как подлинным поэтом мы вправе назвать и начинающего, раз уже в первых его произведениях блеснут искры несомненного дарования.

Под углом зрения высказанных соображений дурную репутацию получили: Адалис, Вяч. Иванов, Анна Ахматова, группа «ничевоков» и др.

С большим вниманием и одобрением отнеслись пока только к творчеству Асеева.

Другие поэты, видимо, будут очищены в ряде следующих собраний. Жаль одного: публика сравнительно слабо участвует в анализе и оценке очищаемых поэтов. Нам представляется эта форма критики и коллективного суда особенно желательной на рабочих и красноармейских литературных собраниях, где слушающий приучался бы сознательно разбираться в литературных ценностях и отучился бы читать всякую белиберду, которая случайно попадает ему в руки.

Москва, 23 января 1922 г.

СПАСИБО

(По поводу статей т. Сосновского)

Простите меня: я пишу без плана и не знаю даже, что напишу. Но я охвачен восторгом и хочу передать свое восторженное состояние — не больше. Разве это не достаточное оправдание? Никогда еще не был я в таком исключительном состоянии, как теперь. Почему? Не знаю, совсем не знаю и, может быть, плохо сумею это передать. Две статьи Сосновского, написанные в последнюю неделю,— одна о футуристах, другая про книжку Рогачевского,— эти две статьи не дают мне покоя. Как будто и просто и знакомо давно все то, что в них сказано, а почему же так убийственно, неотразимо зацепили они меня? Обе статьи по существу на одну только тему: «Что такое литературная чепуха и где корни настоящего художественного произведения?» Вот тема обеих статей. Мои товарищи, настроенные как-то по-иному, не так, как я, нисколько этими статьями не тронуты, они даже иронически посмеивались и говорили: «Ну куда он к черту лезет? Писал бы себе — пописывал про молочные фермы — там хоть пользу дает человек: обличает, проталкивает, кое-что разъясняет, а тут... тут... балда!» Но этот аргумент, на мой взгляд, и смешон и жалок. Я даже скажу, наоборот, что литературные статьи Сосновского не взволновали бы меня так глубоко, если бы я не знал его прежних статей про молочные

фермы. Вы думаете — парадокс? Ничего подобного. Разъясню. Когда человек что-нибудь доказывает, в чем-нибудь вас убеждает или разуверяет — первый вопрос, возникающий у вас в голове, встает примерно таким образом: «А что ты сам-то, дядя, серьезно говоришь? Понимаешь что-нибудь? Фундамент под собой имеешь? В жизни, в сложности ее,— разбираешься или нет? Как ты видишь ее, эту жизнь, только перед носом у себя или чуть подальше?» И если вы не доверяете компетенции собеседника вообще — поверьте, что полной удовлетворенности от ответов его вы не получите. Мне как-то пришлось говорить с профессором, большим знатоком Дальнего Востока. Он знает в Корее, в Маньчжурии, в Японии каждую речонку, каждый что ни на есть мельчайший поселок, его население, чем жители занимаются и т. д. и т. д. В этих местах он прожил не один десяток лет, изучил их тщательно, много ездил — словом, большой знаток своего дела. Недавно Виленский выпустил книжку о Японии и где-то там ошибся, назвав одну и ту же речонку дважды — один раз, кажется, по-японски, другой раз, ее же, по-корейски, предполагая, что это две разные речки. И старик профессор измывался над книжкой Виленского последними словами. Он называл автора верхоглядом, неспособным мальчуганом, заговорившим как взрослый, и проч. и проч.— ценность всей книжки он отрицал только из-за этой ошибки с какой-то там ничтожнейшей речонкой. А вот анализ социально-политический, экономический анализ, постановку и посильное разрешение автором сложнейших международных проблем — это несчастный старик просмотрел. Только это. И я подумал: «Эх, старина-старина,— и стар же ты! Ну куда ты годен для нашего времени со своими корейскими речонками? Нам нужны теперь люди, которые разом и все видят вокруг себя, все и быстро учитывают, во всем разбираются и если что утверждают, то не раньше, как всесторонне охватив вопрос, а не с краю... Мы, старик, можем ошибаться и в названии речки и даже в цифре какой-нибудь, подчас довольно важной, зато мы говорим всегда про целое, про главное,

про то, что стоит и впереди и выше, на берегу твоей мутной корейской речонки!»

Старику я этих мыслей своих не сказал: к чему обижать — пусть себе доживает в ученой темноте!

Я сознательно привел этот пример именно с профессором, по-своему большим человеком, знатоком известного круга вопросов. Но что нам толку от этих механических знаний? Нам знания нужны теперь всесторонние, бесспорно верные и знания в основном, в корне дела, а не по части одних корейских речушек. «Ученый что флюс — всегда полнеет односторонне»,— сказал еще давно злоязычник Кузьма Прутков. И вот, от разговора с профессором остался у меня осадок неудовлетворенности, даже стыда за его невежество: это же из-за дров не видеть леса, когда из-за такой пустяковины человек может отрицать значение и пользу целой серьезной работы! Он же, этот самый профессор, рассказывал мне про доклад Павловича в Военной академии на тему о грядущей неизбежной войне и опять смеялся, опять язвил на тему о том, что-де, «большевики всегда чего-нибудь да пугаются, кого-нибудь да пугают». И снова я видел, что старик утонул в своих речушках, а того главного, чем мы живы и чем страдаем,— этого главного он не знает, не видит, не понимает... Ну, скажите,— могу ли после этого серьезно относиться я к тому, что говорил мне этот полумертвый ученейший человек! Да нет. Потому нет, что он девять десятых жизни не видит и не знает, а рассказывает про что-то неизмеримо маленькое, почти никакого удельного веса не имеющее на весах истории, а главного не знает... Грош цена таким уверениям, таким «специальным» знаниям. И когда с этой точки зрения подхожу я к статьям Сосновского — они неотразимо убедительны именно тем, что берут быка за рога, говорят о самом главном, о самом важном. Для этого совсем и не надо быть непременно литератором — пожалуй, даже вредно, мало быть только литератором. Говорить о том, о чем говорит Сосновский, надо именно человеку, который сегодня убедительно пишет вам про молочные фермы, завтра — о новом земельном кодексе, потом о какой-

нибудь керзоновской ноте, а то, смотришь, и сам уедет куда-нибудь на конференцию, ну в Геную, что ли... В этом вся и соль. Читаешь и думаешь: многое знает человек, всем интересуется зараз и потому на жизнь выглядывает не через «специальное» окошечко, а прет тебе на самую каланчу и оттуда бьет набат. Это мой первый вывод и есть.

Для каждого рода деятельности, а в том числе и деятельности литературной, необходима широкая, всесторонняя ориентация — лишь в этом случае такая деятельность будет верной, убедительной и полезной. Политика, экономика, искусство — это лишь отдельные виды человеческой деятельности, в совокупности называемые человеческой жизнью, и кто не понимает хотя бы одной из них, тот никогда не может верно изображать и человеческую жизнь. А задача искусства — в чем же ином, как не в изображении жизни человеческой? И потому художник, «посвятивший» себя исключительно отделке стиля, формы, технического мастерства, вообще усовершенствованию элементов чисто формальных,— ну какой же он художник, какой изобразитель совокупной жизни? Ремесленник, такой же специалист, как, положим, сапожник, портной — не больше. Это второй мой вывод. Настоящим, подлинным художником никак нельзя считать того, кто занят в искусстве разработкой элементов исключительно формальных. Отдавая себя на съедение принципам формальной техники и все же продолжая считать себя художником, то есть изобразителем жизни, «творец» вполне естественно законопачивает всю многосложность жизни в свою крошечную коробочку и серьезно, искренне верит тому, что в этой коробочке у него скрыто настоящее, подлинное сокровище — сама жизнь. А на деле, как только заговорит, он людям подлинной, полной жизни смешон и жалок со своими карликовыми мыслями. Это совсем не случайность, что «формальные» писатели из числа цитированных т. Сосновским оговариваются разными глупостями, вроде «дай руп». Наш Демьян не может, органически не может ляпнуть этакую дребедень. И не потому, что он особенно умен, образован, компе-

тентен в разных вопросах, а потому, что он сросся с жизнью, оттуда черпает свой материал, а не высиживает его над столом, не поражает, а всего только изображает, не гонится за блестящим, но пустым словечком, а только припечатывает этим словом что-то воистину серьезное, нужное и важное. Обмолвившись пустяком один только раз, «писатель» обнаруживает неизбежно для зоркого глаза всю свою основную несостоятельность: он может удивить, он может даже поразить и заинтересовать, но внутреннюю пустоту его вы будете чувствовать всегда, раз только встретив «дай руп». Здесь мой третий вывод. Даже отдельное художественное произведение всегда с достоверностью отображает степень способности художника понимать или не понимать главное, основное и важное для жизни, а этим самым определяет и ценность всей его художественной деятельности. Но что такое ценность? Для кого ценность и в чем она выражается? Здесь нам мастера «формального» творчества говорят, что они работают для искусства, что оценивать результаты их деятельности должна не масса человеческая, а лишь та небольшая группа, которая «доросла» до понимания ценности этого мастерства. Здесь мы подступаем к основному кардинальнейшему вопросу: должно ли быть искусство вообще кому-либо полезно и в этом ли его задача? Не станем забираться в крапивную гущу: прескверное занятие. Скажем так: мыслимо ли целый вид человеческой деятельности, органически ему потребной, забинтовать в младенческие пеленки какой-то крошечной группы «мастеров», скрыть от взоров, от слуха и сердца человеческого — и на том успокоиться? Произведения искусства настолько же органически необходимы каждому, как необходимы ему пища и одежда. Если по темноте своей, по невежеству иной и не может знать художественного наслаждения, так он ведь томится этой своей неспособностью, он ведь наполовину и несчастен, потому что не способен наслаждение это понять, радоваться ему, им волноваться! А раз так — настоящий художник всегда выходить должен на широкую дорогу, а не блуждать по зарослям и тропинкам, не

толкаться в скорбном одиночестве. И следует вывод: художник лишь тогда стоит на верном пути, когда он в орбиту своей художественной деятельности включает основные вопросы человеческой жизни, а не замыкается в кругу интересов частных и групповых. Но жизнь человеческая, да и сам отдельный человек — это река быстротечная. И потому живет он, человек, постоянно обновляющимися, постоянно свежими, вперед идущими вопросами и интересами. Если ему и нужно и полезно то, что умерло давно, отошло в вечность, то нужно теперь, сегодня — далеко не так, не в том виде, как нужно и полезно оно было вчера. Надо уметь ловить пульс жизни, надо всегда за жизнью поспевать,— коротко сказать, надо быть всегда современным, даже говоря про Венеру Милосскую... Это мой пятый и последний вывод. Мне стало легче, когда сгруппировал я эти мысли, когда хоть мало-мало прояснились передо мной волнующие вопросы. Спасибо, сердечное спасибо Сосновскому за то, что он берет быка за рога. Я не думаю, что от статей наших пропадут или хотя бы побледнеют те направления «художественной» деятельности, которые нам так далеки и так чужды, которые по существу так же органически не способны принять нашу точку зрения, как мы не способны встать и работать с ними заодно. Они доживают вполне естественное — свои дни, вместе с доживающим последние дни старым миром... Наша задача не в том, чтобы их сошвырнуть с пути — они уйдут и сами,— наша задача лишь в том, чтобы ускорить их неизбежную смерть и тем самым очистить дорогу для новых форм творческой художественной работы.

1 июня 1923

О «ЖЕЛЕЗНОМ ПОТОКЕ» А. СЕРАФИМОВИЧА

I. Жить — значит бороться

Около сорока лет тому назад Серафимович впервые вышел на широкий путь литературного творчества. Казачий сын — он на «вольном и тихом Дону» не нашел той воли, к которой стремился с самого детства. Картины сурового быта, неприкрытой алчной эксплуатации, самодовольства одних и глухой беззащитности других, звериные нравы «культурного» общества влекли его прочь от этой жизни. Но куда? Он долго не знал, куда ему идти. И беспомощно, как в трудной болезни, метался он в поисках верного пути.

Созрел годами, возмужал мыслью, нащупал твердую почву и со студенческой скамьи угодил в архангельскую ссылку: путь был найден. Это был тот единственный путь, по которому в продолжение десятков лет, вплоть до самых Октябрьских дней, все чаще, настойчивей шли лучшие сыны трудового народа, рассыпаясь по ссылкам, по тюрьмам, по каторжным трущобам — по многострадальному и тернистому пути борьбы.

Серафимович свою долгую жизнь — оттуда, из царского подполья до наших победных дней — в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда, ни единого разу, не сошел с боевого пути;

никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе, оставался и в ту пору крепок, когда упало духом иль опустило беспомощно руки так называемое «передовое общество», начавшее гнить с головы.

От первого рассказа «На льдине» до последней прекрасной повести «Железный поток» Серафимович — все тот же певец борьбы труда с капиталом, свободного строя — с царством нищеты, насилия, эксплуатации.

Осветить многолетнюю деятельность Серафимовича — это значит коснуться целой эпохи. Мы здесь минуем обзор его литературной деятельности в целом и остановимся только на «Железном потоке» — первой повести широко задуманного цикла «Борьба».

Прежде всего о содержании повести. В ее основу положено историческое событие — великий, пятисотверстный поход Таманской армии, отрезанной белыми от Тамани в 1918 году. Таманцы с непереносимыми трудностями, ценою тысяч жертв, с безумным героизмом пробили себе путь — через Новороссийск, по скалистому Черноморскому побережью, через Туапсе, Белореченскую — вплоть до соединения с главными силами Красной Армии, отступавшими сюда от сердца области — Краснодара. «Кожух», командующий первой колонной отступающих,— это славный герой гражданской войны, Епифан Ковтюх, ныне командующий одною из красных дивизий. «Смолокуров» — это покойный матрос Матвеев. «Приходка» — адъютант Ковтюха, Гладких, побывавший с ним не в одном боевом испытании.

Все: и местность, и лица, и самые события — все это живой сколок с минувшей эпохи гражданской войны.

Серафимовичу, прекрасно знающему украинско-казачий быт, нравы, язык, не раз побывавшему и в тех местах, где проходила Таманская армия, лично и неоднократно беседовавшему с живыми участниками этого героического похода и, в частности, с самим Ковтюхом; Серафимовичу, обстоятельно и добросовестно изучившему весь материал о походе, удалось в своей повести сочетать мастерство художника с бо-

гатой эрудицией этнографа, добросовестную и широкую компетентность историка — с мудрым, серьезным и трезвым подходом социолога-ученого. Тем и ценно, тем и прекрасно это произведение — «Железный поток»,— что оно дает богатейшую пищу уму и сердцу читателя, вводит в события со всех сторон, обнажает их во всей полноте, во всей многогранности, неотразимой, естественной простоте и убедительности. Эта органическая простота в творчестве Серафимовича — от глубокого понимания движущих сил жизни и борьбы человеческой.

Его не устрашат опасности, его не ужаснут «эксцессы»: он знает конечную цель, к которой, все равно, что б ни встретилось на его пути, пробьется бурный «железный поток» жизни. Он смотрит на все как *знающий,* видящий за событием его концы, словно он крепко держит под уздцы бешеного степного коня, который мечется и бьется, но наступит некогда день и час,— он знает это,— и минует буйство и угомонится бешеная конская спесь.

Серафимович умеет распутывать сложный и спутанный клубок жизни. Чуть приметно снимая один слой за другим, он обнажает скрытую сердцевину, и все становится отчетливым и понятным. И часто большое, сложное он показывает на малом, «второстепенном»: ведь отражается и солнце в крошечной капле вод!

Вот, например, бабка Горпино, старуха, прошедшая с армией весь крестный путь, ночью, у повозки, размышляет одна:

«А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько, так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала,— родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он не царь, а кобель серый, его и спихнули.

Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель» (25) [1].

---

[1] Все цитаты по № 4 сб. «Недра». *(Прим. автора.)*

Чутье Горпины устремлено по верному пути: против насильников, против «ахвицеров», против эксплуатации. Эта «баба Горпино» предстает перед нами как олицетворение «иногородней» кубанской полуремесленной, полукрестьянской массы, не имеющей острого и верного классового сознания и лишь чутьем угадывающей направление своего исторического пути.

«Та нехай ция власть подохне, як пропаде мий самовар,— говорит та же баба Горпино.— На три дня, казалы, выезжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу неделю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты. Кобелю власть. Геть козаки поднялись, як оглашении... Жалко наших, Охрима тай того, молоденький такий. О, боже ж мий милый...» (24).

Художник социолог превосходно знает, с каким материалом он имеет дело. Когда этот вопрос ясен, тогда сами собой слагаются формы, появляется живой язык, развертывается широкое полотно разнообразной колоритной жизни.

Каков же «материал» Таманской армии? Вот он:

«Демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью, добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас «иногородние», все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью,— вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса всетаки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство и хозяйственные казаки, их не трогали» (40—41).

Установка сделана, фундамент обнажен, теперь автору ясно, как надо строить. И тут он ни разу не сфальшивит. Он знает, что перед ним не армия промышленных рабочих, и он не даст этой своей армии ни высокой сознательности, ни глубокой, органической дисциплинированности — нет, если он и даст дисциплину, то исключительно рожденную перед лицом

опасности, неминуемой, верной гибели. Если и даст «сознательность», то лишь начальную, единственно законную для данного «материала».

Автор знает, что и здесь происходят переломы, что и здесь имеют место идейные сдвиги, но он покажет это осторожно, без тени ложного пафоса, без всякой фальши.

Вот, к примеру, картинка борьбы старого и нового мира, идеологического расслоения в одной и той же социальной среде. Дело происходит после боя. Собираются хоронить покойников.

«Далеко раскинулся обоз, и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще разостланных грузинских палатках лежат мертвые, со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы,— другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куда?

— Та за попом.

— Та мать его за ногу, вашего попа...

— А як же? Хиба без попа...

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы.

— Шо ж оркестр... Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса его глотка. Як зареве, аж у животи болит. А оркестр — воинска часть.

— Оркестр! Оркестр!..

— Попа, попа!..

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать...

И оркестр и поп перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали: «Попа! попа!» Подбегавшие молодые солдаты: «Оркестр! Оркестр!..»

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну што ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжест-

венно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце» (133—134).

Автору ясны заранее скрытые пружины действий, сам «материал» никогда не даст ему перешагнуть через себя: социолог и этнограф, историк и художник живут в гармоничном согласии, в полном ладу.

«Объективность Серафимовича,— говорит тов. Коган («На посту», № 5),— сродна научно-материалистическому мышлению наших дней. Это — какое-то глубоко утвердившееся сознание закономерности исторического процесса, неизбежности совершающегося. Это сознание позволяет ему приподниматься над частным, смотреть оттуда с высоты на пеструю арену сталкивающихся интересов, хранить спокойствие, рожденное ясным видением пути и цели. Потому он серьезен и не разбивается на мелочи, не вздыхает, не сочувствует, не негодует. Все разрешится в общем грандиозном плане истории, в котором все значительно как часть целого, и все ничтожно, если подойти к нему с бесплодным субъективным настроением. Он ко всему внимателен, для него нет явлений главных и второстепенных. Все — силы, моменты борьбы,— все на учете. В его объективности — горение, добытое знанием фактов, вдумчивой мыслью, неугасимый источник твердых уверенных действий, упорного поступательного движения по раз избранному пути» (141—142).

А «путь избран» сорок лет тому назад: испытан, проверен в борьбе. По этому пути от юношеских дней дошел он до седых волос.

Это путь единственный — некуда с него идти.

II. О тенденциозности и «агитке»

Серафимовичу не нужно быть тенденциозным — ему достаточно быть самим собой. Надо только правдиво рассказать о том, за что он взялся, остальное придет само по себе. Нет нужды давать «агитку» о Таман-

ской армии, не приходится славить ее поход, когда простое, правдивое отображение фактов исторической действительности представляет собой лучший документ и создаст лучшую славу таманцам. Может быть, надо было представить таманцев культурными? Может быть, следовало бы изобразить их сознательными, дисциплинированными и классово организованными? Может быть, из ряда вон гуманными,— «цветами» революционного, борющегося класса?

Ничего подобного не нужно. А нужно одно: показать такими, как они есть. И если уж *такие* одержали верх, значит конец всему старому, ибо это «несовершенное» новое — победившая трудовая масса — будет «совершенствоваться», у нее все впереди, будущее за нею. И потому у Серафимовича даже за самыми темными фактами невежества массы, ее некультурности и жестокости чувствуется всему этому обратная сторона, чувствуется то, что идет на смену невежеству и темноте, и идет именно этим путем жестокости и страданий. Он это темное показывает нам как художник — не как судья, и потому «неагитка» становится агитационной.

Серафимович не стремится и не хочет агитировать — за него агитирует сам материал.

И когда у него выступает тот или иной герой, за ним всегда видишь коллектив, массу.

Рядом даются — и живой тип и вся социальная громада, которая его породила. Действия каждого лица — сосредоточены, единственны, неподражаемы, и в то же время они расплываются в действиях массы, потому что лицо и эта масса — едино суть. За действия одного ответственны все, действия одного — характерны для всех.

И когда автор берет индивидуальное действие, оно неизбежно «агитирует», воздействует в самом широком смысле.

Художественная правда заключается в том, чтобы без утайки рассказывать *все* необходимое, но рассказывать *правильно,* то есть под определенным углом зрения.

Серафимович так и поступает: он говорит все, даже, на первый взгляд, и самое «позорное». Но в историческом аспекте это «позорное» выступает как *неизбежное,* а потому и естественное.

И туман рассеивается. Без «тенденциозности» вопрос становится понятным и «агитирует» в определенном направлении. Кроме того, автор постоянно чувствует время, обстановку и среду, в которых развертывается действие.

«На войне — так на войне!» — вот его лозунг.

«Из поповского дома выводили людей,— говорится в одном месте,— с пепельными лицами, в золотых погонах,— захватили часть штаба. На куче навоза возле поповской конюшни им рубили головы.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали — нет его. Убежал. Тогда стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один из рубивших укоризненно сказал:

— Чего ж кричишь, як ризаная. От у меня аккурат, як твоя, дочка трехлетка... в щебень закопали там, у горах,— та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери» (132).

Или вот еще:

«...позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики,— казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него» (137).

Это — таманцы. Это не белые. Но и белые так же: «На войне — так на войне!» Здесь *неизбежно* в человеке пробуждается страстная охота к сокрушению. Не показать этого нельзя. Но показать надо с умением. И Серафимович *так* показывает, что при всей

жестокости, при всей бездне невежества и некультурности масс симпатии читателя все время безраздельно остаются на стороне Красной Армии — на стороне таманцев.

III. О пропорциях

Бывает так, что материал хорош, хороша и обработка отдельных частей, а в целом произведение — никуда не годится. И это зачастую происходит оттого, что отдельные части связаны неумело, что им уделено несоразмерное внимание, что нет художественной пропорции между этими отдельными частями.

В «Железном потоке» привлекает именно эта соразмерность частей. Как будто автор откуда-то сверху, с высоты птичьего полета охватывает все поле своих действий и хорошо знает, где ему задержаться, где промчаться карьером мимо. По существу, у него все время действует масса. На действиях отдельных лиц он останавливается реже — лишь по необходимости и вскользь.

На первом плане действует красноармейская масса, которою руководит Кожух, затем действует армия Покровского; действуют полки грузинской дивизии; действуют бойцы главных сил Красной Армии, когда соединяются с ними кожуховские полки. Кругом — масса. И каждой действующей силе отводится свое место — не больше и не меньше, чем то требуется художественным глазомером и чутьем.

Было великое искушение дать поход всей «Таманской армии», то есть всех трех колонн: 1-й, которую вел Кожух, и 2-й и 3-й, во главе которых стоял Смолокуров и которые шли за Кожухом. Там тоже было *свое* особенное, и искушение сочетать его с тем, что было в кожуховской колонне,— немалое искушение. Но автор на это не пошел, и жизнь этих двух колонн он дал лишь настолько, насколько было необходимо на ее фоне еще ярче осветить деятельность 1-й колонны, главной героини всех операций. Этим путем достигну-

та экономия средств, и напряженное внимание читателя все время концентрируется на главном, на основном.

Не то что «важное» у него отметается от «неважного» — тут все одинаково важно, и каждое действие — лишь составная часть общего потока событий. Здесь только «нужное» художнику отбирается от менее нужного, и тем самым удесятеряется сила впечатления.

Автор сработал свою повесть по системе: минимум слов, максимум действия.

Он скуп на рассуждения, они ему не нужны: основное покажет сама динамика развертывающихся событий. Надо ли говорить о малой сознательности, которая была столь характерна для отдельных отрядов на Тамани, надо ли говорить об ужасах и жестокостях? Автор даст только одну картину, и все будет ясно: казаки уже наскакивают на уходящих таманцев.

«Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезан нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

— Добре, хлопьята, добре...

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали:

— Там перед мостом идет бой...— он (то есть Кожух) пожелтел, как лимон,— идет бой промеж обозных и беженцев...

Кожух бросился туда. Перед мостом — свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями; рев, крик, бабий визг смертельного испуга, детский плач. На мосту громадный затор: сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети... Тра-та-та...— из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой... стой! — хрипучим, с железным лязгом голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа, животину портить... Бей его...

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет...— прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук. Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей, жен!

Кожух, прыгнув, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту — и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-га... и — бумм... там свое.

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руке, а адъютант стал пропускать по очереди» (29—30).

Читатель сразу видит, какая перед ним масса и что представляет собою железный командир Кожух.

Часто одним только штрихом Серафимович завершает целую картину, сразу обнажает то, что было еще неясно.

Вот, например, как отдыхает табор таманцев.

«У каждого свое»,— говорит автор. И он показывает это «свое», почти необычное в *такой* обстановке:

«— Та, Степане, проснись же, сын гуляе,— говорит одна молодка.— Який же ты неповоротливый. От я тоби сына кладу. Таскай его, сынку, за нос та за губу,— от так, от так... Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты его за губу, за губу таскай!

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будем мужиковаты. Зараз на

войну пидемо, а там работать є тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид меня моря пущаешь...

А мать смеется неизъяснимо радостным звенящим смехом» (26).

Или вот, по шоссе от Новороссийска уходят войска — они не в силах захватить с собою всех:

«Громадного роста солдат с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Мать вашу так и так... так вас, разъедак...

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко поднимают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нем, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Мать вашу так... Кровь за вас проливали... так вас и так...

С противоположной стороны в город входят казаки» (52).

Без этого одноногого солдата отступление было бы не столь колоритно. Калека, обреченный на верную гибель, неизгладимо врезывается в память читателя.

Третья картинка: немецкий броненосец бьет по уходящей колонне таманцев. Гибнут люди, гибнет скот, гибнет добро. Но этого мало, надо еще одним мазком дорисовать картину гибели:

«Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью. Опять родился в сверкающей голубой

высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной» (49).

Так экономно, умело, пропорционально распределяет автор свое внимание на различных сторонах своей эпопеи. В этом и заключается искусство подлинного художника.

IV. Масса действует

Построить такую величественную эпопею, как поход таманцев, на действиях отдельных лиц было бы неестественно: десятки тысяч людей не могут быть механически действующими фигурками. Кожух потому и герой, что его воля совпадает с десятками тысяч воль бойцов, которых он уводит от гибели. У Серафимовича как раз действует вся красноармейская масса, нашедшая в Кожухе лишь наиболее полное воплощение своей воли.

Даже биография Кожуха в этом отношении чрезвычайно характерна:

«Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке,— потихоньку и грамоте выучился, потом в солдаты, война, турецкий фронт. Он великолепный пулеметчик. В горах забрался в тыл с пулеметной командой, и когда турецкая дивизия стала отступать на него сверху, заработал пулеметом, стал косить, и падали *люди, как трава, рядами,* и побежала на него, дымясь, живая горячая кровь, и нико-

гда он прежде не думал, что человеческая кровь может бежать в полколена,— но это была турецкая кровь и забывалась» (41—42).

И дает ли Кожух командирам расписываться под бумагой, что за неисполнение приказа им грозит расстрел; командует ли в бою; бросает ли гневно приказ своего «начальника» Смолокурова — во всем этом не одно кожуховское, индивидуальное, а характерно-типическое для всей этой обветренной железной массы бойцов. Каждый из них поступил бы так: характерная установка у них у всех одинаковая. Когда действует один — здесь действует вся масса.

Особенно прекрасны у Серафимовича те картины, где масса находится в действии. Взять хотя бы уже приведенную выше картину суматохи на мосту. Или вот: с таманцами отступало несколько тысяч матросов с затопленного в Черном море Красного Флота.

В одном месте про них говорится так:

«Даже в темноте чувствовалось, шли толпой буйной, шумной и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью.

Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нима.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Мать... мать... мать... Сидите тут, кашу жрете, а что революция гинет — вам начхать... Сволочи... Буржуи...

— Та вы що лаетесь... брехуны...

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух... подумали... Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы, социалисты-революционеры, никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег,— на

месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везете.

— А вам чего... завидно... Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи. Куда вы годитесь, тудытт вас растуды...

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась напряжением, а костры куда-то провалились.

— Хлопцы, бери их...

Винтовки легли наизготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхивая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко. Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляются!..— сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак...

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней» (61—62).

Полки Кожуха соединились с полками главных

сил Красной Армии. Поистине незабываемые эти картины встречи. Здесь ярко изображена необычайная сила переживаний:

«Те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных краев:

— Оте-ец наш... веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим...

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урррр-а!.. Уррр-а-а... а-а-а... батькови Кожуху...

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды, несли и там, где стояла артиллерия, пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели в первый раз:

— Та у его глаза сыни...

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской ласковой улыбкой,— не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нехай живе... Пидемо за им на край свита, будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем...» (161).

Массовые сцены — родная стихия Серафимовича.

«Когда Приходько вышел, шум воды *вырос,* наполняя всю темноту. У дверей на *черной* земле, *тем-*

ный и *низкий* пулемет. Возле две *темные* фигуры с *темными* штыками» (22).

Нельзя сказать лучше, чтобы заставить читателя почувствовать эту обстановку. Здесь ни одного слова нельзя заменить другим: из повторения эпитетов — черного, низкого, темного — создается картина жуткой обстановки.

«Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено, присмотришься — повозки; густо несутся храп и заливисто-сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы тополь — не тополь, и не колокольня, присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы» (22).

Попробуйте здесь поставить какое-нибудь другое слово вместо «неугадываемых хат», и вы почувствуете, как тотчас ослабеет напряженная сила восприятия. Или такое выражение: «на улице черно наворочено», здесь чувствуется и хаотический беспорядок, и массивность, и ночная обманчивость форм.

«Солдат, *щекотно* влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— Коновязь,— и из-под усов густо расплывается *винный дух»* (22).

«Море — нечеловечески огромный зверь с ласково-мудрыми морщинками — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крики, гоготанье...» (82).

Кто был у моря, тот явственно почувствует, как этот огромный зверь «ласково лижет живой берег».

Вот описание грузинского офицера, очень много болтающего о «свободе», о «культуре», искренне убежденного, что «большевики — враги человечества, враги мировой культуры» (95). Он приготовился со своими войсками «достойно» встретить таманцев и прикончить их здесь, на горном перевале.

«Грузинский офицер *с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске,* в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по

площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда» (94).

Больше ничего о нем можно и не говорить.

Этот образ, схваченный немногими штрихами, гораздо ярче рисует грузинского, меньшевистски настроенного офицера, чем детальная характеристика.

«Кавказское солнце, даром что запоздалое, горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня» (157).

Какое это превосходное описание по точности определений, по гармонии слога, по строгости и красоте эпитетов!

Такой же краской, такой же одухотворенностью пронизана и картина ночи:

«В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом, песни родятся близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...» (105).

Примеры можно удесятерить, но в этом нет нужды — повесть «Железный поток» нужно не цитировать, а читать ее всю от начала до конца — она вся написана превосходно.

Серафимович хорошо знает материал, положенный в основу произведения. Он прекрасно чувствует среду, в которой развертываются события, знает ее быт и нравы, знает язык, знает всю эту тайную гамму движения мыслей и чувств человеческих, поэтому с легкостью и уверенностью подлинного большого художника он обращается с материалом своей замечательной повести и дает образцы непревзойденного мастерства.

Окунуться на несколько часов в чтение «Железного потока» — это значит освежиться в переживаниях героических революционных действий, это значит приобщиться к произведению большого художественного дарования.

21 сентября 1924

«ВИРИНЕЯ» Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ

Дважды прочитал я «Виринею», и дважды острое чувство боли сжало сердце, когда убили Вирку: так тяжело бывает только при гибели дорогого, близкого человека.

Это Вирка-то близкая? Это Вирка-то дорогая? Такая буйная и распутная, такая дикая, необузданная, вздорная баба?

Помнится мне: в жарком бою вражьи пулеметы косили по нашим цепям. И падали бойцы, выбывая один за другим, разрежая ряды. В лихорадочном гуле и гаме и свисте некому было за ними следить — и кто упал, кто пропал — того не знали. Одни оставались недвижны на поле, других кто-то с тылу успевал стащить к повозкам, и там их грузили спешно, с тупым и холодным безразличьем, грузили привычно, словно арбузы — по двое, по трое, укладывали в ряд, увозили с поля брани. Всем, кто грузил и кто увозил, было тяжело, но какою-то смутной, невыясненной болью, разом за всех и ни за кого особо.

Хмур и суров стоял командир полка, отдавал приказанья крепким и кратким словом, молча взглядывал на возы, что-то метил в походную книжку.

— Убили ротного Гришука,— сказал кто-то тихо и жутко.

Командир полка вскинул бровью и не сказал ни слова. Стоял и метил снова книжные листочки.

— Убили двух батальонных! — коротко крикнул кто-то страшным криком.

Вздрогнул командир полка, но остался на месте, сказал, как надо было сказать, сменил двоих и снова стоял — метил книжку, глядел на мертвые возы.

И вдруг не своим кто-то голосом пронзительно взвизгнул над ухом командира:

— Разведчика Пашку Сычева убили!

— Как убили? — резко вскрикнул командир.

— Убили наповал,— словно кувалдой ударил голос.

И я увидел в широких, вдруг потускневших глазах сурового командира — слезы: они сбежали торопливо на щетинистые, небритые щеки и там пропали. Это было только миг. А потом он, как прежде, стоял на посту, отдавал приказанья, метил книжку, следил возы с бойцами, снарядами, ловил летучие вести — делал то, что надо делать командиру в бою.

И когда я спросил потом командира, отчего он слезою в бою помянул Пашку Сычева, малого разведчика, отчего легче принял вести о том, что побиты ротные, батальонные командиры; когда я вспомнил ему, что Пашка Сычев — озорной буян, что Пашка не слушал никогда чужую команду, что Пашке нельзя было многого вверить — он своей волей все может кувырнуть кверху дном,— когда я все это сказал командиру полка,— он проникновенным взором посмотрел мне в глаза и ответил:

— А свежее нутро у Пашки ты чуял?

И, не дождавшись моего ответа, добавил:

— Из Пашки я себе готовил смену — он был крепче и ротных и батальонных, хоть верные они были ребята. Пашка не взнуздан и дик, зато силу большую имел человек у себя в нутре. И я эту силу в нем приметил, я бы той силе и линию дал, Пашкина сила только линию одну и ждала. Ан не вышло. Батальонных, на место тех — других сыщем, ну, а вместо Пашки вот — поискать... Да и не найдешь... Потому — хоть чумной, да редкий они народ...

И с большой тоской в сухих глазах положил командир голову на крепкую широкую ладонь. Мы с ним больше про Пашку Сычева никогда не говорили,

и я про Пашку забыл, а вот теперь, когда убили Вирку, мне вспомнился он, этот невзнузданный, непокорный, лихой разведчик. И видно, не зря вспомнился — нутро у них одинаково ядреное и свежее, сила у обоих — крепкая, недюжинная.

Рассказ про Вирку короток и прост.

Невенчанная жена слабосильного Васьки — томится Виринея в скучной, тошной, пустой жизни. Ваську бросает, перебивается с гроша на копейку, прирабатывает тут же, на деревне, по крестьянским семьям или в бараках — буйная, непокорная, неприступная. С фронта пришел Павел Суслов. Виринея «по-хорошему» сошлась с ним, живет, а когда ударила революция, втягивается понемногу и в самую борьбу. Эта полоса у ней коротка — скоро Вирка трагически погибает. Первая наша встреча с Виринеей — во дворе, у хаты. Мы еще ничего про нее не знаем, но уже по первым словам чувствуем сразу в ней самостоятельность, неподатливость, внутреннюю силу. Тут, видите ли, инженер один ее Ваську в город послал за табаком, что ли, в скверную погоду; больного-то. Инженер пришел наведаться и вдруг увидел красавицу Вирку. Как увидал, так и приковался, не хотел уходить,— ластится, юлит, заговаривает. Другая, глядишь, польщена была бы в те времена этим «вниманьем», а Вирка словно водой студеной оплескивает «барина» своей холодной, насмешливой речью.

«Полное ведро помоев вынесла,— сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью!

Вошел инженер в избу, нацеливается, прилаживается, как бы поудобней приступиться к Вирке.

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Криво, неласково усмехнулась.

— Скамейку не просидите поди. А нам какая помеха?»

И через пару минут добавит ему еще крепче:

«— А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий что надо, мы к вам доставим...»

Это не просто норов злой и неприветливый прорвался в Вирке — это заговорило в ней протестующее сердце, это окатывает она неровню, чужого «барина», это гудит в ней здоровый инстинкт.

«— Ну, и нетерплячее у господ нутро,— говорит она.— Чего захочет, через нельзя достань да подай. А то замается, ровно от заправдишной нужды...»

И этими словами сразу рассекает на две половинки присутствующих. На одной стороне «господин инженер», гоняющий за дальние версты больного Ваську по личной прихоти, инженер, платящий «хорошие деньги», а на другой стороне — этот самый Васька, иззябший, продрогший, затомившийся страшным приступом кашля. Вирка дичится и сторонится «барина» по глухой, но крепкой и верной классовой ненависти. Эта ненависть к господам и владыкам положения объявится в ней еще круче и резче потом, когда уйдет Виринея от Васьки. На молодую красавицу женщину, словно мухи на мед, липнут разные досужие «охотники». Вот подъехал к ней и «сам земский» — видите ли, в кухарки целился нанять. Но Вирка смекает, в чем тут дело,— да во время «делового» разговора, при трех мужиках, при уряднике,— так ему и бухнула:

«— Ты начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю!»

Да с бранью, с руганью — так и отшила земского.

Этот откатился — подъехал другой, «над многими инженерами главный», чистенький, холеный, балованный аристократик. Вирка отбрила и этого, да так отбрила — лучше не надо. Отбросила земского, отшвырнула аристократа-инженера, стала жить с мужиком-кузнецом.

Этого поворота уж никак не понять какой-нибудь Аниське, которая за счастье сочла бы попутаться с «барином»,— недаром читает она Вирке выговор-нравоученье:

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты отроду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про го-

спод вот... Ведь, как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак по крайности гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Что тебе обувка, что одежа — завидки берут глядеть!.. А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошла, дак по крайности с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут...»

Вирка на это коротко ответит блудливой Аниське:

«— ...У меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай».

И вот приходит время, встречается, сходится Виринея с Павлом Сусловым. Не то чтобы Павел из очень передовых, не то, чтобы очень уж сознателен, но мужик он чистый, честный, голова на плечах здоровая, мысль у него верная, чутье острое.

Подступил девятьсот семнадцатый год, революция. Павел Суслов входит в общественную работу,— линию ведет на сторону большевиков. Раскололся народ: кто с Павлом, кто против. Виринея сама поняла и увидела, где настоящее дело, не пришлось ей себя ни ломать, ни перестраивать — так же думала, как Павел Суслов. Как-то на первых днях, когда не уразумел еще всего и как следует народ, когда галдели немало за войну «до победного конца», смеялась Виринея:

«— Не терпит печенка. Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая то свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом все нашего брата зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти!..»

Не зная и не видя путей, которыми можно провести эту встряску «до корню», не имея ни опыта, ни знанья, ни закалки соответственной, будучи в борьбе революционной человеком совершенно новым, сырым, неопытным, Виринея выходила на путь борьбы

так же, как выходили тысячи, сотни тысяч, миллионы трудящегося люда: верные своему классовому чутью, толкаемые вперед всем строем господствовавших отношений, увлекаемые вперед наиболее твердыми, смелыми, сознательными.

У Виринеи в каждом слове, в каждом поступке чувствуете вы подлинную силу, богатые, но дремлющие, неразвернутые способности. Это не просто забитая крестьянская женщина, удрученная и замученная невзгодами тяжелой, беспросветной жизни,— о нет, Виринею в дугу не согнешь, Виринею не смучишь, такую недюжинную силу скоро не осилишь. Как кряж, крепкая — она отгрызается, отбивается, не поддается и, видно, не поддастся никому, скорее погибнет, а не поддастся. Не напрасно, не для красного словца сказала она земскому:

«— Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь».

В устах могутной, решительной Виринеи это не фраза, не франтоватое словцо — это *дело,* которое сделает она, не моргнув глазом. Потому и сторонятся все от нее, боятся задирать ее так же безнаказанно, как задирают и оскорбляют они других: все знают, что Вирка этого не дозволит, не спустит, в обиду себя не даст. Жила Вирка с Нефедом-кузнецом, блудила и бражничала открыто,— так того хотела сама. Но вот увидела Павла и затревожилась первою неясною тревогой, решила отучить от себя Нефеда. Пришла к нему в кузницу и при народе ахнула:

«— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь, в глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то. Все больше пакостники, блудники да злыдни. Да нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями испахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром. С топором сплю, и топор рука подымет, вот те-

бе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю».

И кто же не поверит тому, что «так бы она и сделала»? Все поверили. Потому и стерпели мужики от «бабы» этакую обиду,— другой того нипочем бы не спустили.

Только бессильно перебранивались меж собою:

«— Ну и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие, такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищения. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась».

Силы у Виринеи много. Только сила эта будто загнана внутрь, нет ей выхода, не к чему ее приложить. К чему, в самом деле, приложишь этакое богатство в глухой, темной, тошной деревне?

И Виринея томилась, пропадала в бунте, в разгуле, в распутстве, прорывалась силой, не могла и не хотела вогнать ее в русло женского, покорного, почти рабского прозябанья.

Это верно, что больше шумела она насчет беспутства своего, чем беспутствовала на самом деле. Павел Суслов так ей и говорит:

«— Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь...»

Верно сказал Павел. Эту чуткость его и Вирка поняла, оценила, оценила вообще она Павла во весь его рост,— за то и привязалась, полюбила его — такая вздорная, неподатливая, недоверчивая, привыкшая видеть в мужиках только властных деспотов да хищных самцов.

Полюбила она Павла, да такой хорошей, чистой любовью, которою способны любить лишь этакие недюжинные люди, как Виринея. Она уж что-нибудь одно: или беспутствует — шумит, над собою и над

людьми издевается, надо всем глумится, все проклинает, ни с чем не может смириться,— или, наоборот, полюбит вот такого, как Павел, да хорошо полюбит, нежно, чисто, не на короткие дни. Были и в прошлое время минутки, когда распахивалось нежное Виркино сердце, но это были только минутки. В бараках, где вела она пустую, нудную или эту скандальную жизнь, как-то в тяжком настроенье забралась Вирка на печку. А там дети.

«И оба мальчишки поменьше вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи...

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим хорошим голосом сказку сказывала:

— ... и скушно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В этот праздник Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась».

В этакие минутки обнажала Вирка свое нежное, чистое, здоровое нутро, но редки были эти минуты, уходили они бесследно, оставляли Вирку по-прежнему в грязи, в нужде, в разгуле.

Вы все время чувствуете, видите, понимаете, что тесно жить Виринее в той среде и в тех условиях, где застали мы ее при первой встрече. Не такая она обычная, не такая она смирная, чтоб жить по-серенькому и со всем и во всем примиренно.

Она уж и тогда, до революции, даже в скандальной жизни своей стоит на целую голову выше тех, что ее окружают: в бога она уж и в ту пору не верует,

глумится, издевается над чужою верою, над темным крестьянским суеверьем.

«— Бог, бог...— говорит она старухе, Васькиной матери.— Давно поди он сдох. Сколь лет его просишь, корежишься, отдохнула бы».

Эти смелые мысли в ту пору мог высказывать не каждый. Вирка высказывала их легко и свободно. Она вообще не считала нужным в чем-либо затаиваться, что-нибудь скрывать: жила с Васькой, три года жила и никогда от слова своего, от верности не отступила, а решила вот уйти — сразу ушла, и тут уж не остановить ее никаким насмешкам, угрозам, мольбам...

У нее вся жизнь на виду — нечего и незачем ей скрывать, потому эта жизнь ее и кажется по первому разу столь разнузданной, бесшабашной, разгульной. По существу же, распутства тут на грош, а все остальное — это дикий, необузданный, но смелый протест против нуди, жути серых будней, невидимых и видимых кандалов, в которые хотели одеть и ее, Виринею,— протест открытый, но одиночный, а потому и бессильный, беспомощный протест против всего уклада разнесчастной жизни.

Оттого и естественны и органически законны речи и поступки Виринеи, когда плечо в плечо с Павлом Сусловым идет и она по пути борьбы. Глухой одиночный ее протест, имевший раньше и врага невидимого и путь неведомый, сливается теперь с массовым протестом против видимого, явственно видимого, коренного, главного врага: против всего строя старой России.

В нем корень всех бед и зол. Это остро и чутко почувствовала Виринея, потому с такою горячностью и вступилась в борьбу. Как-то раз она так разожгла мужиков, что бились они промеж себя мертвым боем, а ее насилу выпустили живой.

«— Куда лезете? — резала им Виринея.— Воевать не надоело. Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено. Вояку-то главного, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала!

За землю держитесь. А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются, а вы... до победного конца. Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете!»

Поколотили ее мужики, побитая примчала домой, а Павел присмеивается.

«— Вот дак оратор... Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием...»

И Вирка вскинулась на него, на Павла:

«— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж, что баба, у меня тоже в голове-то теперь не только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими...»

Правда, самая речь у Вирки тут вычурная, деланная, неверная, но это уж автор виноват, а не она. Вирка же правду говорит, у ней теперь «не только об домашности думы», она все глубже, глубже вклинивается в борьбу, из нее, из Вирки, растет у нас на глазах и готовится настоящий борец — женщина беззаветная, мужественно-смелая, а в дальнейшем, верно, и вполне сознательная, передовая женщина нашей великой эпохи.

Дремали в Вирке богатые силы, пропадали без толку и так пропали бы вовсе, ежели не ударил бы гром революции. Он сорвал с нее путы, высвободил силу, пустил ее на простор.

И уже на второй план отходит Вирка-женщина, Вирка-жена и будущая мать,— перед нами вышла на поле брани женщина, могучая, непреклонная, недюжинная женщина-борец.

Как-то в разговоре Павел ей бросил:

«— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

И Виринея ответила:

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя».

Этими простыми словами обнажила себя Виринея как женщину-борца с пробужденным сознанием, гото-

вую на все, верную во всем тому делу, которое признала своим.

Летели стремглав события.

Разгоралась, крепчала борьба.

Павел с отрядом — за пределами своей деревни. Виринея в деревне, готовит восстанье, бушует с оробевшими мужиками:

«— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил — стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите — не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать».

Это уж настоящая работа, это уж подлинное революционное дело.

У Вирки родился ребеночек, но скоро вынуждена она оставить его, скрыться, чтоб не попасть в руки палачам.

Материнская любовь приводит ее темной ночью к избе, где любимое дитя.

А у избы засада. Вирку схватили. Вирка тут же, на месте, драматически кончает жизнь. И когда ее уж больше нет — вы особенно явственно начинаете чувствовать и понимать, что это ушла большая, сильная личность, что дремавшие и пробужденные в ней революцией силы и в десятой доле не нашли еще своего приложения, что вся она была в будущем. Вот почему так тяжело, когда погибает Виринея. Вот почему вспомнился мне геройский разведчик Пашка Сычев, у которого не были развернуты во всю ширь могучие силы, но силы эти были, и силы эти чувствовал, видел, понимал суровый, безошибочный командир полка.

[*1925*]

II

А. ШУГАЕВ. «В НАШИ ДНИ»

(Драматические картины в 4-х действиях)

Содержание пьесы заключается в следующем.

Весной 1919 года под давлением колчаковских войск эвакуируется один из городов уральского промышленного района. Коммунисты отступают вместе с красноармейскими частями, а в самом городе оставляют на подпольную работу лишь небольшую группу партийных товарищей во главе с Григорием Плотниковым. В первом действии дана картина семейной жизни Плотниковых, причем здесь на сцену выступают, кроме отца, сознательного рабочего, и матери с женой, несознательных женщин,— еще дядя Григория, бывший торговец, ненавидящий советскую власть, и его дочь Дашенька, уходящая несколько позже к красным партизанам, подымающим восстание в тылу. Вскоре Григорий попадается на одном деле в руки белых. Его допрашивают — генерал Донской и поручик Соловьев, мысленно уже приговорившие его к расстрелу. Но Григорию удается бежать при помощи т. Иванова, старшего писаря штаба карательного отряда, во главе которого стоял вышеназванный поручик Соловьев. Иванов спас Григория как старого товарища еще по «германской войне».

Группа во главе с Григорием усиленно готовится к восстанию. Ее выслеживают, за нею гонятся по пятам — и все же не могут уничтожить. Вот поднялось

восстание. В городе бой между восставшими смельчаками и оставшимися белыми частями. Запасный полк, арестовав офицеров, переходит целиком на нашу сторону. Общее ликование. Торжественные радостные речи. На этом конец. Содержание, как можно видеть, незамысловатое, но изложено оно с такой любовью, с такой задушевностью, что самую пьесу можно бесспорно причислить к подлинно художественным произведениям. Отличительной чертой этого произведения является удивительная легкость, с которою развиваются действия. Нет ни одного лишнего явления, нет ни одного персонажа, который оказался бы лишним, нет слов и разговоров, которые были бы вытянуты клещами,— все родилось само собой, всем им родиться было необходимо. Автор хорошо ухватил за сердцевину как своих героев, так и бытовую обстановку, в которой они вращаются. Не только основные черты характера, но и все детали являются нормальными и естественными для того типа, которому придал их автор.

Вы видите Григория Плотникова, рабочего, благородного коммуниста, и пламенного и спокойного — одновременно. Он одинаков — и в семье, где забавляется с ребенком, и на допросе, где чувствует ледяное дыхание смерти, и в крестьянской избушке, где вырабатывается план близкого, решительного восстания.

Вы видите глуповатого, скандального и импозантного генерала Донского, всегда верного себе в своем ничтожестве: внешнему блеску в нем соответствует окончательная внутренняя пустота. Ловкачи, вроде поручика Соловьева или Ястрежембоского, про которого только упоминается в пьесе, будут всегда вершить самостоятельно свои дела подле таких сиятельных болванов, как генерал Донской. Прекрасны типы Дашеньки и Васи — этих двух юнцов, еще не столько разумом, сколько инстинктом чувствующих правду коммунизма. Картины даны удивительно ярко: присутствуете ли вы при допросе Григория, участвуете ли вместе с автором в облаве на конспиративную квартиру «заговорщиков», слышите ли с дачи бой, ко-

торый в городе ведут восставшие герои. Вы неизменно схвачены живым и свежим переживанием, которое дается вам картинностью изложения.

Нет в пьесе ни тенденциозности, ни утрировки. Отец Григория, например, представлен просто порядочным рабочим, не коммунистом, а женщины, мать и жена, хотя и члены рабочей семьи — выведены со всеми реальными особенностями отсталой женской психологии. Любовной интриги в пьесе совершенно нет — она выдержана в строго революционных серьезных тонах. Можно, разумеется, отметить в пьесе и несколько дефектов, но они совершенно тонут в море достоинств и устранены могут быть совершенно легко, без коренной ломки пьесы. В разных местах можно наблюдать невыдержанность, неосторожность и непродуманность выражений.

Возьмем несколько примеров:

1. Надя, жена Григория, лаская крошку сына, говорит: «Ах ты, сыночек мой хорошенький! Коленька! Мальчик мой! Ах, да какие мы с тобой разнесчастные...» Эти последние слова звучат не к месту, они произнесены рано: Надя еще не знает, что Григория посылают на фронт. Они были бы более к месту, когда пришел Григорий и сообщил о том, что скоро едет в полк.

2. На несколько строк выше отец Григория обращается к жене Марине Васильевне:

«Вы, бабы, что курицы: сиди около вас целый век — ну, тогда еще ладно, довольны будете, а чуть что, заварись большое новое дело, не куриное,— ну и зашумят, и закудахтают, и забегают: ахи да охи, да как же, да чего же...»

Это никуда не годное сравнение говорит само за себя.

3. Или вот еще пример тяжеловесности и некоторой искусственности выражений.

Поручик Соловьев по поводу «красной заразы», распространяющейся в их частях, говорит:

«Скоро мы выметем железной метлой весь мусор из освобожденных местностей возрождающейся Великой России...» Этот стиль был уместен в его рапорте на

имя генерала Донского, но в живой речи это звучит противоестественно.

4. Генерал Донской допрашивает Григория:

«Сколько человек вам помогало? Где они? И кто такие? Где имеются еще подобные организации? Сколько? Какие вести получены вами с фронта?..»

Так много вопросов сразу никогда не задают. Если допрашивает человек умный — ему просто невыгодно нагромождать один вопрос на другой; если же допрашивает глуповатый генерал — ему не по силам сразу перечислить такую уйму вопросов.

5. Донской издевается над Григорием: «Рабы. Скоты. Сволочь грязная! Взбунтовались, прогнали господ, напились крови и вообразили, что вы — господа жизни, творцы, властители. Мерзавцы. Бандиты. Жулики. Разбойники».

Как ни крепок на брань глуповатый генерал, а все-таки даже и в его устах это нагромождение названий звучит неестественно.

6. Дашенька с Вольным обращается то на «вы», то на «ты», это отнюдь не по своей, а по авторской забывчивости.

7. Прилепский, один из товарищей Григория, по поводу рабочего с Ижевского завода говорит Иванову:

«Ваш ижевский рабочий может оказаться подлецом, как и все они».

Подобные выражения, относящиеся ко всем рабочим ижевских заводов, следует снять.

8. Изредка прорывается у автора и пафос; некоторая вычурность, витиеватость выражений.

Григорий, например, растроганно обращается к перешедшим на нашу сторону солдатам:

«Спасибо, товарищи. Большое красное спасибо». Или в заключительной речи у него имеются такие несуразные слова, претендующие на огненность и красоту:

«Несмолкаемый грохот на кольцевом фронте защитников социальной революции...»

Это выражение звучит как-то смешно, по-куколь-

ному. Или вот еще один пример. Григорий говорит генералу Донскому, этому чучелу в позументах:

«Разве г. генерал не знает, что коммунизм прежде всего есть дерзость, брошенная в лицо старому миру. Яркая, стремительная, красная, выдающаяся дерзость».

Для кого эти высокопарные слова? Неужели для генерала? Еще куда ни шло, если бы они были произнесены, положим, на публичном суде, там они имели бы хоть чуточку агитационного значения, а здесь... поистине Григорий бисер метал перед свиньей, да к тому же и бисер-то не настоящий, а искусственный.

На этом можно кончить. Небольшие дефекты, подобные приведенным, следует изъять, частью выбросив, частью переработав отдельные места.

В целом пьеса хороша. На красноармейской сцене она будет одною из любимых.

18 июля 1921

«КРАСНАЯ НОВЬ», №1, 1921 г.

(Литературно-художественный и научно-публицистический журнал)
Орган Главполитпросвета, Госиздат.

Уже по первому номеру объемистого журнала видно, что он будет не столько научным, сколько общественно-художественным. С первой же страницы вас берут за живое бытовые картины современности, разработанные в рассказах и стихах. Дальше в отделе «Искусство и жизнь» (пока не богатом), в статьях тт. Луначарского и Фриче вы снова встречаетесь с вопросами художественной жизни. Наконец, в последнем отделе («Из зарубежной прессы») тт. Воронский, Нурмин, Меньшой посвящают вопросам творчества и литературы ряд критических очерков. Можно только приветствовать, что и в художественных произведениях и в литературно-критических очерках — ясная линия реализма, совершенно чуждого крикливым и дешевеньким забавам неистовых футуристов и имажинистов, пытающихся внутреннюю пустоту скрыть под размалеванной внешностью.

В политико-экономическом отделе помещена обширная статья т. Ленина «О продналоге», ныне уже распространенная в виде брошюры по всей республике. Статья т. Двойлацкого «Накопление капитала и проблема империализма» посвящена разбору и критике двух трудов покойной Розы Люксембург, еще не имеющихся в русском переводе. Статья чрезвычайно ценна,

как трактующая вопрос о сущности империализма с совершенно особой точки зрения...

Не имея возможности останавливаться подробно на всех статьях интересного и разнообразного журнала, мы можем только обратить внимание... на заметки «Из зарубежной прессы», где помещен материал редкостный и ценный.

Общее впечатление от журнала — безусловно положительное. Его бесспорным достоинством является: солидность и разнообразие материала, умелое его расположение, правильно взятый курс в подборе и самая художественность издания.

[1921]

С. ВАСИЛЬЧЕНКО. «ДВЕ СЕСТРЫ»

(Картины для чтения и представления)
Госиздат, М. 1921 г.

Сцена долго и напряженно ждет хорошую пьесу, где была бы схвачена и художественно отображена наша драматическая современность. Их нет, этих желанных пьес. Старая писательская гвардия отыгрывается на воспоминаниях о «потерянном рае», пописывает про «коринфские стрелы» или попросту бьет баклуши, а новый большой писатель еще не созрел, его еще не выносила революция.

Сцена засиротела, ей нечего дать своему новому зрителю — рабочему и крестьянину. Мы смотрим и слушаем все то же, что смотрели и в 1910-м и 900-м году, что смотрели и ... прошлом веке.

Как будто и не произошло ничего значительного, словно и не было Октября — великого Октября, во всем открывшего новые пути, всему задавшего новый, неслыханный доселе революционный тон. Что ж поделать: на нет и суда нет; будем хранить старое, смотреть его и слушать, любоваться им, а в известном смысле и наслаждаться. Придет время — выйдут из недр народных великие мастера художественного слова, и они дадут сцене, дадут искусству вообще то желанное, которого теперь так ощутимо не хватает. Появляющиеся пьесы, будь то драмы, комедии или просто картинки, страдают общими, и по-видимому, до поры до времени неизбежными недостатками: наду-

манностью самых сюжетов, образов и положений; грубоватой и прозрачной тенденциозностью; слабой художественностью, ложным и неуклюжим пафосом; ребяческой наивностью; подчас невероятной внутренней несогласованностью и даже противоречивостью; незнанием существа сценического искусства и, наконец, общей претенциозностью на большую роль, чуть ли не на поворот в искусстве. Тов. Васильченко дал «картинки для чтения и представления» под общим названием «Две сестры».

Удовлетворяет ли нас сколько-нибудь это новое произведение? Мало. Ему суждена та же участь, что и легиону подобных,— остаться незамеченными, пропасть, не оставив почти никакого следа в литературе.

Две сестры — это Правда и Сказка, два символических существа, фигурирующих в рабочей среде и играющих большую роль в деле подъема и упадка протестантской, революционной энергии рабочего класса.

Замысел большой, сложный и чрезмерно трудный для выполнения. Только крупному художнику было бы под силу одолеть в художественных образах всю массу сложнейших психологических коллизий, возникающих при столкновении Правды и Сказки, как стимулов, как ферментов революционного брожения.

Картинки связаны между собою единством действия и действующих лиц — это обязывает и к логическому развертыванию самого действия, а этого как раз и нет. Отсутствие внутреннего, логического единства при наличии внешней, чисто технической связи дает впечатление искусственности, надуманности и даже некоторой вычурности.

Дальше. В произведении, где символически изображается такая крупная реальность, как нарастание революционного брожения,— и естественным, и совершенно необходимым является пафос, но пафос искренний, возвышенный, вполне соответствующий значительности замысла, который он должен выявить. А здесь?

Возьмем только один пример и станет совершенно ясным, что вместо художественного пафоса нам пре-

подносят несносную, дешевенькую декламацию. Старики ищут *Правду,* спрашивают:— Где же она, где девушка (то есть Правда.— *Д. Ф.*), которую мы искали *во всех городах и странах, где душа бунта усмиренного. Где надежда порывов наших мятежных и воспоминаний пламенных.* (Курсив мой.— *Д. Ф.*).

Это не художественный пафос, а худое словоизвержение.

Дальше. Определения и эпитеты хороши только в том случае, если они *по существу* дополняют явление или предмет, если они рисуют его еще отчетливей, делают его еще более ясным, рельефным, чувствуемым.

Вот как начинается первая картина.

В кузнице найден цветок. Идет разговор:

«— Цветок.

— Цветок, говорю вам.

— Он пахнет?

— Он пахнет, как амбра благовонная, как *непонятный* фимиам». (Курсив мой.— *Д. Ф.*)

Именно «непонятный», скажем мы.

Или другой пример:

Девушка рыдает над умирающим:

...Поль, почему ты не доверил мне своей думы, мы могли бы вместе с тобой умереть, в одну могилу легли бы с тобой. Что я буду делать без тебя, мученик мой отверженный, подвижник мой *неведомый?*» (Курсив мой.— *Д. Ф.)*

Почему «неведомый»? Какое прояснение или усиление привносит это случайное, ненужное определение?

Дальше. Художественный образ вырисовывается, конечно, не в описании его, а в самостоятельном движении, не тогда, когда о нем говорят, а когда он сам говорит о себе *своими действиями.* Но не избежать, конечно, и приема описательного, только в описании этом необходимо сконденсировать все наиболее характерное и значительное.

А тут «Искандера» (действующее лицо) спрашивают:

«— А кто жена твоя? Она, может быть, студентка? Или образованная какая-нибудь?»

И он отвечает:

«— О нет! Она самая настоящая работница. На кружевной фабрике работает она. Это такая хорошая, славная молодка. Подруги душу готовы за нее отдать, так ее любят на фабрике. У нее теперь немного болят глаза, но это такой пустяк при нашей любви. Мы вылечим, вылечим их...»

Наивно, бедно и к тому же искусственно (но не искусно) подделано под настоящую и простую рабочую речь.

Дальше. Порывы, движения, каждое отдельное слово и выражение действующего лица являются лишь внешним проявлением того, что в данный момент занимает его мысль, волнует его чувства: они, следовательно, не случайны, а законны и логически неизбежны.

Необъяснимых движений и выражений нет. Здесь обстоит по-иному. Правда держит речь в кругу богачей:

«— ...Я требую... чтобы (вы) прекратили ваши праздные пиры, оделись в простые одежды трудового люда и шли работать в трудовых артелях.

На колени предо мною!» (Курсив мой.— *Д. Ф.*)

А через восемь строк:

«— Богатые! Я как острожница упаду перед вами на колени».

И это безо всякой надобности говорит все та же Правда.

(Кстати сказать, строк за 30—40 перед этою сценой она становится на колени перед рабочим, целует ему руки и говорит:

«— Благослови меня. Я Правда».)

Такие эффекты без внутреннего обоснования производят удручающее и одновременно курьезное впечатление.

Дальше. Когда свободно и правильно развивается действие — речи и слова действующих лиц рождаются сами собою, чувствуешь, что они законны, уместны и необходимы.

Когда же этой внутренней правды в действии нет — автору приходится *выдумывать* и подставлять

свои (чаще ненужные и искусственно вводимые) слова, совершенно нехарактерные для данного действующего лица, приложенные к нему как к корове седло...

Вот, например, происходит бой. Офицер приказывает канониру стрелять.

«Канонир. Я не буду стрелять больше, можете убить меня, если хотите.

Офицер. Я убью тебя, мерзавец.

Канонир. Бейте, мне жалеть нечего.

Офицер. Ты почему отказываешься?

Канонир. *Довольно слушали вас. У каждого солдата руки в крови из-за того только, чтобы кто-нибудь богател да царствовал. Довольно».* (Курсив мой.— *Д. Ф.)*

И этот разговор происходит во время жестокого боя?!

Не хватает только, чтобы канонир привел еще пару-другую цитат из Маркса для обоснования своего взгляда.

Здесь автор подставил вместо каких-то иных, канонировых слов — *свои,* и получилась грубая тенденциозность, антихудожественная несообразность.

Добавим еще, что в одной из картин на сцене катаются автомобили, трамваи, пролетки в рысаках — это, пожалуй, заставило бы перенести самое действие из театра на театральную площадь.

В другой картине «из пирога выпархивает Эмма и, протанцевав два тура, бросается на шею Премьеру» — смастерить этакий пирог по нашим временам тоже задача нелегкая.

Выражаясь мягко — произведение т. Васильченко требует серьезной переработки.

[*1922*]

«КРАСНАЯ НОВЬ», № 1 (5), 1922 г.

Хотя статьи публицистического и научного характера занимают в журнале около $^2/_3$ всего объема — центр тяжести не в них, центр тяжести в литературном и художественном материале. Чем далее, тем больше привыкаем мы смотреть на «Красную новь» как на журнал по преимуществу литературный: к этому особенно понуждает тщательный подбор именно *этого* материала, его разнообразие и стильность. Открывается номер четырехактною пьесою Вяч. Шишкова «Вихрь». Невозможно, немыслимо читать без захвата эту драматическую быль недавнего прошлого. Перед нами деревня. Из нее увели, угнали силой на войну самых лучших, здоровых работников-пахарей. Деревня сбилась с пути: одна половина высыхает в тоске и горе, другая — по наклонной плоскости мчится прямо в пропасть: кутит, развратничает, пьянствует, картежит,— словом, прожигает жизнь безо всякой жалости. Чувствует глухо деревня, что бойня идет не из-за нее и не за нее: тут запутаны чьи-то иные, чужие интересы. Но ей ли одной, косной деревне, все понять, самой подняться, самой отстоять свои права.

Она протестует, но глухо, она сознает, но слабо: ее в Октябрьские дни поведет за собою светлый и сознательный и решительный город... Возвращаются в деревню несчастные калеки — одного привезли совсем

как чурку: без ног и без рук, даже и жена отказалась принять его, такого-то... Другой, еще так недавно полный радужных надежд, оторванный в самом начале счастливой жизни,— возвращается в синих очках: слепой... Эти жертвы *чужой*, непонятной (пока еще) войны являются тем ферментом, на котором станет бродить потом прозревающая деревня...

Драма хороша: размерена, выдержана, образна по сюжету и стильна по языку, только кой-где, всего 2—3 раза сбивающемуся от простоты к декламации.

«Тиф» — рассказ Сергея Семенова. По нашему мнению, этот рассказ, подобно многим отличным художественным произведениям (и в первую очередь — произведениям Ф. М. Достоевского), выходит за пределы *только* художественного произведения: это мастерский, до последних граней детализованный анализ переживаний, настроений и вообще состояния человека, больного тифом. Шаг за шагом повествует автор, как приближалась страшная болезнь к комиссару Наумчику, «как она его все теснее захватывала в жаркие объятия, как он сопротивлялся, а потом... потом не стало больше сил, наступила тьма, потерялось сознание, температура чрезвычайная, бред, почти горячка»... Надо помнить, что перед нами не просто больной — перед нами революционер, военный комиссар полка, Наумчик: чуть затеплились силы — он уже рвется к делу, ему уже охота не на койке оставаться, а скорее на коня и в дело... Подъем и упадок сил здесь в значительной мере зависит от этих чисто революционных настроений больного. В целом очерк безусловно хорош как произведение художественное и как мастерский, детальный анализ. Укажем на отдельные промахи и недочеты.

«Даже юмористические элементы мышления не чужды ему (Наумчику)» — неловко характеризует автор своего героя, а в другом месте про него же:

«У Наумчика был хороший, правильно работающий аппарат мышления...»

Вот пример словесной тарабарщины: «Гигантские наступления, кошмарные отступления... Период ко-

лоссального напряжения революционной энергии, и кошмарные отступления сменяются еще более сверкающими наступлениями...»

К великому удовольствию, это *все* промахи, которые мы заметили и которые, как бельмо на прекрасном глазу,— пришились к рассказу.

Б. Пильняк поместил отрывки из романа «Голодный год». Первые два отрывка («Смерть старика Архипова» и «Кожаные куртки») написаны художественно, дают настроение, а вот что касается остальных — чрезвычайно трудно и понимать и, главным образом, связывать их один с другим — это же только *отрывки* одного и того же романа, а на самом деле они все вместе впечатление оставляют неопределенное и не дают никакого общего, цельного представления.

Мы уже привыкли от Всев. Иванова получать одну прекрасную вещь за другой: «Бронепоезд 14—69» — одно из его лучших творений. Этот бронепоезд у белых; его задача — курсировать на определенном участке, сокрушать красных партизан... Но пришло и ему время — партизаны осилили бронепоезд: обрызгали его своею кровью и мозгами, а все-таки взяли...

Эпизоды в повести неподражаемы, особенно один — с американцем, попавшим в руки партизан. Дело, казалось бы, конченное: с минуты на минуту ждешь, что толпа разорвет его в своем безудержном гневе... И вдруг, как светлый луч во тьму,— кидается мысль о том, что следовало бы отпустить его, только рассказать сначала, *«за что мы боремся»*. Но американец — ни в зуб толкнуть по-русски, а по-ихнему партизаны — тоже. Да, видно, дело не только в словах: американец понял все, что хотели сказать ему партизаны. Сцена великолепная. Повесть дает представление о целой полосе борьбы еще в то время, когда «остатки колчаковской армии отступали от Байкала в Маньчжурию, по Амуру — на Владивосток».

С примечаниями редакции помещена «Диктатура пролетариата» Бернарда Шоу, дающего довольно правильный анализ ее существа. Его ошибки и недомолвки, его несогласия совершенно правильно указаны в примечаниях редакции.

Тов. Покровский в статье «Наши спецы в их собственном изображении» разбирает статьи, помещенные в заграничном «Архиве Русской Революции» двумя бежавшими за границу спецами. Ничего особенно нового, разумеется, эти спецы сказать не могли ни про советскую власть, ни про себя. Советская власть для них — гнездо разбойников, а их собственный саботаж и подлая продажность, которою теперь они кичатся,— заслуга перед отечеством.

Тов. Покровский остроумно выводит негодяев на чистую воду и дает понять, кто они на самом деле.

Обстоятельна статья т. Когана, посвященная покойному В. Г. Короленко:

«Короленко был врагом революции, она была его другом»,— так начинает свою статью т. Коган и дальше развивает этот постулат на многочисленных примерах жизни, общественной борьбы Короленко, его публицистической и литературно-художественной деятельности.

В журнале ряд статей по экономическим вопросам (тт. Дволайцкого, Смирнова, Мещерякова, Месяцева). Тов. А. Воронский в статье «Из человеческих документов» передает содержание брошюрки эсера Семенова, разоблачающего деятельность партии социал-революционеров. Теперь мы с этим материалом уже подробно знакомы из периодической повседневной прессы.

Издан журнал неудовлетворительно: обложка груба, плоска, ничего не говорит ни уму ни сердцу. В колонцифр зачем-то поставлено всюду «Красная новь». К чему это? Уж ставить — так название данной статьи или не ставить ничего. Масса пропусков и неточностей с буквами, со знаками препинания: так на одной, хотя бы 9-й стр., пропущено 6—7 букв, 3—4 раза напутано со скобками — для одной страницы это многовато.

[*1922*]

Л. ПОЛЯРНЫЙ. «ПУТИ ПОБЕДЫ»

Харьков, 1922, 176 стр.

Перед нами героическая повесть о походе на Врангеля. Впереди — неприступные твердыни Перекопа, а в тылу рыщут жестокие, хищные шайки бандитов. Кругом фронты. Будь зорок, будь хладнокровен, будь мужествен, красноармеец! Малейшая слабость — и все погибло. Неудержимо стремится вперед стальная лавина красных полков. Отдыха здесь не знают и на короткие часы останавливаются лишь затем, чтобы резать колючую проволоку, наводить мосты, готовиться к новому бою... На плечах неприятеля врываются в окопы, проносятся через деревни, села, города — в пороховом чаду, в хаосе орудийного грома, по грудам исковерканных человеческих тел... Таковы пути победы.

Давая очерк этих славных походов, автор мало заботится о точном фиксировании дат и мест, его захватывают выдающиеся эпизоды, и на них он строит всю историю беспримерного похода. Нет и имен — имена слились в характерных типах: геройски павшего комполка, спокойного, мужественного командира батальона, в безымянных, обобщенных типах красноармейцев: Спичка, Петров, Сибиряк, Иголка... Они все здесь одинаковы — крошечные винтики гигантского механизма... Они все и каждую минуту готовы к смерти — и умирают просто, как подобает умирать борцам за коммунизм.

Вот, в глухую ночь, разведка — серьезная, опасная под самыми неприятельскими окопами...

— Кто охотники? Мне надо пятнадцать человек,— вызывает командир...

Живо набирается полсотни и разгорается перебранка: кому идти первому, кому умереть прежде других... Каждый рвется первым к смерти.

Вот пыхтит, ползет неприятельский броневик — и на него с ружейными залпами, с ручными гранатами бросаются красноармейцы, прорываются за полосу обстрела, виснут по холодным щупальцам чудовища, заскакивают внутрь, выволакивают оттуда обезумевших, перепуганных врагов...

Вот по гибкому, колыхающемуся мосту над черной пучиной тихо пробираются бойцы ко вражеским окопам... Хрустнули, не выдержали доски — и вся масса летит в зияющую бездну...

Гибнут в окопах, под пулеметами и шрапнелью, под огнем броневиков, аэропланов, гибнут на переправах...

А те, что остаются живы,— мерным, железным шагом идут все вперед и вперед, к последним перевалам... И вот пройден самый тяжелый путь, красные полки прорвались за неприступные твердыни Перекопа. Мечется по Крыму обезумевший неприятель, словно вихрем, несется к морю, спасается где и как может... Массами переходят на сторону красных белые солдаты, вырезая офицеров, грудами складывая их по мертвому пути панического отступления.

Красноармейцы выходят на берег моря.

Врангеля больше нет, армия его больше не существует.

На перекличках стоят с опущенными головами и слушают, как на один, другой, на третий выкрик не отзывается никто — они уж больше никогда не отзовутся, они остались на поле брани...

И клянутся красные бойцы, что погибнут все до единого, но не отдадут Советскую Республику — трагические, незабываемые, величественные минуты!

Так в целом ряде эпизодов автор развертывает общую картину борьбы со Врангелем. Красноармейский быт схвачен, безусловно, верно: артельность, спайка, грубоватая простота, спокойный подход к самому труд-

ному делу, солдатская юмористика, безобидная обидчивость, остроты, насмешки над тылами, штабами, гарцующими кавалеристами, быстрые перемены психологических состояний на отдыхе и неизменный, поражающий подъем в походе, в боях; изумляющая выносливость, необычайное терпение от голода, недостатка воды, усталости... Неприятно поражает местами встречающийся ходульный героизм, натянутые дифирамбы, напыщенные фразы:

— Ты што, братец, из добровольцев будешь? — спрашивают только что прибывшего в часть товарища.

— Да, доброволец,— отвечает он,— как же иначе. Рабочий должен защищать свои права и свою власть.

Или дальше:

— Здесь тебе должность можно дать нестроевую,— говорят ему.

— Нет,— отвечает старик,— я со штыком...

Эти места неестественны, нехороши — к чему они? Дела красноармейцев говорят сами за себя и без подобных словесных украшений и выпячивания себя на передний план.

Вообще автору удается редко подлинно художественный, естественный диалог. Зато описания — превосходны. Те места, где говорится о переправе белых и боях на берегу реки, о налетах во вражеские окопы, на броневики — эти места великолепны! Быт зарисован настолько полно и верно, что за бойцом-серошинельником не чувствуешь только автомата и воина, а постоянно видишь подлинно живого человека со всеми его слабостями, со всем величием высоких духовных качеств.

Мы имеем по врангелевскому фронту целый ряд и военных и бытовых очерков (Сборники Военно-научного общества, издания 30-й Иркутской дивизии, сборники к пятилетию Красной Армии и т. д.), но такой книжки еще не имели. Заслуга автора в том и состоит, что он полно, выпукло и верно, с достаточным художественным мастерством запечатлел один из героических походов Красной Армии, которым мы никогда не перестанем восхищаться.

23 июня 1923

И. А. ОНУФРИЕВ. «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ»

(Книга 1-я (1918)
Екатеринбург, 1922, 96 стр.

Тому, кто пишет воспоминания, следует из всего вспоминаемого отобрать самое ценное и важное, отбросить второстепенное, как бы навязчиво ни просилось оно на бумагу, как бы ни волновало тебя. Надо опасаться подходить к крупным событиям с мелким масштабом, приподымаясь на цыпочки, глядеть через плетень и воображать, что видишь целый мир. Следует опасаться и того, чтобы в центре излагаемых событий не выставить себя: смотрите, дескать, какой я молодец, каких геройских дел натворил! Онуфриев этим грешен насквозь: я, я, я... Я не хочу этим сказать, что «стыдно», «нехорошо» говорить о своих поступках. Но в этом деликатном вопросе очень много значит, *как* сказать.

Тов. Онуфриев описывает день за днем события около Екатеринбурга, происходившие в 1918 году: как создавались отряды, как формировались бригады, полки, дивизии, как бились они с чехами, офицерскими батальонами, восставшим кулачеством и т. д.,— словом, как проходили дни гражданской войны в определенное время, в определенном месте. И во всех тех пунктах, где он молчит о себе, чувствуется знание

событий, документальная их выверка, овладение цифровым и фактическим материалом — словом, рассказывает дельно и дело. А как только заведет повесть о своих «превосходных» планах (один свой план так-таки и рекомендует «превосходным», стр. 81), как только начнет восхищаться своим руководством атакой (стр. 37) или рассказывать, как «...вышел на линию огня в красной ситцевой рубахе, в широких плисовых шароварах, больших сапогах, с большой палкой в руках...» — то читателя терзает обида, что не только не сумел человек дельно сказать о серьезных делах, а, что называется, «весь коленкор испортил». Это — первый недостаток.

Второй недостаток — неравномерное распределение своего внимания между отдельными эпизодами. Принято думать, что наиболее крупным и важным эпизодам следует отдавать предпочтение перед эпизодами менее важными и крупными и что о первых всегда следует сказать больше, а о вторых меньше. А т. Онуфриев на протяжении длинного ряда страниц описывает свой единоличный легендарный поход по тылу белых,— поход, исполненный разных трюков (впрочем, вполне вероятных, имевших неоднократно место за время гражданской войны), а пермским боям, ходу их, развитию и анализу уделяет непростительно мало внимания. Повествует он нам о своей находчивости, самообладании, смелости и искренне полагает, что рассказывает самое важное. Так увлекаться нельзя. Всему должна быть мера. Даже «воспоминания» не дают права мимоходом пробегать большие события: над ними можно было больше подумать, проверить и т. д. и т. д., тем более что данная книжка обнаруживает и некоторую работу над «воспоминаниями», освежение их цифрами, фактами...

Не все плохо в книжке. Самая группировка фактов верна и очень полезна в виду того, что до т. Онуфриева никто еще не приводил ее по тому времени и месту так детально. Со стороны литературной и даже грамматической произведение не из сильных: сам автор пишет слабовато, а редактировалась книжка преступно не-

брежно. Встречаются такие милые обороты: «...село представляло из себя как бы крепость, окруженную, с одной стороны, глубоким валом» (м. б., глубоким рвом?). Или еще пример: «Отряды... делали всевозможные каверзы, причиняя им большой вред» (то есть каверзам?). Одним словом, небрежно. Про опечатки не остается и говорить: ими книжка испещрена не меньше, чем фамилией автора.

[*1923*]

Я. НИКУЛИХИН. «КАК И ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ»

(Очерки и воспоминания)

Изд. «Прибой», Ленинград, 1924, 216 стр.

Автор этой книжки с первых и до последних дней гражданской войны стоял под ружьем, прошел с Красной Армией героический, многострадальный путь; много видел, много испытал и всему тому, что здесь описывает, был непосредственным свидетелем, а во многих случаях и активнейшим участником. Поэтому материал свеж, чрезвычайно интересен, разнообразен. Здесь и красновский фронт, и движение зеленых весною 1918 года, и победоносное продвижение деникинских полчищ к Москве, и военные действия на далеком Кавказе, в Грузии, откуда столь быстро и позорно были изгнаны меньшевистские корольки. Тов. Никулихин излагает нам события не в строго логической их связи, он не заботится даже и о том, чтобы события соответствовали друг другу по масштабу своего исторического размаха. Наряду с каким-либо крупнейшей важности вопросом, положим, о тяжких опасностях для рабочего государства от быстрого продвижения Деникина, он тут же, рядом, может отвлекаться на описание мельчайшего, совершенно частного, совершенно неважного (в историческом смысле) факта, имеющего характер бытовой детали. Это обстоятельство производит некоторую путаницу в оценке и автором и читателем совершенно разноименных и разновеликих событий, зато

этот же прием оживляет в значительной степени весь материал.

Тов. Никулихин выехал на фронт в конце июля 1918 года. Выехал из красного Питера, из самого пролетарского сердца, и попал на красновский фронт — в среду мещанско-крестьянскую и казаческую, где пролетариата почти вовсе не было, где он мало давал себя чувствовать.

Но так определенны и ясны лозунги гражданской войны, так глубоки прорезаемые ею борозды, что и здесь, на первых же шагах, он столкнулся с поразительной картиной, которую так отлично описывает: «Особенно нас поразила картина гражданской войны, когда мы проезжали село Пески. Еще версты за две нам стали встречаться вооруженные винтовками группы крестьян, потом и настоящие цепи. Оказывается, невдалеке шел бой, мы слышали глухие отклики орудий. Крестьяне защищали полотно железной дороги и свое родное село от белых, ибо последние могли бы во время боя зайти в тыл передовым нашим частям. На самой станции вооруженных крестьян было несколько тысяч...» И дальше рассказывает, как это «войско» сопровождали семейства — жены, дети, невесты, матери, как оттаскивали иных домой, что это был за сырой материал и как, почему поднялось крестьянство против богатейшего, эксплуататорского казачества.

Этот факт сразу давал понять, что классовая борозда просекла не только город, но и деревню, он имел для 1918 года важность и убедительность необыкновенную.

В такой среде и обстановке развертываются события. Питерцы попадают в Борисоглебск, вполне естественно завоевывают здесь авторитет и становятся фактически во главе руководящих органов: так, с начала гражданской войны, куда бы ни попадали рабочие центральных промышленных губерний,— они повсюду начинали играть руководящую роль. И только диву, бывало, даешься, когда в глухой какой-нибудь полутатарской деревушке Уфимской губернии или в уральской станице вдруг встретишь председателем исполкома иваново-вознесенского, петроградского, московского

рабочего. Они выносили непосильную ношу. Отражали тягчайшие удары. И нисколько не сомневаешься в достоверности, когда автор рассказывает, положим, об отступлении героической горсточки Красной Армии из Борисоглебска, об отступлении кучек и одиночек, не поддавшихся ни на единый миг панике, с бою отдававших за пядью пядь. Или когда рассказывает о баснословном, но исторически вполне верном налете на город комиссара Переведенцева.

Эти картины незабываемы, произведенное ими впечатление неизгладимо.

Чрезвычайно ценны сообщения о дудаковском восстании и особенно о капитане Миронове и мироновщине вообще: корни этого движения и детали обстановки, в которой оно развернулось, не исследованы, и полезна каждая мелочь, сообщаемая автором.

Дальше он приводит, например, в разных местах белогвардейские документы,— хотя бы эту самую жалобу известного белогвардейца Май-Маевского Деникину на «недобросовестность» лиц, поставляющих им на железную дорогу скверный уголь. Тут особенно памятен ответ, полученный Май-Маевским: «Вешайте беспощадно. Деникин».

Или Мамонтов, известный белый налетчик бандитского толка, отдает на сходе мужикам приказ: «Вы, сукины дети, обязательно в 24 часа все верните бывшему барину и в три дня насадите новую аллею на место срубленного парка». Недаром Деникин, так победоносно продвигавшийся вначале, пока население путем его не раскусило и местами даже верило, ожидало от него каких-то облегчений,— недаром это же самое население начало вскоре поднимать в тылу у белого генерала массовые восстания, а дезертиры Красной Армии десятками тысяч стекались снова под красные знамена и — воодушевленные, горящие энтузиазмом — шли бить врага. Деникин кончил плохо.

Очень интересны данные о роли духовенства в белой армии. В начале гражданской войны было очень широко распространено ложное представление о том, будто духовенство, где бы оно ни было, на красной половине фронта или на белой,— совершенно нейтрально

и не принимает в гражданских битвах ровно никакого участия. Но мы знаем теперь бесчисленное количество фактов, когда попы не только «морально» поддерживали в действии белую армию, но временами и «фактически», с оружием в руках работали против красных.

Тов. Никулихин освещает, главным образом, яростную поповскую агитацию в рядах белой армии, злейшую и злостную клевету, самые мерзкие, беззастенчивые наветы.

От фронтов красновского и деникинского автор перебрасывается на Кавказ, где он с частями Красной Армии, после известного Лорийского восстания, идет в глубь Грузии, охраняя трудовое грузинское население, против которого тифлисские правители торопились высылать карательные отряды. И здесь — испытания, кровавые схватки. Но уже предопределен для Красной Армии победный исход: она восторженно встречается повсюду освобождаемыми из-под меньшевистского гнета трудовыми массами Грузии. Тифлис в руках красных. Книга кончается 1918 годом. Получается в целом яркая, колоритная, многообразная картина, целая эпопея гражданской войны. Меньше только следовало бранных эпитетов пришивать к белой армии. На место этих бранных слов полезнее поставить те, поистине мерзкие, ужасающие и возмущающие деяния, которые они творили и которые лучше всяких эпитетов и брани покажут существо белой армии, ее историческую роль и ее историческое место.

27 марта 1924

«НАШИ ДНИ». АЛЬМАНАХ, № 4

Госиздат, 1924, 354 стр.

Самой крупной по объему и самой значительной по содержанию в альманахе является повесть Вяч. Шишкова «Ватага», в которой дана страница гражданской войны. Но эта страница преподнесена в таком смердящем виде, что незнакомому с историей гражданских битв становится жутко и мерзко: неужели в самом деле такими Зыковыми, хотя бы и косвенно, хотя бы и случайно, хотя бы и редко творились объективно революционные дела? Зыков во главе сподвижников-головорезов проносится ураганом, и там, где он проходит,— смерть, запустение, окостеневший ужас, реки крови, насилия, разгул... Этот Зыков не просто бандит — он, видите ли, религиозный, к тому же фанатик, сжигающий и разрушающий церкви, а в то же время чувствует себя до поры до времени единомышленником большевиков и соучастником их в деле освобождения трудящихся масс из-под тяжкого ига капитала и эксплуатации. Это сближение Зыкова с пролетарскими бойцами поражает своей уродливостью и... смелостью утверждений. Опасность от «Ватаги» усугубляется тем, что написана повесть хорошо, читается с большим захватом.

Следующая повесть, «Рынок любви» (Никандрова), как и повести-рассказы других авторов (Ляшко, Огнев,

Бобров и др.), поражают своим несоответствием духу и интересам переживаемой эпохи. Они или туманно и надуманно касаются «наших» тем (Ляшко), или заурядно, с точки зрения технической, обрабатывают всякий хлам (Никандров) и совершенно ненужное отошедшее, обрабатывавшееся к тому же неоднократно и раньше (Бобров). Стихи слабы. В целом альманах — чужой.

2 апреля 1924

«НЕДРА», КН. 4

(Лит.-худ. сборник)
Мосполиграф, 1924, 296 стр.

Письма Тургенева, приведенные здесь, основную ценность представляют тем освещением и теми сообщениями, которые дает сам Тургенев о своих произведениях, вроде «Живых мощей», «Нови» и др. Небезынтересны и биографические подробности, открывающиеся в переписке его с близкими людьми.

Из материала художественного совсем слабы стихи. Второстепенного значения рассказы Булгакова и Сергеева-Ценского: не насыщены действием, легко и убедительно развивающимся, не переливаются свежим, самобытным настроением, читаются вяло, как среднего качества материал.

Центр сборника — десятилистовая повесть Серафимовича «Железный поток». Это произведение следует отнести к тем, которыми будет гордиться пролетарская литература. Технически здесь обнаружено большое мастерство и в использовании материала сказалось серьезное, большое умение.

Сюжетом повести послужил легендарный поход Таманской армии осенью 1918 года, под начальством Ковтюха («Кожух» по повести), по Черноморскому побережью, с Таманского полуострова — берегом, горами, через Туапсе, на Армавир.

Автор врезает в память эту героическую эпоху, особенно же тип самого Ковтюха — молчаливого, не тра-

тящего слов и делающего молча, со стальной решимостью свое почти непосильное дело. Армия спасена после тяжких испытаний — она соединилась со своими. Но пока она идет и страдает, с нею страдаете и вы.

Рассыпанные по повести эпизоды (с безногим на шоссе, с ребенком, погибшим от снаряда, с граммофоном и т. д.) чрезвычайно выигрышно впаяны в свое место, усугубляют то впечатление, которое дает автор изложением основного хода развертывающихся событий.

Язык повести, за немногими ляпсусами,— подлинный язык красных частей 18—19 годов. Ни в поступках, ни в диалогах нет фальши: автор чуток на малейшую неловкость. Внимание поглощается всецело: читается повесть как героическая эпопея. Изданную отдельной книжкой, ее надо широчайше распространить по Красной Армии.

[*1924*]

МАРИЯ БОРЕЦКАЯ. «В ЖЕЛЕЗНОМ КРУГЕ»

Изд. «Земля и фабрика», 1924, 112 стр.

Небольшой сборничек произведений Марии Борецкой включает четыре рассказа-очерка: «В железном круге», «Плавучий маяк», «Под свою команду» и «Среди скал».

Неисчерпаемые богатства материала из эпохи гражданских битв все еще ждут своих значительных художников, которые смогли бы с должным размахом и мастерством запечатлеть художественно эти великие годы.

Мария Борецкая не из тех, чьи рассказы глубоко врезаются в сознание и память читателя,— она слишком трафаретно, слишком обычно и вяло, без специфического колорита эпохи, без специфического стиля дает нам отдельные блестки богатейшего материала.

В самом деле, разве это не богатые и не выигрышные для художника темы: непримиримая классовая вражда между близкими недавно людьми; история расстрела группы революционеров и т. д. и т. д.

Все это художнику-мастеру — чистый клад, на этом материале можно широко развернуть сюжет, использовать всю гамму переживаний — редкостных и глубочайших.

А что мы видим здесь?

Совершенно беспомощное и ходульное описывание трагических моментов, как самых обыкновенных, тош-

но-заурядных. Беден язык, расплывчаты образы, скучны и вялы эпитеты, скудны попытки остроумия. Возьмем несколько случайных примеров:

«К массе напряженной, чисто деловой работы прибавлялась сложная работа чувств, доведших его нервную систему до чуткости светочувствительной пластинки».

«Два-три таких удачных заговора — и фронт останется без подкреплений и наемные рати англо-французского капитала хлынут дальше, восстанавливая буржуазный гнет».

«И вдруг он демонически рассмеялся» и т. д. и т. д.

Шаблон, трафарет, бледная скука. И за этой бледной, скучной словесностью вовсе пропадает богатое, интересное содержание.

Так обычно нельзя писать и тем более на живые, глубоко интересные, героические темы гражданской войны.

Общее впечатление остается от книжки как от слабой ученической первинки.

[*1925*]

ЖОРЖ ДЕЛАРМ. «2×2=5»

Изд. «Новый век», 1925

Жорж Деларм, короче говоря, русский наш писатель Ю. Слезкин, не плохо сработал эту острую сатиру на французскую «социалистическую» клику, в лице Эррио, пришедшую некогда к власти и недавно от власти отставленную. Быстро развертывающееся действие этой мастерской художественной сатиры переносит нас то в деловые министерские кабинеты, то в битком набитые зрительные залы, то в бальные комнаты какой-нибудь богатейшей вдовствующей барыни,— и везде чувствует себя автор уверенно, как свой человек: тип и формы этой жизни ему воистину понятны, знакомы, доступны. Зато с массою, с пролетариатом, с его борьбою, формами этой борьбы автор вовсе не знаком. Тут он кругом чужой, тут он слепой, мало что чувствует и понимает. Впрочем, за эти стороны жизни он как следует и не берется, он хорошо понимает, что стихия эта вовсе не поддается и не поддастся его художественному отображению: пробел тут неизбежен. И потому все блестящие сцены «высокого» общества, все эти проделки с акциями, балы, плутовство, разврат,— все это гнилое и подлое, так сказать, обреченное,— все оно, разумеется, притускло,— оно куда выиграло бы в рельефе, ежели была бы показана и другая сторона французского общества — его пролетариат и крестьянство, формы и эпизоды их освободительной борьбы.

Несмотря на этот изъян — читается вещь с интересом, так как уже и то, что здесь дано,— дело немалое и притом дано это немалое в мастерской художественной оправе.

16 января 1925

И. И. ВЛАСОВ. «ТКАЧ ФЕДОР АФАНАСЬЕВ»

(Материалы для биографии)

Изд. «Основа», Ив.-Вознесенск, 1925, 68 стр.

Тов. Власов чрезвычайно тщательно и добросовестно отнесся к своей работе и переворошил огромную массу материала, прежде чем зарисовать перед нами личность «Отца» — известного красного ткача Федора Афанасьева.

Отец принадлежал к тому же поколенью славных революционеров, что и Петр Алексеев, Степан Халтурин и др., он жил и работал еще в конце прошлого столетия, закончив работу эту и жизнь свою в 1905 году.

Отец не из «героев», не из тех вождей, что красочно и приметно выступают всегда впереди, он вовсе даже не колоритен, но именно такие, как он, выносили на себе всю тяжесть исторической борьбы рабочего класса; именно такие вот бездомные, вечные скитальцы — «отцы», как он, или как друг его «Странник» — недавно трагически погибший Семен Балашов,— они были этим вечным бродилом борьбы, неугомонными глашатаями, бившими тревогу в тревожные часы, принимавшими на себя непереносную тяжесть организационного бремени, шедшими молча и спокойно в опаснейшие минуты на опасные посты, отдававшими жизнь свою за рабочее дело. Небольшая книжка т. Власова превосходно, полным ростом показывает нам этого исключительного борца — Федора Афанасьева. Неизгладимо врезается в память и в сердце особенно эта последняя картина, когда на Талке-реке, в Иваново-Вознесенске, избила и убила Отца черная сотня, как хоронили рабочие труп дорогого товарища, как отрывали казаки этот труп, перебрасывали его в другое место: такого, как

Отец, даже и мертвого боялись! Образ Федора Афанасьева до сих пор жив в памяти иваново-вознесенских рабочих, а может, и питерских и московских. В Иванове до сих пор с глубокой любовью чтут и хранят эту память и ходят рабочие на то место, на берег Талки, где в 1905 году трагически погиб Афанасьев — Отец.

Книжка т. Власова не захватывает во всю широту борьбу рабочего класса того времени — она только фиксирует внимание наше на личности Отца, но уже и в такой форме работа эта производит впечатление серьезного и в высокой степени добросовестно исполненного труда.

8 мая 1925

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ. «НЕДЕЛЯ»

Изд. «Труд и книга», 1925, 112 стр.

Повесть Либединского о недавних днях, о глухом городке, где горсть коммунистов да рабочие-железнодорожники, окруженные бушующей стихией умученного крестьянства, шайками бандитов, настороженным злобно городским мещанством, борется за выход из тяжкого положения: за подвоз топлива, за подвоз вовремя семян, за своевременные посевы, предотвращение голодного года. Борьба проходит в исключительно трудных условиях, силы напрягать приходится до последней струнки, выход как будто и нащупан, но... ударило восстание, и лучшие из борцов падают жертвами бандитского налета, жертвами восставшего города. Автор превосходно зарисовал нам отдельные типы (Робейко, Климин, Караулов, Матусенко), автор умело дал картины борьбы за выход из положения, расцветил всю повесть прекрасными описаниями, массою простых, высокохудожественных образов и сравнений, но наряду с этим осталось до обиды много в повести сырых, неотработанных мест, где чувствуется небрежность, поспешность, неумелая, неловкая вычурность оборотов и приемов. Эти пробелы временами способны парализовать свежесть и значительность впечатления от основного, легко развертывающегося действия. Затем остается неудовлетворенность от обособленной постановки самого сюжета:

действуют только вот эти Робейки, Мартыновы и другие *отдельные лица,* а массы нет, вы ее не видите, не чувствуете нигде, ни единого разу: нет массы городского мещанства, затаившего свою злобу и гнев, тут аптекаря мало; нет партийной массы (пусть немногочисленной),— нет самой толщи, ядра, а показаны лишь «вожаки», головка; нет массы бандитской, нет крестьянства, нет железнодорожных рабочих, а есть лишь упоминание о них. Это дефекты колоссальные: показ массы, толщи, основы придал бы повести характер значительного, крупного, научно верного произведения, а в таком виде «Неделя», хотя вещь и прекрасная, но однобокая и как бы наспех рожденная. Впечатления от отдельных картин неизгладимо глубоки и свежи, но в целом остается осадок неудовлетворенности от неуменья захватить глубочайшие пласты, подпочвенный слой той массы, которая в конечном итоге и является основным двигателем исторических событий.

11 мая 1925

ПРИМЕЧАНИЯ

Из литературного наследия писателя для настоящего тома отобраны наиболее значительные в идейно-художественном отношении повести, рассказы и очерки. В том вошли и работы литературно-критического характера. Многие из них продолжительное время не переиздавались, а некоторые публикуются впервые.

Произведения в томе расположены по времени их написания, в хронологическом порядке. Отступление допущено только в отношении близких по тематике очерков «Талка» и «Как убили Отца» — чтобы сохранить последовательность описываемых в них событий. В тех случаях, когда в рукописи дата автором не проставлена, год написания устанавливается нами и заключается в прямые скобки. Все тексты сверены с автографами.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

По своей тематике, идейной направленности большинство напечатанных здесь литературно-художественных произведений Фурманова как бы дополняют картину гражданской войны, талантливо нарисованную в широко известных книгах «Чапаев» и «Мятеж».

Если очерки «На Черном Ереке» и «По каменному грунту» представляют собой лишь интересные зарисовки отдельных боевых эпизодов, то в повестях «Красный десант» и «В восемнадцатом году» отчетливо проявляются некоторые существенные особенности творчества писателя: внимание к рядовым бойцам революции, изображение народного героизма, руководящей роли Коммунистической партии. Следует отметить, что действие во всех названных выше произведениях, как и в очерке «Епифан Ковтюх»,

развертывается на Кубани, где гражданская война протекала долго и в острых формах. В задуманной, но неосуществленной писателем «Эпопее гражданской войны» событиям на Кубани отводилось большое место.

Очерки о Ковтюхе, Фрунзе, Марусе Рябининой и рассказ «Летчик Тихон Жаров» рисуют яркие образы борцов революции, увековечивают их героические подвиги. Они свидетельствуют о пристальном внимании автора к проблеме положительного героя — ведущей проблеме советской литературы, в разработке которой Фурманову принадлежит роль одного из первооткрывателей.

Большинство произведений писателя о гражданской войне написано по личным впечатлениям участника и свидетеля изображаемых событий. В историко-революционных очерках «На подступах Октября», «Незабываемые дни» и в особенности «Талка», «Как убили Отца» он опирается также на исторические материалы и воспоминания других лиц. В ряде произведений Фурманов писал о явлениях текущей жизни, на тему современности в прямом смысле этого слова. Из включенных в настоящий том ей посвящены рассказ «Шакир» и цикл очерков «Морские берега», в которых изображаются первые успехи в строительстве социализма, изменения в быту, рост социалистического сознания народа.

Отличаясь ясностью идейно-творческих позиций, повести, рассказы и очерки Фурманова дают вместе с тем представление о богатстве и разнообразии его таланта. По ним можно также судить о напряженной работе писателя над языком, над расширением изобразительных средств, о стремлении его к выработке образной, емкой и в то же время точной поэтической речи. Важно подчеркнуть, что его стилистические искания шли в рамках реалистической манеры письма и противостояли всякого рода формалистическим и натуралистическим «новациям» в литературе 20-х годов.

На Черном Ереке.— В рукописи проставлены место и дата написания: «Станица Славянская, 7 сентября 1920 г.».

При жизни автора произведение не публиковалось. Впервые напечатано в IV томе собрания сочинений (Госиздат, М.— Л. 1927).

Очерк создан на Кубани, в боевой обстановке, по горячим следам событий, участником которых был сам автор. По содержанию является как бы продолжением «Красного десанта», хотя написан годом раньше и отличается по жанру. В очерке упоми-

наются «кочубеевцы» — бойцы из красноармейско-казачьей части, которой командовал герой гражданской войны Иван Кочубей, впоследствии изображенный в одноименном романе А. Первенцева.

Текст воспроизводится по автографу.

По каменному грунту.— Написано 25 марта 1921 года. Опубликовано в том же году в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» (№ 223, 13 октября) под псевдонимом «Най».

Посвящено историческому переходу Таманской Красной Армии, осуществленному летом 1918 года.

Интересно отметить, что в небольшом очерке Фурманов развивает ту же тему, что и Серафимович в «Железном потоке» (1924); некоторые эпизоды в них по материалу близки между собой.

Печатается по тексту газеты «Рабочий край».

Красный десант.— Первая редакция рукописи датирована 21 октября 1921 г.; вторая помечена: «Москва, 14 ноября 1921 г.». Впервые полностью опубликована в историческом журнале «Пролетарская революция» (1922, № 9). До этого в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» была напечатана первая глава произведения (1922, № 89—90, 22—23 апреля). В 1923 году повесть напечатана в № 1—2 журнала «Ткач» (Иваново-Вознесенск) и вышла отдельным изданием в издательстве «Красная новь».

В основу книги лег подлинный эпизод гражданской войны — операция по разгрому врангелевского десанта на Кубани, продолжавшаяся с 28 августа по 5 сентября 1920 г. Операцией руководили Е. Ковтюх (командир) и Д. Фурманов (комиссар). За блестящее выполнение задания оба награждены орденами Красного Знамени.

Вскоре после разгрома вражеского десанта Фурманов написал статью «Бой с бандой генерала Улагая», которая была опубликована в краснодарской газете «Красное знамя» (1920, № 116, 8 сентября), и статью-очерк «В тылу у белых», напечатанную одновременно, 24 октября 1920 года, двумя газетами — «Известиями» в Москве и «Рабочим краем» в Иваново-Вознесенске.

Спустя год Фурманов снова вернулся к этому героическому эпизоду гражданской войны, но на этот раз он поставил перед собой задачу рассказать о нем в художественной форме. В дневниковой записи, относящейся ко времени работы над «Красным десантом», писатель отмечал: «От публицистических статей поотстал... внимание свое начал сосредоточивать на художественном

творчестве»[1]. И далее указывал на трудности, связанные с переходом от статей и очерков к повестям. Таким образом, «Красный десант» — одно из первых произведений советской литературы о гражданской войне — знаменовал собой начало нового этапа в творчестве Фурманова, явился своего рода подступом к созданию «Чапаева».

В тексте повести, осуществленной в иваново-вознесенской печати, есть два абзаца, не вошедшие в публикацию журнала «Пролетарская революция» и затем в окончательный текст. В них Фурманов говорит о своих творческих установках в «Красном десанте»:

«Теперь, в воспоминании, этот редкий в военной истории пример речного рейда (по характеристике Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии) кажется мне каким-то полуфантастическим событием. Взявшись описать его в художественной форме, я оставляю в то же время самую канву событий, их последовательное развитие, даже их детали нетронутыми, передаю настоящую действительность. Да и нужды нет что-либо добавлять и придумывать: в истории гражданской войны бывали такие «чудеса», что, кроме участников, их все принимают за сказку.

Одним из таких «чудес» я считаю и нашу удачную прогулку по неприятельскому тылу»[2].

Оставаясь верным «самой канве событий», Фурманов в то же время много и тщательно работал над произведением, стремился сделать его подлинно художественным, насыщенным яркими образами и картинами. Этим целям служили введение массовых сцен, индивидуализация отдельных персонажей, широкое использование портретных характеристик, описания обстановки и батальных эпизодов, внимательная работа над словом; над языковой тканью повести.

«Красный десант» свидетельствовал о несомненном творческом успехе Фурманова и был весьма положительно оценен рядом критиков и писателей. «Книжка Фурманова яркая, как подвиг, раскаленная, как ствол пулемета в бою»,— писал Л. Митницкий в «Правде» (1923, № 153, 11 июля). «Здесь, собственно, и начинается Фурманов»,— указывал И. Машбиц-Веров («Известия», 1925, № 195, 28 августа). Поэт С. Городецкий вспо-

---

[1] Дм. Фурманов, Из дневника писателя, «Молодая гвардия», М. 1934, стр. 14.

[2] «Рабочий край», 1922, № 89, 22 апреля; «Ткач», 1923, № 1, стр. 90.

минал: «Первая же книжка Фурманова — «Красный десант» — поразила подлинностью, нужностью, новой своей красотой. Я тогда же писал о ней как о явлении, которое кладет начало подлинно пролетарской литературе» (журн. «Искусство — трудящимся», 1926, № 12, стр. 3). Особый интерес представляет отзыв старейшего пролетарского писателя А. Серафимовича в статье «Умер художник революции»: «Когда я прочитал... «Красный десант», передо мной вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в черноте баржами,— люди плыли на заведомую гибель в самую глубь, в самый тыл врагов,— пощады не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это ж художник!» («Правда», 1926, № 62, 17 марта).

Повесть печатается по второму изданию Госиздата (1925), в текст которого вошла последняя стилистическая правка автора.

Шакир.— Написано в Москве 10 марта 1922 года под живым впечатлением от встречи с безработным татарином Шакиром. В рукописи подпись: «Най». При жизни писателя не печаталось. Впервые опубликовано в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 12 (декабрь).

В рассказе интересно намечена тема Ленин и народ — одна из центральных тем советской литературы. «Ильич — самый любимый, самый нужный человечеству» [1],— писал о Ленине Фурманов в своем дневнике.

Печатается по автографу.

На подступах Октября.— В рукописи указаны место и дата написания: «Москва, 25 марта 1922 года». Впервые было напечатано с подзаголовком: «Первое мая 1917 года в Иваново-Вознесенске» в журнале «Красноармеец», в мае 1922 года, № 47.

При создании произведения Фурманов пользовался материалами своего дневника за 1917 год. Однако дневник был лишь отправным моментом в работе. В очерке немало таких деталей и фактов, которых в дневнике нет: введены конкретные персонажи (Павел, Катерина и др.), бóльшую роль играет образ рассказчика. Некоторые факты, нашедшие отражение в дневниковых записях, опущены. Например, в очерке ничего не говорится о колебаниях, «горе и опасении» рабочих, которые были вызваны случаями бандитизма и преднамеренных убийств, организован-

---

[1] Архив Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР (ИМЛИ), II-62, 1190.

ных накануне праздника местной буржуазией с целью запугать народ. Фурманов стремился передать в своем произведении целеустремленность революционной борьбы, боевое, решительное настроение рабочих, в Мае готовившихся к Октябрю. Этим в первую очередь определялся отбор материала для очерка.

Текст дается по журналу «Красноармеец» с исправлением по автографу некоторых искажений слов и опечаток.

Незабываемые дни.— Написано 11 сентября 1922 года. Седьмого ноября 1922 года в юбилейном номере иваново-вознесенской газеты «Рабочий край» (№ 253) была опубликована часть очерка с подзаголовком: «Отрывок из статьи для Октябрьского сборника». Полностью было напечатано в журнале «Пролетарская революция», 1922, № 10, с подзаголовком: «Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске». В том же году было опубликовано с некоторыми сокращениями в журнале «Красноармеец» (№ 49, октябрь — ноябрь) под названием: «Октябрь в Иваново-Вознесенске (Из воспоминаний «Незабываемые дни»)».

Написано по личным воспоминаниям Д. А. Фурманова, принимавшего активное участие в политической жизни города в момент Октябрьского переворота. Творческий процесс работы над очерком в общем выглядит так же, как и в предыдущем произведении, тесно с ним связанным. Пользуясь записями своего дневника, Фурманов вместе с тем подробно останавливается на том, о чем в дневнике сказано весьма лаконично,— на изображении главных сил революции в Иванове: фабричных рабочих, солдат и железнодорожников — и отказывается от случайных, иногда и очень колоритно описанных в дневнике сцен и эпизодов.

В небольшом по объему произведении автор добивается значительных идейно-художественных обобщений. Чрезвычайно характерен в этом плане отзыв современницы Фурманова, близкого ему человека М. М. Хазовой. Прочтя в журнале «Пролетарская революция» «Незабываемые дни», она в письме к автору делится своими впечатлениями от очерка и верно подмечает особенности дарования писателя: «Вы так умело выбираете из многого немногое, что чувствуется самая суть. Даже в таких реалистических рамках, как описание недавнего факта, Вы — художник, мыслящий образами и провидящий глубокие настроения там, где для других — только происшествия» [1].

Текст дается по журналу «Пролетарская революция».

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 2794.

Летчик Тихон Жаров.— В рукописи дата: «17 мая 1923 года». Написано для номера журнала «Красноармеец», посвященного Воздушному флоту, но, по неизвестным причинам, не было там напечатано. Впервые опубликовано после смерти автора в журнале «Октябрь», 1926, № 7—8, июль — август.

В дневнике Фурманова есть запись от 18 мая 1923 года под названием «Как построен «Летчик Тихон Жаров», из которой видно, как автор работал над произведением, стремясь к максимальной правдивости и достоверности изображения. Основанием для рассказа послужила дневниковая заметка писателя о гибели летчика, свидетелем коротой он был. Поработав над рассказом, Фурманов пришел к выводу, что «та, старая, заметка слаба» как материал для него. «Пришлось взять «5 лет Кр[асной] Армии» (сб. ВАК)), книжку «Стальные птицы» и еще сб. 1921 г. «Кр[асный] в[оин]» — там всюду имеется или научный материал, или воспоминания самих пилотов, или описание эпизодов гибели. Скомпоновал. Взял оттуда технические термины... Системы аппаратов выбросил — как бы чего не напутать... Словом, максимум осторожности» [1].

Рассказ печатается по автографу.

Епифан Ковтюх.— В рукописи дата: «Москва, 5 июня 1923 года». Впервые опубликовано в журнале «Красноармеец» (1923, № 54, август).

Работа над произведением протекала в период, когда Фурманов предполагал создать книгу «Таманцы» и усиленно собирал материал для нее. Изображенный в очерке легендарный полководец гражданской войны Епифан Иович Ковтюх (1890—1943); послужил позднее прототипом главного героя в широко известной эпопее А. С. Серафимовича «Железный поток».

Материалом для очерка явились личные впечатления и беседы с Ковтюхом, с которым Фурманов был в близких отношениях, рассказы о нем, слышанные в разное время, а также литература о Таманском походе.

Текст дается по журналу «Красноармеец» с некоторыми исправлениями по автографу.

В восемнадцатом году.— Работать над повестью писатель начал в мае 1923 года, то есть через четыре месяца после окончания «Чапаева». Впервые была опубликована в конце 1923 года в Краснодаре издательством «Буревестник». О процессе работы

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 1576.

над повестью Фурманов рассказывает в дневниковой записи от 15 мая 1923 года, озаглавленной «Шестьдесят и цветы». Сначала он хотел написать очерк из времен гражданской войны, основой которого являлся услышанный им рассказ о том, как белогвардейский генерал Покровский в одной из кубанских станиц выпорол учительницу. Однако в творческом процессе первоначальный замысел произведения видоизменялся, а затем был отброшен совсем. Вместо очерка Фурманов написал повесть совершенно на другую тему. «И как это вышло,— признается он,— не знаю, не пойму сам: учительница должна была прийти в семью Кудрявцевых. Это требовалось ходом развития очерка по первоначальному моему замыслу. А в семье Кудрявцевых есть Надя, дочка, девушка... И вдруг она превращается, эта Надя, в героиню повести, а около нее группируется молодежь: тут и гимназисты, тут и подпольный работник, а от этого подпольного работника... пришлось перейти к самой подпольной работе на Кубани. Пришлось целую главу посвятить тому, чтобы изобразить подпольщиков, их работу... И повесть развернулась совершенно неожиданно, захватив такие области, о которых первоначально и помыслов не было никаких» [1]. Рассказывая о работе над повестью, Фурманов приоткрывает свою творческую лабораторию и подчеркивает мысль, что «не всегда автор владеет материалом» и что бывают такие моменты, когда «сам материал захватывает мощною стихией и увлекает автора, как щепку, в неизвестную даль» [2].

В архиве Фурманова сохранился план одного из ранних вариантов повести, по которому учительница еще действует наравне с Надей как героиня повести [3]. В дальнейшем от сюжетной линии, связанной с учительницей, писатель отказывается. На первый план выдвигается судьба Нади Кудрявцевой, и основным содержанием повести становится, как определил сам Фурманов, «история перерождения девушки из обывательницы в революционерку» [4].

В отличие от большинства других произведений Фурманова в повести «В восемнадцатом году» изображаются вымышленные

---

[1] Дм. Фурманов, Из дневника писателя, «Молодая гвардия», М. 1934, стр. 27.

[2] Там же, стр. 26.

[3] Архив ИМЛИ, II-62, 16.

[4] Из письма Фурманова в издательство «Буревестник». Цитируется по кн.: Е. Наумов, Д. А. Фурманов, изд. 2-е, испр., Гослитиздат, М. 1954, стр. 51.

герои. Несомненное значение для работы над повестью имело пребывание Фурманова на Кубани в 1920—1921 годах. О классовой борьбе на Кубани, о зверствах белого генерала Покровского, о борьбе за Краснодар в феврале — марте 1918 года, когда развертывается действие повести, писатель хорошо знал и по рассказам своей жены Анны Никитичны, которая участвовала в освобождении Краснодара от войск белогвардейцев и кубанской рады, а ее семья стала жертвой белогвардейских репрессий (отец был расстрелян, шестнадцатилетний брат арестован).

Первый вариант повести «В восемнадцатом году» датирован писателем 2 сентября 1923 г. Он не удовлетворил Фурманова: «Очень торопился... Конец скомкал. Ная (Анна Никитична Фурманова.— *П. К.*) устыдила, что плох, советовала переделать. Указывала между прочим, что «обыск сделан по-меньшевистски — очень уж сыщики вежливы,— так на Кубани не бывало». Засел — весь день сегодня писал. С «Обыска» — все заново, кроме начала последней главы... В конце как писал — слеза была, ей-ей. Как запели «Инт[ернациона]л» — очень себе ясно представил, как поют его узники. Это момент!» [1]

В новом варианте, помеченном 12 сентября 1923 г., повесть значительно изменилась и увеличилась в объеме. Фурмановым было заново написано 42 страницы текста. Общий характер переработки повести отражает следующий план, набросанный Фурмановым: «1. В обыске — грубее. 2. В ночь ухода белых — картина зверств. 3. Охрана рабочих ночью. 4. «Развязка» — ярче, распространеннее» [2].

В 1925 году, готовя повесть для нового издания, Фурманов подверг ее весьма основательной правке. В Центральном Государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) и в архиве ИМЛИ хранится по экземпляру повести «В восемнадцатом году» в издании «Буревестника», в которые рукой автора внесены идентичные изменения. Эти изменения настолько значительны, что дают основание говорить о новой редакции повести.

Большая переработка произведена в начале повести. Первая часть главы «Город» Фурмановым написана заново: он более четко и ярко обрисовал жизнь рабочего квартала Дубинки и центральной части города, населенной буржуазией; ввел документальный материал (тексты большевистской листовки и статьи из

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 17.
[2] Там же, II-62, 18.

белогвардейской газеты); сильнее развил мотив о грядущем и неизбежном обновлении жизни. В последующих главах снят налет «красивости» в характеристике Виктора Климова, уточнено психологическое состояние Нади во время обыска и в тюрьме. Много поправок разного рода внесено в главу «Обыск» и особенно в главу «Развязка».

Фурманов убирал повторения, лишние слова, устранял натуралистические описания и сравнения. Он стремился сделать более выразительным язык произведения, чему не в малой степени способствовало введение эпитетов и метафор. В диалогах Фурманов максимально приближал речь своих героев по синтаксису и интонации к разговорной.

Вновь переработанный вариант повести «В восемнадцатом году» вышел в 1925 г. дважды: отдельным изданием в московском издательстве «Долой неграмотность» и в сборнике «Путь борьбы» (изд-во «Новая Москва»).

При жизни Фурманова повесть получила противоречивую оценку. Вымышленные герои, установка на психологическое их раскрытие, изображение мещанско-интеллигентской среды в революции — все это воспринималось некоторыми критиками как нечто мало интересное, как отход от основной линии творчества, выразившейся в «Красном десанте» и «Чапаеве». В этом смысле показателен отзыв о повести И. Машбица-Верова («Известия», 1925, № 195, 28 августа). Иначе оценено произведение в рецензии Ст. Кривцова, опубликованной 5 апреля 1924 года в «Правде» (№ 78). Рецензент приветствовал тему книги, увидел в ней ценный воспитательный материал, особенно для молодежи, считал повесть написанной «живо» и «с большим подъемом».

Печатается по отдельному изданию 1925 года (изд-во «Долой неграмотность»).

Морские берега.— Написано в 1925 году. За исключением «Мацесты», все очерки имеют авторскую датировку: «Отдых» — 16 августа 1925 г., «Адлер» — 3 сентября 1925 г., «Гагры» — 6 сентября 1925 г., «Батум» — 18 сентября 1925 г., «Новый Афон» — 21 сентября 1925 г. Некоторые из них вскоре после написания публиковались в газете «Известия»: «На отдых (Путевые наброски). 1. В вагоне» — 1925, № 191, 23 августа; «На отдых (Путевые наброски). 2. Через Украину, Дон и Кубань» — 1925, № 195, 28 августа; «Мацеста» — 1925, № 214, 19 сентября; «Адлер» — 1925, № 234, 13 октября. В том же году в № 10 журнала «Октябрь» напечатан очерк «Новый Афон». Полностью цикл очер-

ков, переработанный и подготовленный автором (в частности, им были изменены названия и содержание некоторых из них), был опубликован издательством «Молодая гвардия» в 1926 году.

Очерки созданы после пребывания Фурманова на юге, на Кавказском побережье, летом 1925 года (июнь — июль). Как всегда, писатель не расставался с дневником и заносил в него свои свежие впечатления. Работая над очерками, Фурманов делает основательный отбор фактов, чтобы выявить наиболее существенное в изображаемых явлениях. На первый план он выдвигает приметы нового, людей труда. Очерки Фурманов обрабатывал особенно старательно, неоднократно их исправлял. «Я на этих очерках пробовал себя,— заявляет писатель.— И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос» [1].

А. М. Горький, прочитав книгу «Морские берега», присланную ему в Сорренто А. Н. Фурмановой, дал очеркам высокую оценку.

«Сердечно благодарю Вас за присланную книжку,— писал он жене писателя 23 апреля 1926 года.— Она заметно отличается от первых книг Вашего друга и мужа; отличается и простотою фразы, и экономией слов, и точным знанием границ того, что автор хочет рассказать читателю» [2].

Печатается по тексту издания «Молодая гвардия» (1926).

Фрунзе.— Написано в связи со смертью выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе (1885—1925). Состоит из восьми глав: «Первая встреча», «Весть об его смерти», «Как собирался отряд» (все три главы в рукописи датированы 2 ноября 1925 г.), «Последний вечер» (в рукописи дата: «5 ноября 1925 г.»), «Встреча в Уральске» (даты нет), «Примиритель» (авторская дата: «июль 1919 г.», эта глава представляет собой запись из дневника 1919 г.), «Десять минут» (в рукописи дата: «Москва, 5 ноября 1925 г.»), «Фрунзе под Уфой» (в рукописи дата: «Москва, 4 ноября 1925 г.»).

Каждая глава, за исключением седьмой, при жизни писателя публиковалась отдельно в различных органах печати: «Примиритель (Памяти М. В. Фрунзе)» — в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» 31 октября 1925 г.; «Первая встреча (Памяти М. В. Фрунзе)» — в газете «Правда» 5 ноября 1925 г.;

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 1581.

[2] М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 29, Гослитиздат, М. 1955, стр. 463.

«Встреча с тов. М. В. Фрунзе в Уральске» — в газете «Красная звезда» 5 ноября 1925 г.; «Тов. Фрунзе под Уфой (Воспоминания)» — в газете «Правда» 13 ноября 1925 г.; «Весть о его смерти (Памяти тов. Фрунзе)» — в журнале «Комсомолия» (1925, № 8, ноябрь); «Иваново-Вознесенский полк (Памяти тов. Фрунзе)» — в журнале «Красноармеец» (1925, № 79, ноябрь); «Как собирался отряд» — в журнале «Красноармеец» (1925, № 10, декабрь). Весь цикл под названием «Фрунзе» с некоторым изменением текста и названий глав, в установленной автором последовательности, появился в журнале «Красная новь» (1925, № 10, декабрь). В этот цикл вошла и глава «Десять минут», отдельно не печатавшаяся.

Очерк «Фрунзе» написан по воспоминаниям и личным впечатлениям автора, которому приходилось работать под идейным и военным руководством Фрунзе.

С первых дней близкого знакомства писатель проникся к нему глубокой симпатией и любовью. Тогда же, в дневнике, он сделал первые попытки зарисовать образ Фрунзе, показывая его за председательским столом на заседании Иваново-Вознесенского губисполкома. Свою запись он заканчивает следующими словами: «Когда Фрунзе за председательским столом — значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее» [1].

Имя Фрунзе затем не однажды упоминается на страницах фурмановских дневников, очерков и корреспонденций периода гражданской войны. Относительно развернуто его образ дан в книге «Чапаев». Это было первое изображение замечательного полководца в художественной литературе. Среди неопубликованных вариантов к «Чапаеву» в архиве писателя есть интересный набросок о Фрунзе, названный «Миша» [2].

Он задумывал создать большую книгу о Фрунзе, собирал материал для нее, однако успел написать лишь цикл из восьми небольших произведений, составивших очерк «Фрунзе», который и до сих пор остается одним из лучших произведений советской литературы об этом выдающемся полководце и большевике-ленинце.

В настоящем издании воспроизводится текст журнала «Красная новь».

---

[1] Д м. Ф у р м а н о в, Собр. соч., т. V, Госиздат, М.— Л. 1928, стр. 173. (Запись от 23 февраля 1918 г.)

[2] Приведен в кн.: А. И с б а х, Лицом к огню, «Сов. писатель», М. 1958, стр. 71.

Маруся Рябинина.— В рукописи дата: «Москва, 12 ноября 1925 года». Впервые, с некоторыми сокращениями, опубликовано 7 марта 1926 года в газете «Правда» на специальной полосе, озаглавленной: «Международный день работницы и крестьянки».

Эпизодически образ Маруси Рябининой, отважного бойца иваново-вознесенского рабочего отряда, дан в десятой главе «Чапаева». В 1925 году, воскрешая подвиги своих боевых соратников, Фурманов вновь вернулся к этому светлому образу и краткую запись, сделанную в «Чапаеве», развернул теперь в очерк о жизни и героической гибели мужественной девушки-пролетарки.

Печатается по автографу.

Талка.— В рукописи дата: «18 декабря 1925 года». Впервые опубликовано в журнале «Октябрь» (1926, № 1, январь).

Написано в связи с 20-летием первой русской революции и посвящено одному из самых крупных ее событий — летней стачке иваново-вознесенских рабочих. Стачка эта длилась 72 дня, в ней участвовало около 70 000 рабочих. Уже в начале стачки был создан Совет уполномоченных, который явился одним из первых Советов рабочих депутатов в России. Митинги и собрания в окрестностях города, на берегу реки Талки, проводимые Советом, превратились в своеобразный университет, где рабочих политически просвещали и воспитывали большевики. В. И. Ленин говорил по поводу событий в Иванове: «Иваново-вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих» [1].

Большие события, так или иначе захватившие и потрясшие весь город, не могли пройти мимо внимания 13-летнего подростка Фурманова. В дневниковой записи от 9 марта 1917 года [2] писатель вспоминает, что в 1905 году он «заслушивался» речами на митингах. Личные впечатления и воспоминания, несомненно, играли свою роль при написании «Талки» (а также и очерка «Как убили Отца»). Однако многого Фурманов в 1905 году не знал и не видел. Для творческого метода его как писателя чрезвычайно характерна ориентация на документы, на проверенные факты. В основу его историко-революционных очерков легли прежде все-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 9, стр. 308.

[2] Дм. Фурманов, Собр. соч., т. V, Госиздат, М.— Л. 1928, стр. 22.

го работы и воспоминания исторического характера и рассказы участников описываемых событий.

Собирать материал к очеркам о 1905 годе в Иваново-Вознесенске Фурманов начал еще в 1922 году. В мае он приезжал в Иваново и встречался с пролетарским поэтом А. Е. Ноздриным, председателем Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов 1905 года. Он специально ходил с ним на Талку, выслушивал и записывал пояснения [1]. Как свидетельствуют архивные и другие материалы, Фурманову была хорошо известна литература о революционном движении в Иваново-Вознесенске в 1905 году: книги В. Смирнова-Малкова «На заре рабочего движения в Иваново-Вознесенске» (Владимир, 1921), И. Власова «Ткач Федор Афанасьев» (Иваново-Вознесенск, 1925), Ф. Н. Самойлова «Воспоминания об иваново-вознесенском рабочем движении 1903—1905 гг.» (Госиздат, М. 1924) и другие работы.

Печатается по тексту журнала «Октябрь».

Как убили Отца.— В рукописи дата: «3 декабря 1925 года». Впервые опубликовано 22 января 1926 года в газете «Правда».

Как и «Талка», написано в связи с 20-летием первой русской революции. Герой очерка — Федор Афанасьевич Афанасьев (1859—1905), рабочий-ткач, один из старейших профессиональных революционеров, руководитель иваново-вознесенской большевистской организации в 1905 году. Рабочие ласково звали его Отцом; это была и его партийная кличка. До Иванова вел революционную работу в Петербурге, Москве, Риге. На маевке в Петербурге в 1891 году произнес знаменитую речь, много раз перепечатывавшуюся в России и за границей как яркий программный документ русского рабочего движения.

Здесь, как и в очерке «Талка», Фурмановым сохранены подлинные имена участников изображаемых событий. Некоторые из ивановских революционеров названы также по партийной кличке или только по партийной кличке: «Одиссей» — В. А. Мандельштам, «Странник» — С. И. Балашов, «Химик» — А. С. Бубнов, «Станко» — И. Н. Уткин, «Арсений» — М. В. Фрунзе, «Маша Труба» — М. Ф. Ноговицина-Икрянистова.

Источники для очерка «Как убили Отца» те же, что и для

---

[1] Рукописное отд. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 320, II-1. (Письмо Фурманова жене от 22 мая 1922 г.); ЦГАЛИ, ф. 522, оп. 1, ед. хр. 23. (Воспоминания А. Е. Ноздрина о Фурманове.)

очерка «Талка». Особое значение для Фурманова имела книга ивановского краеведа И. И. Власова «Ткач Федор Афанасьев», выпущенная в свет иваново-вознесенским издательством «Основа» в 1925 году. Фурманов в 1922 году по просьбе Власова наводил справки об Афанасьеве в Москве, в архивных делах департамента полиции, и выслал ему копии имеющихся там материалов [1]. На книгу Власова писатель откликнулся положительной рецензией в седьмом номере журнала «Печать и революция» за 1925 год.

Печатается по тексту газеты «Правда».

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Как рецензент, критик, руководитель литературного движения (с 1924 года возглавлял Московскую ассоциацию пролетарских писателей) Фурманов выступал по разным вопросам литературы и искусства: боролся с чуждыми советскому искусству литературными течениями (статьи «Завядший букет», «Чистка поэтов»), писал развернутые статьи о примечательных явлениях советской литературы («О «Железном потоке» А. Серафимовича», «Виринея» Л. Сейфуллиной»), делал обзоры периодических и непериодических изданий (журналов «Красная новь», «Печать и революция», сборников и альманахов «Недра», «Наши дни» и др.), откликался рецензиями и отзывами на отдельные книги. Особенно привлекала Фурманова-рецензента тема гражданской войны. Литературно-критические статьи и рецензии Фурманова печатались не только в литературно-художественных и критических журналах, таких, как «Октябрь», «Новый мир», «На литературном посту», «Печать и революция», но и в газете «Рабочий край», в специальных изданиях: «Военная наука и революция», «Пролетарская революция», «Красный балтиец», «Красноармеец» и др. Многие из рецензий Фурманов подписывал псевдонимами и криптонимами: Д. Ф., Д. А., Игорь Кречетов, И. К., Дм. Кречетов, Д. Кречетов, Най, Южин, Турча, Запнев, Краб, Грузчик.

В статьях и рецензиях Фурманова на литературные темы чувствуется тот же темперамент публициста, что и в многочисленных

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1884, оп. 1, ед. хр. 246 и 129.

его статьях по вопросам военным, политическим и хозяйственным, созданных в годы гражданской войны. Как известно, в те годы Фурмановым было написано около сотни статей, напечатанных в газетах: «Рабочий край» (Иваново-Вознесенск), «Коммуна» (Самара), «Правда» (Семиречье), «Красное знамя» (Краснодар), «Красный воин» (Тифлис, XI армия), «Известия» (Москва), в журналах: «Спутник коммуниста» (Кубань), «Политработник» (Москва) и др.

Фурманов не считал себя профессиональным критиком, полагая, что его призвание — художественная проза. Об этом он писал в дневниковой заметке от 7 августа 1921 года, озаглавленной «В раздумье». Вместе с тем он ставил перед собой задачу: «читать, изучать, разбирать, критиковать, писать самому, посещать всякие заседания, собрания, диспуты, давать отзывы и рецензии, выступать самому... Усвоить все современные течения...»[1]

В лучших, наиболее значительных литературно-критических работах Фурманова проявилось искусство писателя сочетать идейный и художественный анализ, обобщать живой литературный процесс. Благодаря этому статьи и рецензии Фурманова становятся большими и заметными явлениями литературной жизни и литературной критики 20-х годов. Более того, они сохраняют значение и в наше время, поскольку в них утверждаются идейно-эстетические основы советской литературы.

I

Завядший букет.— Статья написана 18 октября 1921 года. Впервые опубликована в газете «Рабочий край» 25 января 1922 года, № 19, под шапкой «Московские письма». При жизни автора больше не публиковалась.

Печатается по тексту газеты.

«Чистка поэтов».— Статья написана 23 января 1922 г. Впервые опубликована в газете «Рабочий край» 5 февраля 1922 г., № 29, под шапкой «Письма из Москвы».

По содержанию примыкает к статье «Завядший букет». Толчком к написанию послужило выступление В. Маяковского 19 января 1922 г. в Большой аудитории Политехнического музея на первом вечере «Чистка современной поэзии».

---

[1] Д. А. Фурманов, Соч. в трех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1952, стр. 203—204.

Печатается по тексту газеты.

Спасибо.— Статья написана 1 июня 1923 г. Подписана псевдонимом: «Игорь Кречетов». Представляет собой отклик на две статьи известного в 20-е годы публициста Л. С. Сосновского (1886 —?), напечатанные в газете «Правда»: «Желтая кофта из советского ситца» (1923, № 113, 24 мая) — о журнале «Леф», объединившем вокруг себя главным образом бывших футуристов; «Кто и чему обучает нашу молодежь?» (1923, № 119, 1 июня; опубликована под шапкой «На идеологическом фронте») — о критике В. Львове-Рогачевском и его книге «Новейшая русская литература» (1923), в которой замалчивалось творчество Д. Бедного.

Статья, по-видимому, осталась неопубликованной. Отрывки из нее помещены в сб. «Русские писатели о литературном труде», т. 4, «Сов. писатель», Л. 1956.

Печатается по автографу.

О «Железном потоке» А. Серафимовича.— Статья закончена 21 сентября 1924 г.; первоначально называлась «Серафимович в «Железном потоке». Впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1926, № 2, февраль.

Об этом произведении Серафимовича Фурманов писал неоднократно. В отзыве о сборнике «Недра», в котором был напечатан «Железный поток», он определяет его как «героическую эпопею», которой «будет гордиться пролетарская литература». В специальной рецензии, написанной 1 мая 1924 года и опубликованной в № 6 «Пролетарской революции» за этот же год, Фурманов называет повесть Серафимовича «одним из замечательных произведений современности», но оговаривается, что в своей рецензии касается «лишь ее «историчности», соответствия обработанных здесь фактов документальному историческому материалу о великом походе Таманской армии».

Серафимович говорил о статье Фурманова: «...из всего, что написано о «Железном потоке», это — лучшее» [1].

Но статья эта не сразу увидела свет из-за противодействия «напостовцев»-рапповцев, которые даже Серафимовича склонны были причислять к «попутчикам» и более того — к «врагам» пролетарской литературы. Фурманов возмущался этим и говорил:

---

[1] А. С. Серафимович, Собр. соч., т. X, Гослитиздат, М. 1948, стр. 456.

«Наши критики болтают о ком угодно, только не о пролетарских писателях (например бы, о Серафимовиче)» [1]. Его статья направлена против тех, кто принижал значение творчества Серафимовича.

Печатается по тексту журнала «Октябрь».

«Виринея» Л. Сейфуллиной.— Написана статья в 1925 г. Автором не датирована. Впервые опубликована 15 апреля 1926 г. (журн. «На литературном посту», № 2).

Л. Н. Сейфуллина, крупная советская писательница, была отнесена рапповцами к числу так называемых «попутчиков», которых, вопреки известным указаниям партии, нашедшим отражение в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925), рапповцы-«напостовцы» всячески третировали.

«Я написал,— рассказывает Фурманов о статье, посвященной повести «Виринея»,— но тут, в борьбе (имеется в виду борьба, которую Фурманов вел против Авербаха и других «напостовцев».— *П. К.*), ее сочли негодяи «не напостовской», отложили, вынудили меня вновь и вновь запрашивать о ее судьбе». Затем, пишет он, решили ее пустить, чтобы продемонстрировать «единство напостовского движения». «Мерзко!» — заключает писатель [2].

Статья появилась в печати — и то с некоторыми сокращениями — лишь через месяц после смерти Фурманова в журнале «На литературном посту», который с апреля 1926 года стал выходить вместо журнала «На посту».

Текст статьи печатается по автографу.

II

А. Шугаев. «В наши дни».— Рецензия. Написана 18 июля 1921 г.

Александр Порфирьевич Шугаев — драматург, член Союза советских писателей. Родился в 1893 г. В годы гражданской войны служил в Красной Армии. Как нам сообщил А. П. Шугаев, в 1921 г. он принял участие в конкурсе на лучшую пьесу, объявленном Лито Наркомпроса и возглавляемом А. С. Серафимовичем.

---

[1] Архив ИМЛИ, II-62, 2186; см. также II-62, 954.

[2] Архив ИМЛИ, II-62, 337.

Рецензия Фурманова написана для жюри конкурса. Пьеса «В наши дни» не издавалась. Ставилась в самодеятельном театре.

Рецензия публикуется впервые по автографу.

«Красная новь», № 1, 1921 г.— Рецензия. Опубликована под псевдонимом «Краб» в журнале «Красный балтиец» (орган Политотдела Балтийского флота, Петроград), 1921, № 8 (август).

«Красная новь» (1921—1942) — первый «толстый» советский литературно-художественный журнал, начал выходить с мая 1921 г. В архиве Фурманова в ИМЛИ хранятся отзывы на многие номера этого журнала за 1921—1922 гг.

Печатается по журнальному тексту.

С. Васильченко. «Две сестры».— Рецензия. Написана в 1922 г. для журнала «Печать и революция», но опубликована там не была. Автором не датирована.

Пьеса «Две сестры» с подзаголовком «Картины для чтения и представления» была напечатана Госиздатом в 1921 г. Ее автор Семен Филиппович Васильченко (1884—?) — активный участник революционного движения и гражданской войны. В 20-е годы выступал как писатель (историко-революционная повесть «Карьера подпольщика» и другие произведения).

Рецензия печатается впервые по автографу.

«Красная новь», № 1 (5), 1922 г.— Рецензия. Опубликована под псевдонимом «Най» в журнале «Политработник» (орган Политуправления Реввоенсовета республики), 1922, № 3. Автором не датирована.

Печатается по тексту журнала.

Л. Полярный. «Пути победы».— Рецензия на кн. Л. Полярного «Пути победы (Записки красноармейца с Южного фронта). Октябрь — ноябрь 1920 г.», изд-во «Пролетарий», Харьков, 1922. Написана 23 июня 1923 г. Опубликована в журнале «Пролетарская революция», 1923, № 6—7, под псевдонимом «И. Кречетов».

Л. Полярный — участник гражданской войны, в том числе штурма Перекопа и Чонгара.

Фурманов внимательно следил за литературой, посвященной теме гражданской войны, так как намеревался написать «Эпопею гражданской войны». Его интересовали как беллетристические произведения, так и, в особенности, мемуарные очерки.

Печатается по тексту журнала «Пролетарская революция».

И. А. Онуфриев. «Мои воспоминания из гражданской войны на Урале».— Рецензия. Написана в 1923 г. Автором не датирована. Опубликована в журнале «Пролетарская революция», 1923, № 11, под псевдонимом «Игорь Кречетов».

И. А. Онуфриев — участник гражданской войны на Урале, командир 3-го Екатеринбургского полка Красной Армии.

Печатается по тексту журнала «Пролетарская революция».

Я. Никулихин. «Как и почему мы победили».— Рецензия. Написана 27 марта 1924 г. Опубликована в журнале «Пролетарская революция», 1924, № 5, под псевдонимом «И. Кречетов».

Яков Петрович Никулихин — петроградский коммунист, отправившийся на фронт летом 1918 года по партийной мобилизации; был политработником Южного и Закавказского фронтов.

Печатается по тексту журнала «Пролетарская революция».

«Наши дни». Альманах, № 4.— Рецензия. Написана 2 апреля 1924 г. Опубликована в журнале «Октябрь», 1924, № 1 (май — июнь). Печатается по тексту журнала.

«Недра», кн. 4.— Рецензия. Опубликована в журнале «Октябрь», 1924, № 1 (май — июнь). Автором не датирована. Печатается по тексту журнала.

Мария Борецкая. «В железном круге».— Рецензия. Опубликована в журнале «Печать и революция», 1925, № 1 (январь — февраль). Автором не датирована.

Мария Васильевна Борецкая — писательница, автор ряда произведений из эпохи революции и гражданской войны. Ее романы «Гнев народный» (1924) и «Пир народный» (1927) вышли в свет с предисловиями Н. К. Крупской.

Печатается по тексту журнала «Печать и революция».

Жорж Деларм. «2×2=5».— Рецензия. Написана 16 января 1925 г. Опубликована в журнале «Печать и революция», 1925, № 8 (декабрь).

Жорж Деларм — русский писатель Юрий Львович Слезкин (1887—1947) — автор многочисленных произведений прозы, в том числе исторических романов: «Предгрозье», «Отречение», «Брусилов». Работал также в области драматургии и кино. Его роман «2×2=5», изданный под псевдонимом Жорж Деларм, по форме представляет собой подделку под французский роман сенсационно-авантюрного типа.

Печатается по тексту журнала «Печать и революция».

И. И. Власов. «Ткач Федор Афанасьев».— Рецензия. Написана 8 мая 1925 г. Опубликована в журнале «Печать и революция», 1925, № 7 (октябрь — ноябрь).

Иван Иванович Власов (1882—1943) — ивановский краевед, историк, литературовед. Фурманов интересовался его работой над биографией Ф. А. Афанасьева.

Печатается по тексту журнала «Печать и революция».

Ю. Либединский «Неделя».— Рецензия. Написана 11 мая 1925 г. Опубликована в газете «Гудок», 1925, № 170, 28 июля.

Печатается по тексту газеты.

П. Куприяновский

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

I

II

Дмитрий Андреевич
Фурманов
Собрание сочинений, т. 3

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Васильев
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Е. Патина*

Сдано в набор 7/VI-1961 г. Подписано к печати 11/IX 1961 г. А 08721.
Бумага 84×108¹/₃₂—11,75 печ. л.=19,27 усл. печ. л. 17,14 уч.-изд. л.+4 вкл.=
=17,34 л. Тираж 60 000. Заказ 347.
Цена 80 к.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Главиздата Министерства культуры БССР
Минск, Красная, 23.